Н. БЕРБЕРОВА — ОБЛЕГЧЕНИЕ УЧАСТИ

Н. БЕРБЕРОВА

ОБЛЕГЧЕНИЕ УЧАСТИ

Шесть повестей

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

Н. БЕРБЕРОВА

ОБЛЕГЧЕНИЕ УЧАСТИ

Шесть повестей

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

Аккомпаниаторша

Эти записки были мне доставлены г. П. Р. Он купил их у старьевщика на улице Роккет, вместе с гравюрой, изображающей город Псков в 1775 году, и лампой, бронзовой, когда-то керосиновой, теперь, впрочем, снабженной довольно порядочным электрическим шнуром. Покупая гравюру, г. П. Р. спросил старьевщика, не найдется ли у него еще чего-нибудь русского. «Есть», — ответил продавец и достал из пыльного шкафа, стоявшего в углу старой лавки, клеенчатую тетрадь, такую, какие спокон веку служили особам, преимущественно молодым, для писания дневников.

Старьевщик пояснил, что тетрадь эта лет пять тому назад куплена им за 50 сантимов вместе с нотами и 2-3 русскими книгами (которых, он, увы, не мог найти) в низкопробной гостинице, где жила и умерла одна русская. После нее хозяйка спустила (в уплату за комнату) ее платья, белье и прочие вещи — все, что остается, когда исчезает женщина.

П. Р. сперва выслушал все это, а потом уже раскрыл тетрадь. Он заинтересовался попавшимися ему на глаза строчками и уплатив деньги, взял в одну руку лампу, а в другую — гравюру, зажав тетрадь подмышкой. Дома он прочел ее до конца и **не узнал,** кто была писавшая.

Я кое-что изменила в этих записках, потому что не все могут оказаться такими недогадливыми. Та, которая написала и не сожгла эту тетрадь, жила среди нас, и многие ее знали, видели и слышали. Смерть, как видно, застала ее врасплох. Если это была болезнь, это была болезнь короткая и сильная, во время которой оказалось уже невозможным привести в порядок житейские дела; если это было самоубийство — оно было так внезапно, что не дало времени покойной свести кое-какие счеты...

Так или иначе, тетрадь эта была забыта ею, как пассажир забывает сверток, на ходу соскочив с поезда.

I.

Сегодня год со дня смерти мамы. Я несколько раз вслух сказала это слово: губы отвыкли от него. Было странно и приятно. Потом прошло. Некоторые люди называют «мамой» мачеху, другие называют так мать мужа; однажды я слышала, как пожилой господин называл «мамочкой» свою жену (моложе него лет на десять). У меня была одна мама и никогда второй не будет. Ее звали Екатерина Васильевна Антоновская. Ей было 37 лет, когда я родилась, и я была первым и единственным ее ребенком.

Она была учительницей музыки, и о том, что я родилась, никто из ее учеников не знал — знали только, что она серьезно болела целый год, куда-то ездила. Ученики и ученицы терпеливо ждали, когда она вернется. Некоторые до моего рождения приходили к ней на дом. Когда появилась я, мама перестала принимать их у себя. Ее целыми днями не бывало дома. За мной ходила старая кухарка. Квартира была маленькая, в две комнаты. Кухарка спала на кухне, мы с мамой в спальне, а другую комнату занимал рояль, и мы ее называли рояльной. Там мы ели. На Новый Год, ученики присылали маме цветы, ученицы дарили ей

портреты Бетховена, маски Листа и Шопена. Однажды, в воскресенье, мы шли по улице — мне было лет 9 — и встретили двух сестер Свешниковых, кончавших гимназию. Они принялись так целовать и тискать маму, что я с испугу закричала.

— Кто это, душенька Катишь Васильевна? — спросили барышни.

— Это моя дочка, — ответила мама.

С этого дня все узналось, и мама в одну неделю потеряла три урока, а через месяц осталась с одним Митенькой.

Митенькиным родителям было совершенно все равно, замужем моя мама или нет, сколько у нее детей и от кого именно. Митенька был способный мальчик, платили хорошо, но с одним Митенькой жить было нельзя. Кухарку мы отпустили, рояль продали и, не долго думая, переехали в Петербург. Там нашлись какие-то консерваторские связи. Там тоже любили маму. Медленно, старательно завоевывала она жизнь для себя и для меня.] И в первую же зиму стала опять бегать целый день — по дождю, по морозу. А меня отдала в консерваторию, в приготовительный класс. Я тогда уже вполне порядочно играла.

Мне в голову не приходило задуматься над тем, что переживала мама, когда покидала родной наш город, где когда-то она выросла, — одна у своей матери, тоже учительницы музыки. Отец ее, а мой дед, умер рано, и они были вдвоем, как и мы теперь, и все было очень похоже, только не было с т ы д а. В 16 лет бабушка отправила маму в Петербург учиться. Она кончила консерваторию, вернулась в N., дала концерт, играла на благотворительных вечерах, и стала понемногу заниматься с совсем маленькими.

Я никогда не думала о том, как она жила одна, после смерти своей матери, как подошли ее 30 лет, и что было потом, и кто был мой отец. Ящики ее рабочего столика не запирались, но в руки мне так ни-

когда и не попалось ни фотографии, ни письма. Помню, я однажды, будучи совсем маленькой, спросила ее, есть ли у меня папа? Она сказала:

— Нет, моя Сонечка, у нас нет папы. Наш папа умер.

Она так и сказала «наш», и мы вместе поплакали.

Узнала я обо всем очень просто: мне было 15 лет, когда в Петербург приехала из N. мамина подруга, учительница французского языка в N-ской гимназии. Был вечер, часов шесть. Мамы дома не было. Я лежала на маленьком кривом диване и читала Толстого. Звонок. Поцелуи. Восклицания. «Да как же ты выросла! Да какая же ты стала большая!...»

Мы довольно долго сидели одни, был вечер, горела лампа; за стеной кто-то пел. Мы разговаривали, вспоминали далекие N-ские годы, мое детство. Не знаю, как случилось, что она рассказала мне, что мой отец — бывший мамин ученик, и было ему тогда всего 19 лет. А до него она не любила никого. Теперь он женат и у него уже дети. Ни имени его, ни фамилии я не спросила.

Пришла домой мама. Теперь ей было уже за 50. Она была седенькая, маленькая, как, впрочем, большинство мам, на руках у нее почему то завелись веснушки. Я сама не знаю, что делалось со мной: мне было жаль ее, жаль так, что хотелось лечь и плакать, и не вставать пока душу не выплачу. Я терялась при мысли об обидчике, войди он, я бы кинулась на него, выдавила бы ему глаза, искусала бы ему лицо. Но кроме того, мне было стыдно. Я поняла, что мама моя — это мой позор, так же, как я — ее позор. И вся наша жизнь есть непоправимый стыд.

Но это прошло, В консерватории никогда никто не спросил меня об отце — я, впрочем, ни с кем близко не сходилась. Была война. Я стала взрослой. Постепенно я привыкла к мысли, что надо будет выбрать себе трудовую в жизни дорогу — ремесло у меня уже было.

Я назвала моего отца «обидчиком». Позже я поняла, что это было не так. Ему было 19 лет. Для него моя мать была лишь ступенькой к окончательной зрелости; он, вероятно, и не подозревал, что она в ее возрасте — девушка. А она? Как страстно и безнадежно, несмотря на близость, должна была она любить, чтобы пойти на связь с человеком, могшим быть ее сыном, чтобы родить от этой — короткой и единственной в жизни связи дочь. И что от всего этого осталось у нее в памяти и в сердце?

И вот — революция. Для каждого т а жизнь кончилась в разное время. Для одного, когда он сел на пароход в Севастополе, для другого — когда буденовцы вошли в степное городище. Для меня — в мирной жизни Петербурга. В консерватории занятий не было. Митенька, уже с месяц болтавшийся в Петербурге (он приехал учиться композиции), пришел к нам 25 октября, с утра. Мама была простужена. Митенька играл, потом мы завтракали, потом Митенька уснул... Ах, как я помню этот день! Я почему-то все что-то шила. Вечером мы втроем играли в дурака. И даже помню, что на обед была рыба.

Митенька — сын богатых N-ских купцов, был единственным маминым учеником, сохранившимся, так сказать, со времен с т ы д а. Это был флегматический молодой человек, года на три старше меня, совершенно безразлично относившийся к жизни вообще и к самому себе в частности. У него были странности, он был рассеян, сонлив, гувернеры с трудом приучили его к чистоплотности. К музыке он не то чтобы был привязан, он был как-бы проводником каких-то сумбурных звуков, которые через него рвались из небытия в действительность. Поступив в класс композиции, он удивил всех своей левизной и революционностью. Но в разговорах он был беспомощен и ничего не мог ни объяснить, ни отстоять. Мама приходила все в большее отчаяние от его какафоний, которые тупо и страшно начали им

овладевать. Мне он был безразличен. В ту осень, после стольких лет разлуки с N., я, собственно, впервые увидела его. Ему было 20 лет. Он был некрасив, у него росла борода, которую он не всегда брил, а волосы на голове уже редели. Вдобавок он носил большое серебряное пенснэ, говорил в нос, а когда слушал, громко сопел. Но он очень любил маму. Извинялся за свои «хоралы» на слова Хлебникова и говорил, что настанет время, не будет ничего: ни дорог, ни мостов, ни канализации — одна музыка.

Бывавшие у нас мои консерваторские знакомые считали Митеньку кретином, но в том, что он гениален, не сомневался никто. Для меня ни хоралы его, ни его ласковость не были нужны. Меня заботили события, меня заботило будущее, меня особенно заботил некий Евгений Иванович, уехавший в Москву, служащий консерваторской канцелярии, с которым у меня с месяц тому назад был такой разговор:

Он: — Вы догадливы?

Я: — Кажется, да.

— Есть вещь, которую я хочу вам сказать, но не могу. Надо, чтобы вы догадались.

— Хорошо.

— Теперь отвечайте: да или нет?

Сердце мое стучало.

— Да...

Но не Евгению Ивановичу суждено было дать поворот моей жизни, а все тому же бледнолицему, придурковатому Митеньке: Евгений Иванович уехал в Москву и больше не вернулся. Надежд моих по части моего с ним замужества он не оправдал. В ту зиму, когда я вспоминала мой с ним разговор, и все надеялась, что он напишет, что он приедет, мне иногда начинало казаться, что он вовсе не объяснялся мне в любви, что он имел в виду нечто совсем другое: например, попросить меня, чтобы я дала ему взаймы немножко денег, или чтобы передала привет от него кому-нибудь, к

кому он, может быть, неравнодушен. Но Бог с ним! Обратимся к знакомству, ставшему для меня «роковым». Зимой 1919 года Митенька свел меня с Марией Николаевной Травиной.

II.

Мне было 18 лет. Я окончила консерваторию. Я не была ни умна, ни красива; у меня не было ни дорогих платьев, ни выдающегося таланта. Словом, я ничего из себя не представляла. Начинался голод. Мечта мамы о том, что я буду давать уроки музыки, не осуществлялась — уроков теперь едва хватало для нее одной. Мне же подворачивалась случайная работа на каких-то музыкальных вечерах, на заводах и в клубах. Помню, несколько раз — за мыло и сало — ездила я куда-то в Гавань и ночь напролет играла танцы. Потом подошла регулярная работа — по субботам — за хлеб и сахар — в железнодорожном клубе при Николаевских мастерских. Сперва я играла «Интернационал», потом Баха, потом Римского-Корсакова, потом Бетховена, потом «хоралы» Митеньки (входившие тогда в моду). Но одной субботней работой я прожить не могла. И я нашла певца, которому нужна была аккомпаниаторша — это у меня отняло три часа каждый день — путь был длинен, трамваев не было. Но пока он провел меня по каким-то казенным ведомостям для получения пайка, прошло более двух месяцев. Наконец, и это устроилось.

Певец был когда-то довольно известным баритоном. Сейчас ему было под 70, пахло от него махоркой и погребом, руки у него были черные от работы на кухне и колки дров. Он так худел, что одежда с каждым месяцем заметно обвисала на нем, отрывались пуговицы, протирались локти и колени. Он никогда не мылся, только изредка брил подбородок и губу, и тогда так пудрился, что весь обсыпался. И мне каза-

лось, что это сыплется с него штукатурка, как из старой, рушащейся стены, и пахнет от него не погребом, а просто сырой землей.

— Сонечка, — говорил он мне, — что это вы какая-то тоненькая? Одной молодостью ничего не возьмешь. Нужны формы, формы! А у вас лапка куриная, ножка козья, грудка кошачья. Ах, что-то с вами будет, детинька моя, при такой фигурке!

Он искренне сокрушался о моем будущем. Я же была довольна, что научилась с ним репертуару, и приношу домой мешки с провизией... Однажды зимой он простудился и слег. В квартире его немедленно все пришло в упадок: замерз водопровод, в комнатах было 2 градуса, в рояле лопнули струны, не стало керосина. Из профсоюза прислали доктора. Я продолжала приходить каждый день. Появились какие то друзья, какие-то дамы. Появилась манная крупа. Меня посылали к соседям за солью, я бегала в распределитель за повидлом... Потом все кончилось: он умер на своих грязных простынях, на рваной своей наволочке, и много было хлопот с похоронами, тяжел был этот уход за мертвецом.

Я осталась без работы; валенки у меня были из ковра, платье из скатерти, шубка из маминой ротонды, шляпа из диванной подушки, расшитой золотом. Я могла жить, но могла и умереть — мне как-то все было безразлично. Мама с любопытством и грустью приглядывалась ко мне. Митенька сопел и засиживался поздно, глядя на то, как я штопаю, пью чай, играю, или, не обращая на него внимания, читаю. Однажды вечером Митенька пришел какой-то сосредоточенный: Мария Николаевна Травина искала аккомпаниаторшу, не на время, навсегда, в отъезд, может быть, заграницу.

Сосредоточен Митенька был потому, что, во-первых, он старался дельно и связно передать мне условия работы, а это, как все житейское, было ему трудновато. Во-вторых, ему было жаль меня, жаль, что я уеду от мамы, от него; он не любил никаких перемен в жизни.

Мама сначала растерялась. Может быть, для меня было бы лучше не делаться учительницей музыки, стать аккомпаниаторшей, оторваться от нее, жить по своему? Я смотрела на нее. Это была уже старая женщина, ставшая за последние годы низенькой и худенькой, с какими-то потухшими глазами, седая, иногда вдруг терявшая нужные слова. Она не могла быть мне советчицей, опорой. Я смотрела со стороны на себя — я ничем не могла помочь ей, я когда-то была ей помехой в жизни, а сейчас не была утешением. Что-то смутно говорило мне, что счастья от меня ей не будет никогда. Любила ли она меня? Да, любила, но в любви этой была какая-то жалкая трещина, и когда она меня целовала, мне все казалось, что она старается сгладить эту трещину — для себя, для меня, для Митеньки, для Бога, не знаю, для кого еще.

Я молчала. Митенька сидел, выложив руки на стол, и тянул свое пояснение: мне предлагают место, постоянное место, с жалованием, с обедом; меня повезут в Москву, в провинцию, я буду жить, «как своя».

— Камеристкой? Компанионкой? — вдруг с любопытством спросила я.

Митенька даже рассмеялся, улыбнулась и мама. Надо было радоваться, а радости не было. Но часы вот тоже идут без радости, и дождь идет без радости, а все-таки стойко... Как прекрасен Божий мир, и как в нем все правильно устроено!

И вот я надела валенки из ковра и весь мой, слегка маскарадный, костюм того времени, в котором я была похожа на вылинявшего, выцветшего подростка азиатской кочевой породы, и отправилась к Марии Николаевне Травиной.

Петербург. 1919 год. Сугробы. Тишина. Холод и голод. Вспученный от ячменной каши живот. Немытые месяц ноги. Окна, забитые тряпьем. Жидкая сажа печки... Вхожу в дом. Огромный дом на Фурштатской. Лифт висит. В нем — замерзшие нечистоты. Дверь во

втором этаже. Стучу. Никого. Звоню. На удивление, звонит звонок. Открывает горничная в наколке и туфельках. Тепло. Боже мой, тепло!... Нет, этому поверить нельзя — натоплена огромная кафельная печка, да так, что подойти нельзя. Ковры. Занавески. Живые цветы — гиацинты синие — в корзине на столике. Коробка драгоценных папирос. Синяя, почти как гиацинты, дымчатая кошка вытягивает высокую спину, увидев меня, и женщина, почему-то в белом платье, — или капоте (я не различаю), или это то, что надевается под платье, — идет ко мне, улыбаясь, протягивая руку с розовыми длинными ногтями. И чулки у нее розовые тоже. Розовые чулки!

Она была на десять лет старше меня и, конечно, этого не скрывала, потому что она красива, а я нет. У нее высокий рост, свободно и естественно развитое сильное и здоровое тело, — я маленькая, сухая, на вид болезненная, хотя никогда ничем не болею. У нее гладкие черные волосы, заложенные на затылке узлом — у меня волосы светлые, бесцветные, я стригу их и кое-как завиваю. У нее круглое, красивое лицо, большой рот, улыбка неизъяснимой прелести, черные, с зеленым отливом, глаза, — у меня глаза светлые, лицо треугольное, скуластое, зубы мелкие и редкие. Она ходит, говорит, поет так уверенно, руки ее так спокойно и ровно сопровождают ее слова и движения, в ней затаена какая-то горячесть, искра — Божия или демонская, — отчетливое «да» и «нет». Вокруг меня, я это чувствую, иногда образуется туманное облако неуверенности, равнодушия, скуки, в котором я дрожу, как дрожат ночные насекомые в солнечном свете, прежде чем ослепнуть или замереть. И когда мы выходили — она впереди, без всякой заученности, без напряжения, кланяясь, улыбаясь, сияя красотой и здоровьем, и я сзади — всегда в слегка помятом платье, чуть-чуть подсохшая, тоже кланяясь, пригибаясь и стараясь не так, а эдак держать свои руки, когда мы выходили обе:

«Ну чего ты еще хочешь? — говорила я себе. — Ну чего ты еще хочешь в этой жизни? Посчитаться? Поквитаться? Как? Да и с кем? Тише воды. Ниже травы. В этой жизни не посчитаешься. А будущей то ведь нету!»

Она усадила меня в кресло, взяла мои руки в свои, сама расстегнула мне ворот, чтобы не было слишком жарко. Потом велела раздеться, позвонила горничной и приказала подать чай. Она смотрела на меня с невыразимым вниманием, забота была в ее глазах, забота и любопытство. Сначала она только спрашивала: сколько мне лет, какая я, что я люблю, согласна ли я уехать с ней, если понадобится? Потом, когда принесли чай, она налила себе и мне, положила мне на тарелку тонкие ломтики белого хлеба, намазанные маслом и покрытые ветчиной и сыром, и стала говорить сама, слегка повернувшись в сторону, чтобы не смущать меня. И я ела, ела, ела.

— Я давно знаю по имени вашу маму, Сонечка, — говорила она, — я буду звать вас Сонечкой, потому что вы еще совсем девочка, и это, может быть, если быть откровенной, единственное, что меня в вас пугает, нет, не пугает, а беспокоит немножко. Не будет ли вам со мной скучно? Не захочется ли вам домой, в Питер — ведь мы можем уехать далеко, очень далеко... Вы наверное и не представляете себе, как далеко. Я много работаю. 4 часа в день непременно, что бы ни было, без поблажек для себя самой, а значит и для вас. Потом концерты. Ведь это будет настоящее турнэ, Сонечка, первое мое настоящее турнэ, и оно должно быть удачным.

Я сделала движение.

— Меня знают только в Петербурге, — продолжала она, заметив это. — Я хочу большего. Я очень честолюбива. Без честолюбия не бывает таланта; надо быть честолюбивой, Сонечка, и я вас этому научу.

Я вздрогнула, но на этот раз она не заметила ничего.

Она говорила. Я слушала. Я понимала, что жизнь нас может связать на долгие годы, что разговор этот не повторится — бывает так: чем люди более сживаются друг с другом, тем вернее пропадает у них потребность говорить о себе. Этот разговор мог оказаться единственным, я это чувствовала, и все же я засыпала, я знала, что сейчас засну.

Я убеждала себя, что мне надобно ловить каждое слово, что все это пригодится мне когда-нибудь после. Между нами зажглась лампа под низким шелковым абажуром, занавеси на окнах закрыли белые сумерки, низкий, нежный голос тек надо мною, пахло духами, губы мои еще чувствовали недавнее прикосновение тонкого, прохладного ветчинного жира. Ноги мои отяжелели, я поставила их, как тумбы, перед собой и как бы забыла о них, плавая в сладкой дремоте, где какие-то тени шли навстречу усталым моим глазам, брали меня за руки и медленно раскачивали мою голову, в то время, как я сверхестественным усилием старалась держать открытыми мои пьяные от тепла и сытости глаза.

Она теперь говорила о годах своего учения, о своем замужестве, о выступлениях в провинции во время войны, о том, что жизнь, вся жизнь еще впереди у нее, «и у вас, Сонечка», — добавила она, о заморских странах, куда может быть, «мо-жет быть», мы поедем когда-нибудь, о Москве, о Неждановой, о романсах Митеньки, ей посвященных, и о многом, многом, пока не увидела, что я неподвижно и тяжело смотрю на нее.

— Я совсем заговорила вас, друг мой милый ! — вскричала она. — Простите меня.

Я встала. Она дала мне ноты, велела придти послезавтра и довела до дверей. И там она, обняв меня, поцеловала в обе щеки.

III.

Выйдя от Марии Николаевны, я увидела, что был поздний вечер, была тьма, шел снег. Сон мой сразу прошел от ветра, леденившего мокрое лицо. То, что я только что видела — я видела впервые, и слова, слышанные только что, были совершенно для меня новы. Что было в них? Ничего особенного, главное, что я их и не помнила, и едва поняла, но то, как со мной говорили, и то, кто именно их говорил, было так необыкновенно. Я никогда еще не встречала в своей жизни такой женщины — от нее шло на меня дуновение какого-то таинственного, прекрасного и побеждающего равновесия.

Но когда я думала о гиацинтах, о горничной, о тепле и чистоте, что-то бунтовало во мне, и я спрашивала себя: неужели все это действительно существует, и не найдется управы на это? Ведь нашлась же она на нас с мамой, на певца моего, на тысячи других, у которых отмерзают пальцы, крошатся зубы, лезут волосы от голода, холода, страха, грязи, — неужели не найдется, товарищи чекисты, управы на эту квартиру, эту женщину, эту дымчатую кошку, и никто не вселит в эту гостиную вшивое семейство какого-нибудь слесаря, которое роялем воспользуется, как уборной, а ее по утрам будут заставлять его чистить — своими розовыми руками, и это будет называться «гражданской повинностью?» Неужели так вот все это и останется? И мы все, оборванные, обворованные, голодные, разбитые, стерпим это? И голландский сыр, и толстое полено с коричневой корочкой в печке, и молоко на блюдечке, в которое кисанька макает свой язычек?

И от этих мыслей мне становилось горячо в груди, слезы и снег замерзали у меня на носу и щеках, я вытиралась обшлагом и бежала дальше, неслышно, в валенках, держа подмышкой ноты. И сквозь это ожесточение, которое впервые в жизни снизошло на меня

с такой силой, и где я почувствовала, что дышу легче, чем в слащавом и жидком своем ко всему равнодушии, я вдруг вспомнила ее самое, Марию Николаевну Травину, поцеловавшую меня в обе щеки, смотревшую на меня внимательно и нежно. И она мне являлась тогда таким диким, непостижимым совершенством,что я плакала еще сильнее, плакала навзрыд и все бежала, бежала по улице, сама не зная, зачем я бегу, куда, и зачем мне теперь дом, наша комната, мама, и что я сама такое, и вот этот город — зачем он? И что такое жизнь? И Бог? Где Он? Почему Он не сделал всех нас такими же, какой сделал ее?

На следующий день, я с утра села за рояль. Партитуры были самые разные: были оперные партии, были романсы Глинки, и новая музыка, и какие-то особенные вокализы, которых я никогда до того не слышала. Я занималась весь день и утро. На следующий день в 3 часа я была на Фурштатской. Рояль был прекрасный концертный Блютнер; Мария Николаевна с час пела вокализы, потом я выпила чаю с кренделями и по ее просьбе сыграла ей Шуберта. Она слушала и благодарила. В это время два раза звонил телефон в соседней комнате, там кто-то подходил и отвечал, но ее не вызывали. Потом она пела, пела...

Я знаю, есть люди, которые не признают пения: человек становится в позу, раскрывает рот (либо естественно — и тогда уродливо, либо искуственно — и тогда смешно) и, стараясь сохранить на лице выражение непринужденности, вдохновенности и целомудрия, протяжно кричит (или гудит) не всегда удачно соединенные слова, иногда бессмысленно заторопленные, иногда разрезанные на куски, как для шарады, иногда нелепо повторенные несколько раз.

Но когда она, вдохнув (не театрально а так же просто, как мы вдыхаем горный воздух, высунувшись из окна вагона), раздвинула свои крупные, красивые губы, и чистый, сильный, какой-то до краев полный

звук вдруг зазвучал надо мною, я поняла внезапно, что это-то и есть бессмертное и бесспорное, от чего сжимается сердце, и мечта о крыльях воплощается в действительность для человека, вдруг потерявшего всю свою весомость. Какая-то слезная радость вдруг захватила меня. Пальцы мои дрогнули, заблудившись в черных клавишах; я считала про себя, боясь на первых порах разочаровать ее в моем старании, но я чувствовала, как судорога проходит у меня по спинному хребту. Это было драматическое сопрано, с прекрасными, устойчивыми верхами и глубокими, ясными нижними нотами.

— Еще раз Сонечка, — сказала она, и мы повторили арию. Не помню, что это было. Кажется, это была ария Елизаветы из «Тангейзера».

Потом она минут пять отдыхала, гладила кошку, выпила полчашки остывшего чаю, заставила рассказать про N., про мое детство. Но рассказать мне было нечего. Разве что про Митеньку? Ах нет! Только не про Митеньку. Слава Богу, она его хорошо знает, ведь ее муж — двоюродный брат Митенькиной матери. Талантлив-то он талантлив, но ведь с ним бывает, что он имени своего вспомнить не может.

И опять она пела, а я, еще осторожно, еще робко, но старательно сопровождала ее в этом чуде, которое напоминало полет, парение, и были минуты, когда опять игла входила мне в сердце, прошивала меня всю. Несколько раз она прерывала меня, давала указания, просила начать сызнова. Она приглядывалась, прислушивалась ко мне. Была ли она мной довольна?...

В половине седьмого раздался сильный звонок.

— Подождите, — сказала мне Мария Николаевна, — это ко мне.

Она вышла в переднюю, и я слышала, как она сама открыла дверь.

— Я звонил два раза, — сказал громкий мужской голос, — но мне объявляли, что вы заняты и подойти

не можете. В чем дело? Неужели вам трудно подойти к телефону?

— Тише, тише, Сеня, — ответила она, — у меня урок, репетиция. У меня аккомпаниаторша.

— К чорту всех! Я звонил, чтобы ехать с тобой кататься. Машина внизу. Хотел в 4 — задержали, хотел в 5 — шоффера не было. Только сейчас выбрался.

— Сейчас скоро семь. Куда же ехать? Ведь Павел Федорович, вот-вот, вернется.

Человек, видимо, что-то хотел ответить, но я почувствовала, как она закрыла ему рот рукой. Там шептались. Потом все стихло. Мария Николаевна вернулась в гостиную.

И действительно, не прошло и четверти часа, как вернулся домой Павел Федорович.

— Мой муж, — сказала Мария Николаевна, вставая к нему навстречу, — Сонечка Антоновская. — И мы пожали друг другу руки.

Я едва успела подумать, что, вот, я познакомилась с человеком, и уже у меня есть от него тайна, уже я сообщница с кем-то против него, как Мария Николаевна сказала, отойдя к окну:

— Только что заезжал Сеня. Звал кататься. Нагрубил за то, что не подошла к телефону, когда он звонил.

— Что ж ты не поехала? На дворе снежно, чудесно. Вот порох!

Она не ответила. Я стояла и смотрела в пол. Павел Федорович сел на ближний стул. Он был в высоких сапогах. Я подняла голову. На нем был френч, он носил бороду, волосы его были длиннее обычного, но не «артистические», а какие-то «купеческие», и наружность его была самая обыкновенная, немного простецкая. На вид ему было лет 45.

Мы обедали втроем. Я старалась не есть слишком жадно, и все-таки под конец обеда так отяжелела с непривычки, что мне было трудно справиться с собой. Горничная обносила блюда, сперва Марии Николаевне,

потом мне, потом Павлу Федоровичу. В громадной столовой я смущалась еще более, чем в гостиной, к которой успела немного привыкнуть. Разговор почти все время шел обо мне. Выпив стакан красного вина, я незаметно охмелела; в зеркале буфета, в которое я иногда попадала глазами, я видела, что стала красной, какой-то припухлой. «Она потому-то и сказала ему, что т о т приходил, что во мне еще не уверена». И я засмеялась не к месту. «Надо добиться ее доверия».

«Зачем? Чтобы потом предать?» Я уронила ложку в тарелку, и компот брызнул на скатерть. «Надо добиться, заслужить... Чтобы потом, незаметно, когда понадобится, вдруг укрыть ее от какой-нибудь беды, вдруг спасти ее, послужить ей, да так рабски, чтобы она не знала даже, что это я... Надо стать ей необходимой, незаменимой, преданной до конца, не жалея себя... Или когда-нибудь предать ее, со всей ее красотой и голосом, чтобы доказать, что есть вещи посильнее ее, есть вещи, которые могут заставить ее плакать, что есть предел ее неуязвимости».

Я была немножко пьяна. А она улыбалась моему красному лицу, блестящим глазам, говорила о моем покойном певце, которого она знала, за которым, оказывается, бегала, будучи девочкой.

— Нет, вы и не представляете себе, Сонечка, как он бывал великолепен, когда надевал свои палевые штанишки во втором действии «Онегина»... Но голос стал пропадать у него рано, он пил, как швед.

— Ему перед смертью из Петрокоммуны крупу прислали, — сказала я.

После обеда они собрались куда-то ехать, и я стала прощаться. Но прежде, чем отпустить, Мария Николаевна задержала меня в гостиной.

— До завтра, — сказала она. — С вами хорошо, очень хорошо работать. Я думаю, у вас настоящий талант аккомпанировать — это бывает очень редко. Вы

играли Шуберта — этого не надо делать, это не для вас. Но мне с вами будет замечательно, это я чувствую. А вы? Вам нравится у меня?

Я едва пробормотала несколько слов.

— Ну прощайте. Надо идти переодеваться. Сонечка, вы не могли бы опустить письмо? Только не в тот ящик, что у нас на углу, — из него уже год, как письма не вынимали, а на Литейном, по левой руке.

— Хорошо, Мария Николаевна.

Тут я заметила, что мы одни, что Павла Федоровича нет в комнате.

Она дала мне твердый синий конверт и я ушла. На лестнице было темно, я ощупью добралась до низу, едва не поскользнувшись на обледенелых ступеньках. На улице тоже была совершенная темень, искрился снег, сам собой — не было ни фонарей, ни луны. Одни звезды. Я дошла до Литейного. Прочесть, кому было адресовано письмо, я не могла. По всей улице ни влево, ни вправо, не было ни одного огня, я ничего не видела перед собой, шла у самых стен домов, чтобы не споткнуться о сугроб или тумбу. У ящика я остановилась. При свете звезд я старалась прочесть адрес. Я задумала, если я разберу хотя бы первую букву имени (оно должно было начинаться на «С»), я письма не брошу, принесу домой, вскрою его, прочту и отправлю завтра утром; я присматривалась довольно долго, глаза мои налились слезами. Наконец, я увидела высокое, узкое «А». И вдруг сразу прочла, будто где-то за мной блеснула молния: «Андрею Григорьевичу Бер. Зверинская, 19». Не знаю, почему я испугалась. Я бросила письмо в почтовый ящик и с колотящимся сердцем постояла немного.

Мимо меня прошли два человека, два оборванца, они несли что-то большое и тяжелое, мне показалось, что это дверь. Мне стало еще страшнее. Внезапно в стороне моста раздались выстрелы. Я побежала. Я старалась почему-то вспомнить лицо Павла Федоровича, и не

могла. Я старалась вспомнить его голос, и что он говорил. И не могла. Я хотела подумать о том, любит ли она его, любит ли он ее? Кто он? Что он делает? Что с нами тремя будет дальше? И не могла. Она стояла у меня в мыслях. Ее голос. Ее какое-то слишком вольное, самоуверенное обращение с людьми, с будущим. И то, что на такое обращение она имела бесспорное, какое-то навсегда свыше данное ей право.

IV.

Прошло более двух месяцев, я каждый день бывала у Травиных, я работала с Марией Николаевной, обедала, иногда оставалась вечером играть с Павлом Федоровичем в шашки, но ни «Сени», ни «Андрея Григорьевича Бер» я не видала и о них ничего не слыхала. Дома у меня все шло по прежнему, но я постепенно уходила из старой своей жизни. Мама, ее заботы, ее недомогания, оставляли меня безучастной, Митенька переживал свой первый роман с X., в которую, по общему мнению, он был влюблен исключительно по инерции: она была внучкой известного композитора. Впрочем, X-у Митенька и не думал подражать, а уходил в своих «хоралах» все дальше и собирался даже для их исполнения строить какой-то особенный рояль, с четырьмя клавиатурами. Но довольно о Митеньке. Устроив меня к Травиной, он постепенно исчез из моей жизни и встретилась я с ним уже в Париже, сравнительно недавно. Но об этом расскажу в свое время.

Других знакомых, которые бы приходили ко мне, с которыми связывала бы меня какая-нибудь теплота, у меня не было. Да и все прежнее казалось мне теперь нестоящим памяти — оно и в самом деле забывалось. Утром я упражнялась, стояла в очередях, топила печку; после завтрака, состоявшего всегда из одного и того же — селедка и каша — я мыла посуду, чистилась, переодевалась в единственное приличное платье и уходила.

Там было тепло. Там меня кормили, говорили, что жизнь трудная, но занимательная штука, иногда что-нибудь дарили. Мария Николаевна, вначале чуть-чуть рассеянная и обаятельно-тихая, к семи часам приходила в веселое, деловое настроение. Павел Федорович, иногда вернувшись немного раньше, сидел и слушал нас в углу гостиной. Но чаще мы, как только он приходил, сейчас же садились за стол. Через неделю я уже знала всю их жизнь, и мне было смешно, что в первый день я так волновалась от любопытства и, Бог знает, еще каких чувств. Павел Федорович служил в одном из тогдашних продовольственных «главков». Все, что ему было нужно, он получал, вплоть до битой птицы и музейных ценностей. Нельзя сказать, чтобы он «наживался» на своей службе, он просто не считал нужным быть слишком щепетильным, любил жить удобно, сладко, сытно, еще два года тому назад он был очень богат, даже как-то невероятно богат, богаче всех, кого я знала, богаче Митенькиных родителей. И теперь, ничего не желая знать, он хотел жить благополучно, если не роскошно, и как ни странно, это ему удавалось. Главная перемена в их жизни заключалась в том, что они оба постепенно растеряли прежний свой круг и не старались обзавестись новым. Что говорить: кое-кто был расстрелян, кое-кто сидел в тюрьме, многие бежали, другие раззнакомились с ними, считая, что Травин — подлец. Приходили какие-то актеры, родственники, прежние служащие Павла Федоровича — но не это был тот «свет», в котором Мария Николаевна блистала еще недавно.

В начале апреля, Мария Николаевна предложила мне переехать к ним. Они готовились к отъезду в Москву, квартира была продана какому-то восточному консулу. Эта последняя неделя в Петербурге прошла для меня, как один день. Мне были подарены платья, мне были даны деньги на парикмахера. Мария Николаевна вдруг вторглась в мою жизнь с другого конца: не было вещи,

о которой она бы меня не спросила: и в котором часу я встаю, и на каком боку я сплю, и какой цвет мне больше всех идет, и ухаживал ли за мной кто-нибудь, и верю ли я в Бога? Словом, я чувствовала, что внезапно оказалась совершенно незащищенной от нее, что, вот-вот, она узнает обо мне решительно все, и то, как я отношусь к ней, и что о ней думаю. У нее была такая решительная сила во всем, что она делала, что устоять перед ней было невозможно. Еще минута — в тот вечер, (дня за два до отъезда) — я рассказала бы ей о своем происхождении, я бы, может быть, разрыдалась, в таком я была состоянии. И она поняла, что зашла в своих вопросах слишком далеко. (Она, между прочим, спросила меня, люблю ли я кого-нибудь? и я быстро на это сказала: нет, потому что Евгений Иванович был в это время совершенно забыт, от мамы я в эти недели отошла очень далеко, и таким образом, если я кого и любила в ту минуту, то только ее, Марию Николаевну Травину, конечно). Она поняла, что зашла слишком далеко, и что пора прекратить беседу. Она встала и сказала:

— Пойдем, попоем немножко. Хорошо?

Она могла работать помногу, для нее не существовало ни «состояния», ни «настроения». Она готовилась к концертам в Москве. Накануне отъезда она в последний раз выступила в Петербурге, и это был день первого моего выступления вместе с ней.

Десятки раз после этого я выходила с ней на эстраду, но так никогда и не знала, как мне кланяться, куда смотреть, улыбаться ли на аплодисменты и в скольких шагах выходить за ней? Я проходила быстро, как тень, не глядя в публику, я садилась опустив глаза, клала руки. А она раздавала свои улыбки и взгляды так, словно и не думала ни о чем, а только: «Вот я. Вот вы. Хотите послушать? Сейчас вам спою. Какая радость доставить вам удовольствие!»

Так, мне кажется, я читала ее мысли тогда в Петер-

бурге, в то время, как она уже стояла передо мной, в круглом выгибе рояля. «Сонечка!» — шепнула она, и я поняла, во-первых, что надо начинать, а, во-вторых, что она — певица, а я — аккомпаниаторша, что концерт этот — ее концерт, а не «наш», как она говорила, что слава — для нее, что счастье — для нее, что меня кто-то обманул, обмерил, обвесил, что я оставлена в дурах Богом и судьбой.

Огромный зал был полон. Молодежь в антракте ломилась в артистическую, где нас окружил весь цвет консерватории и Мариинского театра. Я стояла молча, время от времени Мария Николаевна знакомила меня с подходившими, большинство из них я знала, но говорить мне с ними казалось неприличным, да и не о чем было мне говорить. Кто-то похвалил меня, переспросив мою фамилию, но тут подошел Павел Федорович, и все сразу засмеялись чему-то, заговорили.

— Сонечка, где-то мой платок, — шепнула мне Мария Николаевна, делая испуганные глаза, — что-то в носу как-будто сыро.

И я понятливо заискала платок, и нашла его под стулом, и подала ей.

Мама была тут же. У нее было счастливое лицо, чуть покрасневший от умиления нос. Она успела шепнуть мне:

— Первый твой триумф, Сонечка!

Я удивленно взглянула на нее — нет, она не смеялась надо мной.

Оттого, что часы были переставлены вперед на три часа, оттого, что стоял апрель, ночь была совсем светлой; мы вернулись домой в первом часу. Я слышала, как Павел Федорович ужинал один в столовой, стоя у буфета, я слышала, как Мария Николаевна позвонила кому-то по телефону. Ночью можно было соединяться с трудом. Ей долго не давался номер. Потом она говорила — очень тихо, очень тихо. Я не двигалась у себя. Я могла приложить ухо к двери и услышать каждое

слово, но я не двигалась, я сидела на постели. Какое мне дело, что у нее любовник, или два? Пусть Павел Федорович убьет ее или их, или она сама над собой что-нибудь сделает. Я, я-то что буду в жизни делать? Я, я-то зачем живу на свете?

И вдруг открывается дверь, входит она:

— Вы еще не спите? Дайте я поцелую вас. Спасибо за сегодняшний вечер.

Я беру ее за руку, бормочу: ну, что вы, Мария Николаевна, при чем здесь я?

Она кладет мне в рот чернослив и смеется.

На следующий день в 8 часов вечера мы выехали в Москву.

Мама была на вокзале, и Митенька, и внучка Х., и еще человек 30 полузнакомых или вовсе незнакомых мне людей. Мария Николаевна стояла в окне международного вагона, в белой лайковой шапочке, с белым песцом на плече. Я старалась поймать, на кого из мужчин она чаще всего смотрит, но мама, заплаканная, растерявшая все слова, то и дело становилась между мной и ею.

— Возвращайся, девочка моя, — говорила она, — что-то со всеми нами будет? Мой талантик светлый, будь счастлива! Дай Бог Травиным здоровья, какие они добрые, милые. Будь осторожна, смотри, старайся... Сонечка, моя крошечка...

Я слушала ее лепет и несмотря на то, что половину его не понимала, что-то доходило до меня в те минуты из этих последних слов. «Мамочка, — отвечала я, — все будет хорошо, мамочка, видишь, как уже все хорошо устраивается. И о чем беспокоиться? Не надо беспокоиться. Будь здорова, мамочка». Она плакала, обнимала меня. Прозвонил звонок. Я вскочила на площадку. В это время из толпы провожающих вышел человек в военном френче с нашивками, с лоснящейся у пояса кобурой, сделал два шага за вагоном, крепко пожал свесившуюся руку Павла Федоровича, поцело-

вал два раза руку Марии Николаевны и взмахнул фуражкой. Все замахали шляпами и платками, даже Митенька. Человек во френче крупным шагом пошел рядом с окном.

— В Москве увидимся, — сказал он.

— Довольно, под поезд попадешь, — ответила она.

— В Москве увидимся, — повторил, словно с угрозой, человек.

Поезд пошел быстрее, он отстал.

— Сеня до того растолстел, — сказал Павел Федорович, обращаясь ко мне, — что скоро бегать разучится.

Мария Николаевна не ответила. Она стояла у окна и смотрела назад. По направлению ее взгляда я видела, что она смотрит не в сторону провожающих, впереди которых размахивал фуражкой Сеня, а куда-то левее, смотрит грустно, долго...

У нас было два смежных купэ. В вагоне кроме нас ехали какие-то советские сановники, с которыми Павел Федорович, имевший в Москву командировку, сейчас же познакомился. Они сперва выпили у нас, потом — мы у них. Мария Николаевна, кутаясь в большой пестрый платок, продержала одного из них на коленях перед собой около получаса, с полным бокалом вина в руке. У Павла Федоровича шел с другим длинный, увлекательный разговор об охоте, о знаменитой коллекции ружей Карахана, о царской охоте на зубров. Третий, молодой, худенький, с ангельским лицом и большими глазами, непременно требовал, чтобы я выпила с ним на «ты». Мне было страшно, но я сцепилась с ним руками и вытянула свой стакан, после чего он сказал, что поцелует меня. Мне стало еще страшнее. Я поняла, что опьянела и могу влюбиться в него, если он это сделает.

— Я научу тебя целоваться, — говорил он, — ничего, что ты не умеешь, я научу тебя.

Мария Николаевна из другого угла купэ сказала:

— Это так быстро не делается.

Он обнял меня, и я почувствовала что-то нежное и влажное во рту.

Ночь летела в окно, кто-то шатался по коридору, кто-то целовал мне руки, без назойливости, очень осторожно; кто-то наконец, нежно довел меня до моего купэ. Ночь летела в окно. Поезд мчался. Я чувствовала, что это жизнь летит на меня, а я мчусь в нее, в бархатную неизвестность.

V.

Сеня приехал в Москву через две недели после нас — я ждала его, как, вероятно, ждут любимого человека. А между тем, время бежало круто и решительно вперед, и каждый день московской жизни приносил нечто новое.

Мы остановились у сестры Марии Николаевны, на Спиридоновке; в первом этаже особняка помещалось какое-то учреждение, во втором — жило 15 человек, все своих, родных. Одна я была чужая.

С первого дня нашего приезда начались приходы каких-то развязных господ; они не спрашивали, когда и где будет петь Мария Николаевна, и что будет петь. Они как бы реквизировали ее и приказывали ей, правда вежливо, но не слушая никаких возражений: то ехать на поданой к крыльцу подводе в Кремль на какой-то раут, то петь в филармонии — и именно тогда-то и то-то, то принять на будущую зиму ангажемент в Большой театр. Павел Федорович, который почти не выходил из дому (командировка его оказалась фиктивной), однажды сказал:

— Не осенью, а сейчас удирать отсюда. Разве можешь ты так жить?

Мария Николаевна посмотрела на него с доверием, и мы поняли, что он начнет завтра доставать фальшивые документы.

Но кроме этой реквизиции, я узнала в Москве и другое: я узнала в полной мере чужую славу, и я даже немного привыкла к ней. Мария Николаевна не отпускала меня от себя. Иногда высылала меня говорить с какими-то требовательными поклонниками, иногда просила съездить куда-нибудь по делу. Помню, на каком-то ужине после, кажется, второго концерта, она должна была сидеть рядом с Луначарским и в последнюю минуту посадила меня на свое место. Луначарский покраснел, смолчал, но к концу ужина разошелся чрезвычайно:

— Вы девушка или женщина? — спрашивал он меня, дыша на меня вином. — Ответьте, вы девушка или женщина?

Запинаясь, я чистосердечно призналась, что я девушка. Он объявил об этом на весь стол, прослезился и хотел поклониться мне в ноги, но Павел Федорович во-время вступился.

Чужая слава, чужая красота, чужое счастье окружали меня, и самое для меня трудное было то, что я знала, что они заслужены, что если бы я находилась не у рояля, на эстраде, где меня не замечали, не где-то за Марией Николаевной в артистической, а в той толпе, которая хлопала ей, или выбегала за ней на подъезд, я бы сама так же восторженно смотрела на Травину, так же бы хотела говорить с ней, дотронуться до ее руки, увидать ее улыбку. Но сейчас я мечтала только об одном — найти слабое место этой сильной женщины, получить возможность, когда мне станет не вмоготу оставаться ее тенью, — распорядиться ее жизнью.

Отношения ее с Павлом Федоровичем много раз удивляли меня — несмотря на то, что у нее несомненно была какая-то тайна, они были безоблачны. Он любил ее так, как только можно любить. Они были женаты шесть лет. Каждое слово, каждая мысль ее были для него выше суда, она была всей его жизнью. И она отвечала ему полной мерой. А я ждала Сеню, чтобы

поймать ее в обмане. И Сеня приехал однажды утром, прямо к нам — с поезда.

— Сними фуражку, что за хамская привычка входить в комнату в фуражке, — сказала она, перетирая полотенцем только что вымытые волосы. — Ну что в Питере?

Я вышла из комнаты и остановилась за дверью. Но разговор сразу стал тихим. Два раза звякнули Сенины шпоры. Когда пришел Павел Федорович, я, едва скрывая свое волнение, сказала ему, что у Марии Николаевны кто-то сидит.

Он заглянул в щелку двери и опять ее закрыл.

— Там какое-то галифе, — сказал он мне. — Это наверное, Сеня. Приехал-таки дурак! Ну, пусть объяснятся.

Мы посидели в детской, где не было никого. Прошло полчаса. Павел Федорович показывал мне какие-то бумаги и просил запомнить новые имена, под которыми мы тронемся на юг на будущей неделе. Я волновалась ужасно, и мне было странно, что он совершенно спокоен. Внезапно, в переднюю вышли. Слышно было, как вышли двое, но ни Мария Николаевна, ни ее гость не произнесли ни одного слова. Сеня рванул входную дверь.

— У него все-таки были какие-то сумасшедшие надежды, — сказала Мария Николаевна, входя к нам. — Как тяжело это. 15 лет верной дружбы: веселый, неглупый человек. Потеряла я его.

И она села. Павел Федорович спросил:

— Но ты не была груба?

— Немножко, — ответила она, и облокотившись на руку, задумалась.

Я стояла у окна, вытянув руки по швам. Я хотела кинуться к ним обоим, просить, чтобы они меня прогнали от себя.

— А у меня новости, капитальные новости, — заго-

ворил Павел Федорович, — все готово, и я думаю, мы скоро двинемся.

Мария Николаевна подняла голову.

— Постылая Москва, — сказала она. — На север, на юг — все равно куда, только бы вон.

И через пять дней мы тронулись в путь.

Наше путешествие было таинственно и опасно, оно стоило много денег и драгоценностей и длилось около месяца — но даже всеми своими исключительными минутами оно было слишком похоже на другие такие же путешествия, и если нам во время нашего странствования казалось, что только нам на долю выпало ловить на себе паразитов, быть обокраденными до нитки, прятаться в теплушке, уцелевшей на развороченных динамитом путях, то по приезде в Ростов мы узнали, что десятки, сотни людей испытали то же, что и мы, и в общей веселой и обильной жизни никто уже и не вспоминает об этом. У нас теперь был аппартамент в гостинице. Павел Федорович в несколько дней сделал какое-то почти миллионное дело, Мария Николаевна занималась, выступала, блистала. А я... я была в первый раз в жизни влюблена. Мы ходили к Филиппову есть пирожные. Ему было 18 лет, он был на первом курсе, и его глупость умиляла меня до слез.

Тут было все, и «если я уйду на войну, вы будете плакать?» и: «я слишком много в жизни пережил, чтобы не понимать...» и «если вы не можете мне подчиниться до конца, то скажите прямо», — бесконечно-сладкие и совершенно пустые слова, от которых я впадала в счастливое оцепенение.

Дома я скрывала свое знакомство. Я старалась быть такой же исполнительной и покорной. Каждый день Мария Николаевна занималась; были выступления, — преимущественно благотворительные; здесь опять был тот успех, который окружал ее всюду, как воздух. А я думала о том, что мы с моим первокурсником поженимся, и я брошу Травиных — без предупреждения,

без прощания — начну свою жизнь, рожу ребенка, брошу музыку, сыгравшую со мной такую жестокую шутку. И этими мыслями была почти счастлива.

— Сонечка, сядьте сюда, — сказала мне однажды Мария Николаевна, — ведь вы — мой дружок, а потому я могу с вами говорить откровенно?

— Да, Мария Николаевна, — и я села, куда она приказывала.

— Посмотрите на меня. У вас в последнее время глаза стали другими: какие-то твердые... Бросьте вы своего мальчишку. Он очень смешной.

Я похолодела.

— Пусть бы молод был, или глуп, или некрасив, или еще что. А ведь ваш — просто смешной. Бог его знает, а без смеха на него смотреть невозможно.

— Откуда... вы знаете?

— Да и знать нечего. Ну неужели это любовь?

— Мы поженимся, — выжала я.

— Не может быть! Ну уж это совсем анекдот. Ведь он телеграфистом будет.

— Почему телеграфистом? Он на юридическом.

— Это ничего, а будет все-таки телеграфистом. И всю жизнь у него будут болеть зубы.

(У него, действительно, недавно был флюс).

— ...и когда вы будете с ним гулять под ручку..

— Мария Николаевна, не надо!

— Почему не надо? Это — жизнь. Божий мир устроен прекрасно, ведь правда?

Я сидела и молчала. Лучше бы она сказала: я запрещаю вам путаться с этим молокососом, или что-нибудь в этом роде. Да, по сравнению с ней, все люди были жалки и смешны.

— И потом, вы знаете, мы скоро уедем.

— Куда?

Она подошла ко мне, положила мне руку на плечо и посмотрела — не на меня, на свою руку.

— За-гра-ни-цу, — сказала она едва слышно, будто стены могли ее услышать.

И вот первокурсника своего я больше не видела. Я вдруг поняла, что история с ним — отступление от главной линии, взятой мною еще в Петербурге, я поняла, что кроме Травиных в моей жизни не должно быть никого. И опять я начала приглядываться, прислушиваться к ним, но ничего из того, что мне надо было, не доходило до меня.

Мы, действительно, осенью выехали из Ростова, и через Новороссийск прибыли в Константинополь. Павел Федорович делал нашу жизнь легкой и беспечной, — это второе путешествие было безопаснее и проще первого, но кочевая жизнь моя должна была кончиться только весной 1920 года, ровно год прдолжалась она, и того, чего я ожидала от нее, не принесла мне. Я сжилась с Травиными, я стала членом их семьи, я была первой слушательницей Марии Николаевны и в то же время — ее слугой. И за ней, и за Павлом Федоровичем постепенно окончательно рассеялся дым какого-то неблагополучия и тайны, который так долго меня беспокоил, но я знала, что настанет день, он сгустится снова, и я узнаю все, что так хочу знать.

Итак, весной 1920 года закончилось наше третье путешествие — мы были в Париже.

Помню, шел дождь, был вечер, я смотрела в окно автомобиля на улицы, на пешеходов, — я сидела на переднем сиденьи, против Травиных. У Марии Николаевны был усталый вид. Помню свои сны в номере отеля Режина, первые дни, портрет Марии Николаевны в «Пти Паризьен»... Помню все это отчетливо, как-будто это было вчера. А жизнь опять, в который раз за этот год, начиналась сызнова, буйная, пестрая и щедрая, нашлись прежние знакомые Травиных, были выезды, вечера, рестораны. Пришло лето — Мария Николаевна уехала в горы, Павел Федорович вскоре уехал за ней. Я слонялась по городу, смотрела могилу Наполеона,

церкви, денег у меня было вдосталь. Потом и меня выписали на юг. Вернулись мы в сентябре и сейчас же закипела работа: Павел Федорович пустился в дела, Мария Николаевна стала готовиться к концертам. Появился антрепренер, — акула и пройдоха, — но очаровательный человек, с анекдотами, комплиментами, всевозможными услугами... Наступала осень...

В тот день, когда это случилось, я была одна дома. У нас уже была квартира. Травины куда-то уехали завтракать, прислуга была отпущена.

У двери позвонили.

Я разбирала что-то на рояле и совершенно не думая, кто бы это мог быть, пошла и открыла.

Вошел высокий, очень высокий, еще молодой человек, в мягкой шляпе и пальто, хоть и хорошем, но уже сильно потертом. В руках у него была старая, немодная трость.

Дверь в гостиную была открыта. Я увидела, что он темно-рус, что у него прямой, длинный нос и небольшие усы. Глаза его смотрели нерадостно.

— Мария Николаевна Травина здесь живет? — спросил он.

— Да.

— Она дома?

— Нет, ее нет.

Он облегченно вздохнул.

— Она, может быть, скоро вернется?

Я догадалась, что он принимает меня за прислугу.

— Не думаю.

— А Павел Федорович?

— Он вышел тоже.

— Они вернутся вместе?

— Кажется, да.

Он помолчал. Потом вынул из кармана бумажку, карандаш, что-то написал.

— Вот мой номер телефона, — сказал он, — возьмите. Передайте ей, — он подчеркнул «ей», — пере-

дайте, что приходил Бер, Андрей Григорьевич Бер. Не забудете?

И он сунул мне в руку два франка.

Я взяла деньги, поблагодарила и сказала со всей убедительностью, как только могла: «Нет, не забуду, будьте покойны».

А когда он ушел, я села тут же в передней на бархатный табурет и заплакала.

VI.

Я знала, что мне сейчас предстоит сказать Марии Николаевне, что приходил Бер, тот самый Бер, о котором за эти месяцы я совершенно забыла, и только чуяла собачьим чутьем его существование в мире. Это был тот самый человек, которому, в первый вечер моей службы у Травиной, я бросила письмо в почтовый ящик, на Литейном. Теперь он был в Париже. Ехал ли он следом за нами? Я готова была ручаться, что этого не было. Несомненно, он выехал из России севером и вот появился здесь, и это было его первым (после года отсутствия) появлением в жизни Марии Николаевны.

«Тебе мало? — говорила я себе. — Тебе плохо? Чего ты хочешь и почему ты ищешь разрушить эту жизнь, в которую тебя так доверчиво приняли?» Я держалась обеими руками за узкое трюмо и смотрелась в него, в свое лицо, словно так близко никогда его не видела. И чем больше я смотрела, тем больше мне казалось, что не я смотрю, а та из зеркала смотрит на меня. Что у нее глаза человека решившегося на поджог родного дома. Что, может быть, в ее большой, бледной, жилистой руке уже зажат дымящийся фитилек...

— Фитилек? Про какой это вы фитилек? — и в зеркале за собой я увидела смеющееся лицо. Мария Николаевна неслышно вошла в комнату. — Павел Федорович поехал на скачки, а я вернулась. Умоляю,

запалите утюг — надо к вечеру выгладить одну тряпку. А где Дора?

Дора была прислуга.

— Я выглажу, Мария Николаевна. Доры нет.

Мы стояли посреди комнаты. Когда я увидела, что она стоит прямо против света так, что ее лицо не может утаить от меня ни одного движения, я разжала руку и протянула ей телефон Бера.

— К вам приходил один господин и просил вас ему позвонить.

Она сказала «уф» и села.

— Что ему надо? Кто такой? Может быть, это к Павлу Федоровичу?

— Нет, это к вам. Андрей Григорьевич Бер.

«Ну вот и довольно! Она побледнела. Хватит. Хватит. Дальнейшее тебя не касается. Она стала совсем бледной, ей сейчас будет худо. Рада? Вот ей и нехорошо...»

Но Марии Николаевне отнюдь не было дурно, и она не покачнулась, как мне представилось, а только покачала головой. Она взяла бумажку, прочитала ее, задумалась. Я стояла и ждала.

— Утюг, — сказала она, не глядя на меня. — Сонечка, я просила...

Я пошла на кухню и поставила утюг. В комнатах было тихо.

— А пока он греется, — крикнула она вдруг сильным своим голосом, — Сонечка! Пожалуйста! Позвоните по этому номеру!

И мы подошли к телефону.

— Вы вызовете господина Бера и скажете, что вы передали мне, что он был, но что я так занята эти дни, так занята, что прошу меня простить, — не могу принять его. А когда буду посвободнее — дам ему знать.

Щеки ее пылали, глаза блестели, голос вот-вот готов был изменить.

Я позвонила, мне сказали, что Бера дома нет. Она этого не ожидала и растерялась, и стала снимать и надевать свой толстый браслет. Я вышла на кухню.

Через полчаса она позвала меня опять, она хотела попеть до обеда.

— Как вы думаете, Сонечка, — сказала она, уже стоя у рояля и глядя на меня странным взглядом, — предположим, я хочу по номеру телефона узнать адрес человека. Возможно это?

— Думаю, что возможно.

— Нет, не Бера! Ах, какая вы хитрая, вы наверное подумали про этого Бера. Я теоретически.

— Есть, кажется, такая специальная телефонная книга. Когда мы жили в «Режине», я ее видела.

— Специальная? А если у меня ее нет?

— Тогда вам придется перелистать всю телефонную книгу — миллион номеров.

— Ну, уж и миллион! А сколько часов вы думаете на это потребуется?

Почем я знала? Меня занимала мысль: попросит она меня при Павле Федоровиче не упоминать о приходе Бера или нет? Но вот Павел Федорович вернулся (с крупным выигрышем и как всегда веселый), а Мария Николаевна не сказала мне ничего.

Но и ему она не сказала ни слова.

— Никто не приходил? — спросил он еще в передней.

И я ответила: «Никто, Павел Федорович», — думая получить в ответ благодарный взгляд, но Мария Николаевна даже головы не повернула в мою сторону.

А на следующее утро я, по ее просьбе, дозвонилась до Бера и передала ему то, что она велела передать. Она слушала его голос во вторую трубку. Он переспросил, поблагодарил. Вечером того же дня, Мария Николаевна уговорила Павла Федоровича повезти ее в один игорный дом, куда, не в пример обыкновенным клубам, допускались и женщины (конечно, тайно). Они

вернулись поздно. Мария Николаевна разбудила меня, войдя ко мне.

— Для такого случая, — сказала она, садясь ко мне на постель, — можно и потревожить эту соню-Соню. Продула 18 тысяч, и Павел Федорович не только не обругал, а еще утешал. (А, говорят, — «купец»!). Потом вернула, и со своими унесла еще семь тысяч. Играть-то надо умеючи! Это вам не петь! Петь всякий может!

Она была так хороша, так весела, что мы с Павлом Федоровичем не знали, как ее угомонить. Заснули мы все трое под утро. «Говорят, — «купец». Кто говорит «купец»? — думала я. — «Кто имеет право сказать ей про Травина, что он купец?»

Но в Павле Федоровиче, я это понимала, было что-то, что могло коробить людей, не принадлежащих к его кругу.

Он за этот год совршенно переменил свою внешность. «Купеческие» волосы он снял и причесывался на пробор, по европейски, вместо высоких сапог носил первоклассные ботинки, зимою — гетры бледно-серого цвета. Белье, галстуки, костюмы — все у него было превосходное, руки он выхолил, лицом покруглел и надел на коротенький, волосатый мизинец кольцо с бриллиантом. И когда он молчал и не двигался, куря сигару в кресле, вытянув ноги, выставив перед собой уже немалый живот, его можно было принять за человека вполне порядочного, за джентельмена, на грани почтенности.

Но стоило ему заговорить или пройтись — в нем вдруг проявлялась какая-то веселая вульгарность, какая-то животность, упрощенность, видно было, что всему на свете предпочитает он вкусно поесть, по-богатому выпить, всхрапнуть, «игрануть», как он говорил, щегольнуть Марией Николаевной, — от чего иные его знакомые слегка морщились, но что вовсе не мешало самой Марии Николаевне. Она говорила, что считает,

что мужчина должен быть именно таким: грубоватым в своих вкусах, устойчивым в жизни, не обращающим никакого внимания на то, производит он или нет благоприятное впечатление на людей, вовсе ему ненужных. Она приблизительно так мне однажды и сказала:

— Есть что-то непозволительное, противоестественное, в двух людях, когда он — весь в высоких мыслях, витает, ничего вокруг себя не видит, ступает во все лужи, садится мимо стула, сморкается в чайную салфетку, а она — все в уме высчитывает, сколько что стоит, и не текут ли калоши, и ах! завтра за квартиру платить, и еще что-нибудь. Мужчина должен быть трезвым, если надо — толкнуть соседа, чтобы самому пройти. Женщина — вы может быть думаете, она должна быть вроде птицы? Нет, вовсе нет. Но если у нее есть талант, или хотя бы душа — она спасена.

Так она сказала мне однажды. И в тот день, когда она вечером ушла одна — чего никогда не делала, — я вспомнила эти ее слова и подумала, что обмануть одинаково легко и того, кто витает, попадает впросак, ведет себя совершенным олухом, и того, кто трезвым, плотным естеством любит жизнь, которая ему отвечает тем же.

Она ушла вечером. Павел Федорович был в клубе. Она не сказала, куда идет. Вернулась она скоро, часов в 11, далеко побывать она не могла; может быть она каталась в Булонском лесу, может быть, как маленькая швейка, просидела в угловом кафе. Она прошла к себе в комнату. Обыкновенно, в это время я еще не спала, но в тот вечер мне нездоровилось, и я прилегла. Услышав, что она у себя, я накинула халат, и в мягких туфлях побежала спросить, не хочет ли она в постель чаю. Я постучала в дверь и так как мне никто не ответил, неслышно вошла. Мария Николаевна сидела на стуле, у туалета, и плакала.

С дикой силой я кинулась к ней, не понимая, что делаю, и чувствуя, что плачу тоже. Я схватила ее за

руку, я другой рукой обняла ее и залила ее платье слезами. Она закрыла лицо рукой. Грудь моя разрывалась, я ничего не могла высказать. Наконец, она отвела мое лицо, посмотрела мне в глаза. Я почувствовала, что сейчас она мне скажет... что она не может дольше скрывать. О, как я хотела этого, как хотела! Но она просто улыбнулась мне.

— Выпьем чаю, — сказала она, — и все пройдет. — И большой розовой пуховкой она обмахнула мне и себе еще влажные глаза.

Через час я была у себя, одна. Ну, вот, она плакала. Довольно. Помимо меня совершилось то, о чем я мечтала. Она плакала, она страдала, она не была счастлива.

Но на следующий день — какой-то особенно хлопотливый и перегруженный — глядя на нее, такую ровную, спокойную, неомраченную, я сама не верила себе, я, чем дальше уходил тот вечер, тем больше начинала сомневаться, — да видела ли я ее слезы? Да может быть их вовсе не было, а была только усталость? Или может быть она плакала совсем от других причин, ничего общего не имеющих ни с Бером, ни с Павлом Федоровичем. Может быть, она потеряла свой любимый браслет или получила из Москвы грустные от родных вести?

Через неделю в зале Гаво она пела.

Мне сшили голубое, открытое платье, парикмахер причесал мои жидкие, сухие волосы, стараясь придать им жизнь и блеск. Мария Николаевна была необыкновенно хороша в белом платье, с черной косой, положенной вокруг головы. Платье ее, по тогдашней послевоенной моде, не застегивалось, а как-то завертывалось и завязывалось, и это очень ее смешило. «Ну что бы было, — говорила она Павлу Федоровичу, когда мы ехали в автомобиле, — если бы твои брюки заворачивались таким конвертом? Что бы ты сказал?»

В пыльной артистической нас встретили какие-то лю-

ди с цветами; антрепренер, у которого борода была в этот день выкрашена почти что в синий цвет и свернута на сторону, ахнул, когда увидел Травину. Потом он увидел меня.

— Как вы... молоды! — прохрипел он с восторгом. Да, я была молода. А большего ничего про меня сказать было невозможно.

И вот мы вышли. Она впереди, я — сзади, мимо первого ряда сидящих на эстраде, которые, как и те, в зале, конечно, смотрели мимо меня, на нее. Я всегда аккомпанировала ей наизусть. Мне пришло в голову, что если бы я аккомпанировала ей по нотам, то за мной бы шел еще кто-нибудь, скажем, какая-нибудь барышня, ну хотя бы в розовом платье, и она, присев рядом со мной на стул, переворачивала бы мне страницы. То-есть была бы при мне приблизительно тем, чем я была при Марии Николаевне. Но я играла наизусть, и нас было двое. Нас было двое на эстраде, и у меня было такое впечатление, что нас двое в зале. Я знала, что Павел Федорович прошел в первую с правой стороны ложу, где сидели знакомые. Зал был совершенно полон. Но я все-таки чувствовала, что нас двое. Это ощущение продолжалось, вероятно, минуту: от того, как стихли аплодисменты и до того, как внезапно, в первом ряду, я увидела Бера.

Он смотрел на нее, он был бледен, как его белая фрачная грудь. Нас было теперь трое. Я взяла первый аккорд. Мария Николаевна смотрела поверх зала. Но я угадала, что она знает, что он здесь. И пусть она не глядит на него, она все равно его видит.

VII.

Наступила зима. После первого концерта было еще два; Мария Николаевна к декабрю получила два ангажемента: один в Америку, на концертное турнэ, другой — в Милан, в «Скалу». Она теперь была так тесно

и плотно окружена людьми, что мы оставались вдвоем с ней только утром, до завтрака, когда она занималась, иногда неодетая, а с Павлом Федоровичем она бывала наедине только поздно ночью, когда они возвращались откуда-нибудь — из гостей, из театра, из ночного ресторана: втроем же, как бывало когда-то, мы теперь не были никогда.

Появилось такое множество старых знакомых: и дельцов, одной породы с Павлом Федоровичем, и приятельниц-актрис, и светских женщин, и какой-то стареющей молодежи, и даже иностранцев.

За завтраком всегда бывал кто-нибудь, к обеду — если Травины обедали дома — приходило порой до пяти-шести человек. Кое-кто бывал изо дня в день, другие менялись. Я иногда даже не знала: кто они? как их зовут? Выныривали москвичи (Павел Федорович был москвич); они съежались в тот год в Париж, и дом Травиных был одним из первых для них домов.

Вечерами шла иногда в кабинете Павла Федоровича крупная игра, часов до 8 утра, так что я просыпалась от громких и сиплых прощальных возгласов в передней, когда табачный дым проникал, наконец, и ко мне в комнату, расстелившись по всей травинской квартире. Павел Федорович осторожно шел в ванную и потом ложился где-нибудь на диване, спал до часу, завтракал и ехал к себе в контору — продавать и покупать русские лес, нефть, уголь, золото, — словом, все то, чего уже не существовало, но что ему хотелось, чтобы было, как когда-то, когда он служил в продовольственном «главке», в Петербурге, и там управлял партиями керосина, спичек и соли, которых было ровно столько, чтобы их поделить между собою и несколькими подчиненными. И опять он совершенно не думал о том: честно это или бесчестно, «по божески» выходит, или не «по божески». Жизнь текла, быстрая, мутная. В этой мутной воде он плыл...

Каждый день появлялись у нас новые люди — моло-

дые, старые, богатые или уже просадившие на какой-нибудь афере свое богатство; женщины, преимущественно красивые, мужчины — искренно или нет — взиравшие на Травину, как на божество, но среди этого потока я не увидела того, кого, казалось, так было бы легко Марии Николаевне ввести в свой дом, я не увидела Андрея Григорьевича Бера. И из этого я поняла, что Бер Павлу Федоровичу известен, и что в доме Травиных он появиться не может, как не мог появиться в нем в Петербурге.

Мне стало ясно, что Андрей Григорьевич не первый год играл в жизни Марии Николаевны какую-то роль, и роль эта была когда-то настолько Павлу Федоровичу понятна, что Беру вход к Травиным оказался закрыт — иначе, если бы они не были знакомы или Павел Федорович ничего бы не подозревал, Андрей Григорьевич бывал бы у них наравне с другими мужчинами. Мне постепенно стало ясно, что еще в Петербурге Бер стал тайной Марии Николаевны, и теперь она не открывала Травину его пребывание в Париже. Она молчала. Она много молчала. Она как будто радовалась, что вокруг нее говорят, шумят, хохочут другие и дают ей возможность почти не говорить.

Ни телефонных звонков, ни приходов Бера больше не было. Жизнь Марии Николаевны была заполнена пением, развлечениями, женскими заботами о своей внешности, — казалось, у нее не могло быть ни возможности, ни времени видеться с ним, и несмотря на это я не сомневалась, что они видятся. Почему? У меня не было никаких доказательств. На первом концерте он сидел в партере и не пришел за кулисы, на втором и третьем я его не видела. Однажды, Мария Николаевна получила по почте письмо, которое сейчас же сама сожгла в никогда не топившемся камине и пепел (вероятно, была закрыта труба) разлетелся по всей комнате. Днем она почти ежедневно выходила — не надолго, но делала это вопреки всему. Она стала какой-

то тихой, тень беспокойства изредка наплывала на ее лицо. И вот теперь она отказывалась ехать и в Америку, и в Милан.

«Да ведь Бер в Париже!» — захотелось мне крикнуть Павлу Федоровичу, когда я увидела, что он сделал удивленное лицо.

— Маша, да почему же? Ведь это то, о чем ты всегда мечтала. Ты подумай... Не хочешь?

Она мотнула головой. Бывшие тут же «свои люди», т. е. совершенно всем нам чужие четыре господина, раз-ахались.

Я пошла в кабинет Павла Федоровича и долго сидела там, глядя в какую-то книгу, думая о своем. Америка, Милан — это был тот блеск, к которому она стремилась в России, она отказывалась от него ради любви. Она хотела быть вместе, рядом с тем человеком, которого она любила, который приехал за ней в Париж. Быть вместе. Ни я, ни моя мать никогда ни с кем не были вместе. Она отказывалась от славы ради каких-то коротких, тайных свиданий. С кем? Кто был этот Бер? Почему он открыто не отнимал ее у Павла Федоровича? Чего они ждали?

На все это ответа у меня еще не было. Пока я знала только одно: я открыла уязвимость Марии Николаевны, я знала, с какой стороны нанесу ей удар. За что? За то, что она одна, а таких, как я, тысячи, за то, что мне не идут ее перешитые платья, так ее красившие, за то, что она не знает, что такое бедность и стыд, за то, что она любит, а я даже не понимаю, что это такое.

— Сонечка, — сказал Павел Федорович из гостиной, где все сидели. — Принесите из среднего ящика письменного стола мои паспорта.

— Зачем? — отозвалась я, словно меня разбудили.

— Они не верят, что мне 47 лет. Говорят: больше. Хочу доказать.

Там шел пустой разговор, и она сидела там, и Травин, ничего не подозревающий.

Я подошла к столу, выдвинула ящик. Там, действительно, лежали пять паспортов Травина, в большом конверте: советский, нелегальный, украинский, турецкий и белый. А под ними лежал револьвер. Я сейчас же задвинула ящик... Не могу передать, до чего меня удивила эта находка. Павлу Федоровичу совершенно не шло иметь револьвер.

Я отнесла паспорта в гостиную. Оказалось, что Травину и впрямь 47 лет. На вид ему можно было дать больше. Мария Николаевна молча улыбалась.

«Бер в Париже». — Если я произнесу эти слова, Павел Федорович, пожалуй, убьет меня из этого револьвера. Во время нашего путешествия, револьвера не было. Из Константинополя мы ехали — я сама укладывала чемоданы Павла Федоровича — револьвера не было. Он купил его в Париже. Когда? Зачем?

А в гостиной все продолжался бессмысленный разговор. В 11-ом часу приехала приятельница Марии Николаевны с мужем, и они увезли Травину куда-то. Павел Федорович с тремя гостями сели за молчаливый покер, а я осталась с четвертым гостем, пожилым, лысым человеком, которого звали Иван Лазаревич Нерсесов. Он курил, я сидела и ждала, когда он уйдет. В покер он играть не любил, играл в железку, любил летать на аэроплане (что тогда было сравнительной редкостью), был вдов и жил в собственном доме, недалеко от нас.

Он молчал и курил с ленивым, восточным забвением всего на свете; его полусонные глаза смотрели на меня, как мне казалось, меня не видя.

— Очень трудно, — сказал он вдруг.

— Что трудно?

— Очень трудно, — повторил он. — Рано лечь, рано встать. Привычка плохая — ночь сидеть. Пить. Есть. Не ходить гулять. Лежать.

— Да, — ответила я.

— Воздух, — сказал он опять. — Солнце. Когда-то любил. Теперь забыл.

— Вам бы кальян курить, — сказала я. — Вы пробовали?

Он утвердительно прикрыл глаза.

— Поедем, — сказал он, когда мне, наконец, показалось, что он задремал. — Павел Федорович, отпустите барышню со мной.

Павел Федорович сидел к нам спиной и не обернулся.

— Ррради Бога, ррради Бога! — он в это время что-то соображал. — Куда? Ехать? Сонечке? Сонечка, а вам разве хочется?

Я была еще неодета, когда Павел Федорович вошел ко мне и, не обращая никакого внимания на то, что я закрыла от него свои плечи, сказал:

— Он абсолютно приличный человек. Только не пейте слишком много, а то вас будет тошнить. Он абсолютно приличный человек. И очень скучный. Потанцуйте с ним.

Нерсесов вывел меня к автомобилю Шоффер проснулся. Мы сели. На мне было мое голубое платье.

— Вы милая, очень милая. Такая некрасивая и такая милая, — сказал он. — Такая маленькая и такая дурненькая.

И он засмеялся. Засмеялась и я.

Мы приехали в модный в то время ресторан, сейчас же начался длинный, изысканный и неперевваримый ужин. Я пила, Нерсесов пил. Зачем я была ему нужна? Он, вероятно, не задумался над этим. Может быть, он был добр, и ему стало меня жалко. Или ему хотелось убить еще одну бессонную ночь? Я не умела ни душиться, ни пудриться, лакеи смотрели на меня с состраданием.

— И вы никогда ни в кого не были влюблены, Танечка? — спрашивал Нерсесов. Я вспоминала свою жизнь, Евгения Ивановича, который уехал и не вер-

нулся, полузнакомое, ласковое лицо в вагоне между Петербургом и Москвой, которое я больше не видела, моего первокурсника в Ростове, над которым так посмеялась Мария Николаевна. И это было все.

— Не Танечка, а Сонечка, — отвечала я на это, и опять пила.

— Вас надо выдать замуж, голубушка, — говорил он, — и чтобы были детки...

— Не Олечка, а Сонечка, — отвечала я на это и смеялась сама над собой.

Поздно, перед самым рассветом, он довез меня до дому, поцеловал мне руку и поблагодарил меня «за веселую кабацкую ноченьку». Не сразу нашла я звонок; когда парадная дверь отворилась, мне показалось, что в темноте кто-то есть. Я стала искать выключатель. Я чувствовала, что совсем близко от меня кто-то стоит, и мне становилось страшно. Дверь на улицу я оставила открытой. Внезапно кто-то вышел и закрыл ее снаружи. Я зажгла свет.

Наверху гости уже разошлись. Мария Николаевна еще не возвращалась. Павел Федорович сидел один посреди гостиной. Было накурено, ковер был смят.

— Почему вы не спите? — спросила я.

— Не хочется — ответил он. — Ну, как вы веселились?

Но я вдруг всхлипнула.

— Ррради Бога, ррради Бога! — закричал он, как давеча, когда что-то соображал во время карт. — Идите скорее спать. Вам надо выспаться.

И он вытолкал меня за дверь так, будто боясь, что я сейчас скажу что-нибудь лишнее.

VIII.

Может быть, если бы Мария Николаевна в те недели переменилась лицом и душой, страдала бы, да так, чтобы это все видели, и я в том числе, если бы она

заболела, лишилась голоса, — не знаю, может быть, с меня было бы этого достаточно. Но кроме пришедшей к ней какой-то тихости, да изредка беспокойного взгляда, я не замечала ничего. Опять она была мила и внимательна к Павлу Федоровичу, опять занималась старательно и много, временами ослепительно хорошела и самоуверенно и вольно продолжала свою жизнь. И я чувствовала, что я все больше и больше стираюсь перед ней, а она растет, как певица, и подходит, и внешне и внутренне, к какому-то, если так можно сказать, ф о к у с у своего существования, к точке, которую при ее уме, таланте и красоте она способна будет протянуть, вероятно, на долгие годы.

В ее равновесии было что-то, что восхищало меня до испуга, до отвращения к ней. В том, что она обманывает Павла Федоровича, я не сомневалась, но и это делала она необычно и, он, вероятно, бессознательно, сам помогал ей в этом: он никогда ни о чем ее не спрашивал и тем самым не заставлял ее лгать, не унижал ее — она просто молчала. В том, что с Бером у нее не случайное «приключение» — это слово в приложении к ней звучало так же нелепо, как если бы к ее удивительно «верному» и правильному телу вдруг приставили костыли, — в том, что с Бером у нее долгая, трудная и возможно безвыходная любовь, я тоже не сомневалась. И несмотря на неразрешимость этих чувств, она продолжала сиять каким-то постоянным счастьем. И за это вечное счастье я мечтала наказать ее.

Дать понять Павлу Федоровичу, что Бер — в Париже, было мне мало. Мне надо было иметь доказательства, что она с ним видится. О том, что я сделаю с этим доказательством потом и как донесу Травину, я пока не думала. Я ждала, я следила.

О случайной удаче я не думала. Это было бы слишком просто: выйти на улицу и встретить их. Несколько раз мне казалось, что Мария Николаевна сама загово-

рит со мной о Бере. Я думаю, что этого было бы достаточно, чтобы я навсегда оставила все мысли о каком-то мщении ей, о сведении с ней счетов, по которым заплатить мне мог разве что Бог. В последнее время она все реже бывала со мной нежна, как когда-то, в первые месяцы нашей жизни. Но иногда это все же случалось. Я сидела у рояля, она стояла надо мной и клала руку мне на шею, туда, где у меня такие две жесткие жилы и между ними — ямка. Она трогала мои волосы.

— Сонечка, вы вспоминаете иногда свою маму? Питер? Митеньку?

— Да, Мария Николаевна.

— Может быть, когда-нибудь мы получим от них весточку. Вот бы хорошо!

Я сказала:

— Из Питера приезжают люди. Может придти письмо.

Она живо ответила.

— Какое же письмо! Господь с вами! Люди бегут по льду через Финляндию...

Так я узнала, что Бер бежал к ней через Финляндию.

Как я сказала, Павел Федорович в два часа уезжал в контору. В четвертом часу Мария Николаевна уходила. Если у нее сидел кто-нибудь, она говорила: «я скоро вернусь». И гость, или гости, которых впрочем за гостей никто не считал, оставались, бренчали на рояле, листали газеты, играли в шашки. Дора или я носили им чай.

Я все обдумала заранее. Я не обольщалась надеждой, что в первый же мой выход вслед за ней, я все узнаю. В первый раз, когда я вышла за Марией Николаевной и пошла по улице, шагах в тридцати от нее, дальше чем до угла я пройти не могла от страха быть замеченной. Через два дня я пошла опять. Наша улица пересекала другую, и эта вторая выходила на большую, тихую площадь с памятником. По эту сторону

была кондитерская, по ту — бок о бок — три кафе: два по сторонам угловые, довольно просторные и светлые, а в середине — потемнее, погрязнее, так что всякий, кто хотел бы зайти, зашел бы непременно в одно из крайних, никак не в среднее, где и скверное кофе наверное считали сантимов на 25 дешевле, чем в соседних.

Мария Николаевна дошла до площади. Думая, что она возьмет автомобиль, я обошла с другой стороны, чтобы ехать за нею, взяв последнюю в очереди машину, но Мария Николаевна прошла мимо стоянки; она прошла прямо в узкую дверь маленького среднего кафе. И я повернула домой.

Когда я вбежала в квартиру, у меня еще оставалась тень сомнения. Я помнила телефон Бера. Я позвонила. Нет, его дома не было, он ушел с час назад. А когда он вернется?...

В эту минуту, я услышала, как кто-то вкладывает ключ в замок входной двери. Я повесила трубку, телефон издал слабый звон. Я встала за дверью, скрытая портьерой. Я увидела, как вошел Павел Федорович. Он вошел, словно стыдясь в такое неурочное время оказаться дома.

Первый его взгляд был на вешалку. Гостей не было. Он облегченно вздохнул. Он прошел мимо меня, в гостиную, оттуда в комнату Марии Николаевны. Я кралась за ним — я почти не боялась: оглянись он, я превратила бы все это в шутку. Он постоял довольно долго, как был, в пальто и шляпе, потом прошел коридором в столовую и взглянул два раза на часы. «Сонечка!» — крикнул он.

Я отозвалась уже из своей комнаты.

— Нет, ничего... Я тут забыл... Пришлось вернуться.

Хлопнула дверь. Он ушел. С безотчетной тревогой я кинулась в кабинет, к ящику. Нет, револьвер был на месте... Какая глупость могла мне придти в голову!

Кто, кроме меня, мог сделать, чтобы он взял его и стрелял из него? Но время мое еще не настало.

Если бы я могла иначе свести с ней счеты — открыто выйти на нее, может быть, отнять у нее Бера, сделать так, чтобы голос ее померк рядом с моей игрой, чтобы рядом со мной вся она не существовала, хотя бы для одного единственного человека. Но у меня не было ничего. Я должна была мстить грубо.

Помню следующий за этим день. Утром она пела вокализы, к завтраку было два француза. Павел Федорович занимал их разговорами, поил дорогим вином. Говорили о том, какие у кого погреба. Потом мужчины ушли. Пришла с примеркой портниха. Потом...

Я вышла первая. Я дошла до площади, пересекла ее и вошла в полутемное, тесное кафе. Слева и справа шли столики, между ними был узкий проход, в конце его была перегородка. Я зашла за нее. Там было еще темнее. Сев за первый столик в углу, я заказала пиво и раскрыла газету. Рассчет мой оказался правильным — через 10 минут Андрей Григорьевич Бер, в той же самой шляпе, с той же палкой в руке, вошел и сел в первом отделении, у самой перегородки. Я видела его сквозь прозрачный узор в матовом стекле, в полуаршине от себя. Было тихо, за окнами шел дождь; был тот особенный парижский час, когда в начале февраля месяца ни день и ни вечер, и как-то медленнее движется время и грустнее становится город.

...Мария Николаевна села рядом с ним, им что-то подали. Она была здесь. Мне все еще не верилось. Он взял обе ее руки, стянул с них перчатки, долго целовал их.

— Не плачь, — сказала она вдруг.

Прошло долгое молчание.

— У меня руки мокрые от твоих слез, — сказала она опять.

Большие стенные часы тикали надо мною, в темном

углу; проехал грузовик. За цинковой стойкой дремал толстый хозяин — и больше ничего.

— Я не могу, — сказала она. — Я дала слово Павлу Федоровичу. Я не могу.

Он сказал:

— У тебя у самой слезы текут и кофе у тебя простыл и наверное соленый.

Она помешала ложечкой в стакане. В неподвижности их больших, темных силуэтов было что-то непохожее на действительность.

— Скажи мне что-нибудь, — сказал он. — Улыбнись мне.

Но видно голос и губы не повиновались ей.

— Я не могу его оставить, — услышала я. — Все равно, что пойти и убить. И обманывать его я тоже не могу.

— Так я пойду и убью, — сказал он шопотом.

Опять она молчала долго.

— Я хочу приходить сюда, чтобы смотреть на тебя. И ты приходи смотреть на меня.

Он долго смотрел на нее.

— Подожди, — сказал он вдруг и улыбнулся, — неужели ты вправду думаешь, что это может так продолжаться?

Она по-бабьи оперлась щекой на руку. Тикали часы, время уходило, вошел кто-то, выпил у стойки рюмку, звякнули деньги. Ушел.

И когда неожиданно вспыхнул электрический свет над стойкой, над ними, надо мной, Мария Николаевна встала и ушла. И через минуту Бер подозвал хозяина и, расплатившись, ушел тоже... Зажглись еще две лампы. На дворе было совсем темно.

Я вышла, как шалая. На свете не было никого, с кем я могла бы плакать. На свете не было никого... Какие-то улицы, углы, фонари... Я ничего не узнавала. Я пришла домой, позвонила. Дора открыла мне; Мария Николаевна была у себя, а в гостиной сидел Нерсесов.

Я долго стояла в дверях и смотрела на него, а он на меня. Может быть, он имел право сказать, что мы с ним водим дружбу. Он единственный из Травинских гостей знал теперь мое имя и уже не ошибался в нем; он однажды вечером пожалел меня.

Я села напротив него. Я думала: что было бы если бы он был моим мужем, или хотя бы близким другом? Или пусть не он, но кто-нибудь другой, чтобы только не быть одной, всегда одной, а быть хоть с кем-нибудь вдвоем, чтобы иногда было похоже... Я бы чистила ему по утрам башмаки, гладила бы его носовые платки, вытирала бы его мокрую бритву. Я бы ждала его с обедом, я бы иногда прижималась к нему, чтобы почувствовать телом его тепло.

Старый, лысый человек сидел передо мною.

— Где были? — спросил он.

— Гуляла, Иван Лазаревич, — машинально ответила я.

— Вот зашел. Сейчас Дисманы придут, и Павел Федорович вернется. Обедать будем.

Дора накрывала в столовой на стол. Мария Николаевна отдавала ей какие-то распоряжения. Я встала, медленно, с трудом волоча ноги, прошла в кабинет Павла Федоровича, не зажигая света выдвинула ящик письменного стола и вынула револьвер. Тихо ступая, я вышла в коридор, прошла к себе в комнату и спрятала револьвер под подушкой.

Я решила ночью убить Павла Федоровича.

IX.

Вечером у нас были гости, человек десять, но в этот день карт не было: Мария Николаевна пела.

Она никогда не отказывалась, если ее просили, но в этот вечер как мне показалось, она согласилась с неохотой. Гости сидели в углу гостиной, где стояла лампа и глубокие, белые кресла. Ляля Дисман, скинув две

подушки на ковер, улеглась на них, кое-кто оставался в полной тени. Павел Федорович сидел первый с краю, я видела его лицо. Я видела, как он изредка, когда наступала тишина, вставал, подносил кому-нибудь пепельницу или апельсин, выхватывал из вазы фруктовый ножик и подавал, разливал в стаканы крюшон из огромной стеклянной миски, в которой, как в аквариуме, плавали куски ананасов и персиков.

Я сидела за роялем. Она стояла рядом со мной. На ней было темное платье, она была бледнее обыкновенного. Голос ее звучал прекрасно, как всегда, и может быть, как никогда — но если был человек, который в тот вечер не мог ее слушать, то это была я.

Освободить ее от Павла Федоровича? С первых же звуков, прозвучавших надо мной, я поняла, что это было случайной, ненужной мечтой, которая явилась мне в минуту слабости, после подслушанного ее с Бером разговора. Нет, мне самой нужно было освободиться от нее, время наступило предать ее, чтобы Травин учинил над ней свой суд и дал бы мне тем самым вольную на всю жизнь.

«Завтра», — сказала я себе. И кого из них он убьет — мне все равно. Но он расправится с ними — и этому причиной буду я, я, которую никто не слушает и никто не замечает, я — безымянная, безталанная я. Вот он сидит, этот трезвый, крепкий человек, этот «купец», который не потерпит, чтобы его кто-нибудь мог обсчитать или обмануть, вот он, с тяжелой жизненной хваткой, для которого смешны все наши «можно» и «нельзя», который, не задумываясь, наступая всю жизнь на других, выбился, и теперь ничего своего не уступит. Завтра он все узнает.

Но как? Как донести ему — это надо было обдумать.

В последние недели он почему-то стал избегать меня. Он два раза уезжал куда-то, и я об этом узнавала в самый день его отъезда, от Доры. Написать ему письмо? Но подписать его значит то же, что сказать, а

послать неподписанным — не поверит. Прошло время, когда люди верили подметным письмам. Сперва от них гибли, потом они портили настроение. Теперь над ними смеются. Позвонить ему по телефону в контору? Он узнает мой голос и выйдет тот же разговор, только огрубленный, упрощенный... Но надо как можно скорее положить на место взятый мною револьвер, и надо подождать завтрашнего утра.

Так я думала, вернее, не думала, а лишь мгновениями ловила какие-то мысли в то время, как голос Марии Николаевны резал мне сердце, а глаза мои устремлялись туда, где откинувшись, неподвижно, с долей важности, появившейся у него совсем недавно, сидел Павел Федорович.

— Довольно, я устала, — сказала Мария Николаевна.

Но никому еще не хотелось уходить. Молодой, румяный пианист бойко сыграл два этюда Шопена, Ляля Дисман грубоватым контральто спела несколько романсов, которые Мария Николаевна называла «подозрительными».

Я ушла к себе, осторожно отнесла в кабинет револьвер, потом помогла Доре убрать в столовой. Было 12 часов ночи. Гости разошлись в первом часу.

На следующее утро я проснулась от громкого разговора: Павел Федорович торопил Дору с кофе. Павел Федорович уезжал в Лондон, по делам. Чемодан его уже был в передней. Надолго? Дней на 10. Мария Николаевна едва заколов свои косы, была тут же. Они простились, он подал мне руку...

— Посмотрите на себя, Сонечка, — говорила Мария Николаевна, — вы становитесь прямо прозрачной. Надо нам с вами жизнь переменить, а то жизнь наша пропадает. Вчера я пела в накуренной комнате — дрянь я после этого! Вина пить нельзя, уплетать с аппетитом всякие вредные вещи...

Она макала в кофе сухарь, сидя напротив меня.

— И капризничать нельзя, и многого еще нельзя делать, грустить, например. А я иногда грущу. Вы удивляетесь? У меня сегодня, Сонечка, был нехороший сон, будто у меня все лицо волосами заростало; началось со лба; глаза, нос, щеки — и быстро так. Я проснулась от своего крика.

Она болтала долго, я почти не отвечала ей. Отъезд Павла Федоровича сбил меня с толку. Потом пришла Ляля Дисман — она вчера забыла у Травиных перчатки. Она осталась завтракать, рассказала два анекдота, из которых я одного не поняла, при чем Мария Николаевна покраснела и сказала:

— Пожалуйста, будь осторожнее: Сонечка у нас еще девочка.

В половине третьего Мария Николаевна услала меня в библиотеку, а оттуда — купить билеты в балет. Лил такой дождь, что зонтик мой вымок, пока я дошла до угла, и я решила взять таксомотор. Не прошло часу, поручения ее были исполнены. Когда я вышла из театра, слабое солнце пыталось пробиться сквозь сырой февральский воздух, бледная падала с неба радуга. Я пошла к остановке автобуса. Все, что я делала в тот день, я делала как-то автоматически, я не чувствовала себя, я ни о чем не думала, кроме того, что Павел Федорович уехал на 10 дней. Что из этого следует — я еще не знала.

Я сошла с автобуса у кондитерской на нашей площади. Радуга теперь струилась где-то высоко, где уже сквозила почти весенняя лазурь. Я обошла памятник. Перед кафе, где в этот час сидели Мария Николаевна и Бер, сверкала огромная, голубая лужа.

Они сидели там. Эти улицы, этот троттуар, эти стеклянные окна еще несколько дней тому назад не существовали для меня, а сейчас при виде их головокружительная слабость, какая-то необъяснимая боль находили на меня. Лучше было не смотреть на все это; я ждала два года, я подожду еще десять дней. Но я все

не отводила глаз, я стояла неподвижно, прижав к груди книги и зонтик; голубая лужа была формой похожа на дубовый лист... Голые деревья роняли в нее жемчужные, светлые капли... Под деревьями стояла мокрая, словно лаком покрытая скамейка. А на скамейке этой сидел Павел Федорович.

Меня удивило, что он здесь, когда утром он должен был выехать в Лондон, но еще больше удивило меня то, что он сидел не только без всяких признаков недавней своей сытой важности, а в странной для него совершенно несвойственной позе смертельной усталости. И я поняла, почему не сразу узнала его.

Я отошла за памятник и постояла немного. Когда я вышла из-за него, Травина уже не было. Не было его и на троттуаре, он непостижимо быстро ушел, и может быть, будь я в другом состоянии, я бы усомнилась в том, что я его вообще встретила. Но я так отчетливо видела все вокруг себя, и детскую колясочку, которую катила негритянка в зеленом платке, и пестрый газетный киоск, и радугу в небе, что у меня не было сомнения в том, что Павел Федорович только что сидел под этими деревьями и смотрел прямо в стеклянную дверь с надписью «Liqueurs de marques». Значит, он вернулся, и может быть уже дома. Но где его чемодан? Накормит ли его Дора, если он не завтракал? Вот, наконец, настало время все ему сказать, остаться с ним вдвоем, лицом к лицу. Вернуть его на эту площадь в минуту, когда т е будут расходиться.

Я бежала домой, чувствуя, что мне надо торопиться, что жизнь где-то со мной рядом, обгоняет меня, что сейчас найдут облака, начнет смеркаться, и там, на площади, зажгут фонари, как напоминание о том, что им опять пора расстаться. Я тяжело хлопнула входной дверью: медленно, бесшумно вознесся лифт. У меня был ключ. Я отперла дверь и увидела, что пальто и шляпа Травина висят в передней.

Я помню, как я провела рукой по рукаву пальто —

оно было совершенно мокрое. Я вошла в гостиную. Рояль остался незакрытым, белая сирень со вчерашнего дня порыжела и сникла. Я подошла к дверям кабинета. Там было тихо.

— Павел Федорович, — сказала я негромко.

Ответа не было.

— Павел Федорович, можно к вам? — и я стукнула два раза.

Я явственно сознавала в ту минуту, что не успею даже сесть в кожаное кресло, стоящее у стола, что тут же на пороге, скажу ему все, и если он плюнет мне в лицо, сдержусь и смолчу.

Но ответа из-за двери не было.

Тогда я приоткрыла ее.

Павел Федорович сидел у стола. В комнате чуть смеркалось. Он сидел, выдвинув средний ящик стола, склонившись над ним и что-то внимательно в нем разглядывал. Левая рука его висела между креслом и столом, правая лежала перед ним.

— Павел Федорович! — крикнула я.

Но он не двинулся.

Тогда я увидела, что он мертв, что в правой руке его, уроненной на стол, зажат револьвер.

Я закричала. Дора, за тремя дверьми, на кухне, не услышавшая выстрела, выбежала на мой крик. Она потерялась — не знаю, что больше испугало ее: труп Павла Федоровича, сидящий в кабинете, или мой долгий крик, который она никак не могла остановить, и который все продолжался. Когда я вспоминаю его, мне кажется, что он длился дня три. На самом деле, Дора догадалась мне плеснуть в лицо воды, и я стихла. А через 10 минут она уложила меня на диван в гостиной, где я и осталась — опять-таки не помню, сколько, вероятно, до прихода Марии Николаевны, хотя сейчас мне кажется, что пролежала я там долго, очень долго, как-то даже вовсе вне времени.

Эти полчаса теперь представляются мне самыми не-

переносимыми во всей моей жизни, и не только моей. Я думаю, что несмотря на весь ужас и страх существования, 9 человек из 10 никогда не знали того, что знала тогда я. Между «это случилось» и «это могло не случиться», между «это случилось» и «это не могло не случиться» дрожало и падало куда-то мое сердце. Я не могу ни вспомнить, ни объяснить того, что я тогда чувствовала (или думала — это было одно). О себе, о роке, о людях, о счастьи, еще о роке, и даже о той пуле, которая недавно еще была у меня под рукой, которой я метила в пространство, и которая нашла сама свое место, предназначенное ей.

— Будьте мне другом, Сонечка, — сказал надо мной голос, который я узнаю и через тысячу лет, и в полном беспамятстве. — Помогите мне.

И Мария Николаевна за обе руки подняла меня с дивана. В дверях стояли незнакомые люди.

Все изменилось, жизнь этих двух лет, волнение, слежка, все кончилось, и все, что совершилось, совершилось без меня, вне меня, как если бы я вовсе не существовала. Я возвращалась к тому, чем была вначале, с чувством неодолимой усталости в сердце, с сознанием полной своей ненужности. Мимо меня прошли люди и страсти — я видела их из своего угла, я рвалась к ним, чтобы кому-то что-то испортить, кому-то помочь, как-то заявить себя в этом движении, и я осталась обойденной, меня не взяли в игру, которая кончилась самоубийством Павла Федоровича. Он до меня знал обо всем, он без меня понял, как следует ему поступить, он не сквитался с Бером и Марией Николаевной, а уступил ей дорогу, для того, чтобы она продолжала жить, как ей хочется и быть счастливой, с кем хочется. Для того, чтобы она была свободна.

Я полюбила говорить сама с собой. От своих тогдашних монологов, я, может быть, пришла к этим запискам. Никто не слышал меня. Ночи — лунные, февральские ночи — я стояла у себя перед окном, не зажигая

света, не опуская штор. Улица серебрилась. Мне мерещился Петербург, мама, наш старый, длинный рояль, по бокам его — две наши кровати (в холодные месяцы мы жили в одной комнате), — две наши узкие кровати, покрытые белыми пикейными одеялами, с привязанными к шишкам иконками, которые я за столько лет так и не удосужилась разглядеть, как следует. Луна белила асфальт, чуть морозило. Мне мерещилось детство в N., скрипучая калитка двора, пес хозяев, которого я боялась, кухарка, ждавшая со мной вместе с уроков маму к обеду, бедность, и грусть, и сиротство нашей жизни. Парижская улица была тиха и пуста; луна и холод были за окном. Мне мерещилась жизнь, которая ходит рядом, трет и мелет людей, а меня не берет — сколько ей ни навязывайся.

За стеной не было Павла Федоровича. Мария Николаевна была одна, но люди, в последние месяцы не оставлявшие ее с ним наедине, и теперь продолжали окружать ее, днем и ночью. Они не звали ее, как раньше, куда-то ехать с ними, не требовали к обеду дорогих вин, не рассказывали про скачки, про биржу, про гастроли венской труппы. Они просто присутствовали: — Нерсесов и Дисман курили в гостиной, в спальне Ляля Дисман, сидя по турецки на кровати, пыталась что-то вышивать, кто-то в столовой заводил стенные часы; в кабинете Павла Федоровича сидел его помощник по делам, бывший адвокат и член Государственной Думы, и что-то считал на счетах. И Мария Николаевна не удивлялась этому. В день похорон она вернулась с ними со всеми с кладбища, на следующий день с утра опять все были в сборе. Я спросила ее: не тяготит ли ее постоянное присутствие людей в доме? Она сказала, что ей все равно, что она, вероятно, скоро уедет.

Адвокат, Нерсесов, Дисман, говорили между собой о том, что дела Павла Федоровича в последнее время сильно пошатнулись. Мария Николаевна это знала. Да, дела Павла Федоровича в последние недели были ху-

же, чем раньше, и Травина могла бы оплакать его с чистой совестью, сказав себе, что не она, но деньги повинны в его смерти. И однако, она прекрасно знала, что именно было причиной ее.

Она заговорила со мной спустя неделю после похорон. К этому времени кое-кто прекратил свои визиты к нам, и если бывали посторонние, то только к обеду или к завтраку. Ночью Мария Николаевна приходила ко мне в комнату, садилась на постель.

— Вы не спите, Сонечка?

— Нет, Мария Николаевна.

— Можно, я посижу с вами? Я люблю болтать с вами. Подвиньтесь немножко.

Я с бьющимся сердцем лежала и смотрела на нее. Свет из соседней комнаты падал ей на руки. Она сидела, завернувшись в теплый, белый халат, с толстой косой за плечами, в спадающих туфлях на довольно больших, смуглых ногах.

— Что мне делать, Сонечка? — говорила она тихо, сжимая руки и глядя на меня. — Вот и смерть задела меня, а я все не могу утерять ощущения какого-то постоянного своего счастья. Бог знает, откуда оно во мне, чем оно кончится?... Уж кажется в жизни много чего было — да я самой жизнью счастлива! Сама не знаю чем, тем, что дышу, пою, живу на свете. Вы осуждаете меня?

— Нет, Мария Николаевна.

— ...другие скажут, что это я убила его. Но что мне делать, когда я не чувствую вины за собой? А вы думаете, он осудил меня хоть когда-нибудь? В последнюю, в предпоследнюю, в какую-то минуту? Нет, знаю, что нет, и Бог это знает... Откуда такое у меня сознание правоты? Может быть, это у всех оно, да только другие по лицемерию скрывают?

Я хотела ей ответить. Долго думала и сказала:

— Есть такие люди. Великолепие в них какое-то. Рядом с ними страшновато немножко (ничего, Мария

Николаевна, вы всерьез не принимайте). Изменить, искалечить их редко что может (это если предположить, что мы все остальные калеки)... Я не могу выразить: счастливый человек, он как то надо всем живет (ну и давит слегка, конечно). И этого ему и прощать не надо, это у него, как здоровье, как красота.

Она подумала и ответила, улыбаясь:

— А вы все-таки, Сонечка, простите.

И мы обе замолчали. О, как недосягаема она опять становилась для меня этой улыбкой!

И вот наступил день нашего расставания: было лето, окна были открыты настежь, квартира была сдана, мебель перевезли на склад; Мария Николаевна уезжала в Америку с Бером, подписав контракт на два года.

Ничто не напоминало больше жизни при Павле Федоровиче. Мария Николаевна постепенно развязалась со всеми своими прежними знакомыми, бросила дела Павла Федоровича на произвол судьбы, бросила приемы, выезды, денежные рассчеты. Она надеялась теперь только на себя, и от этой самостоятельности еще больше окрепла и помолодела; в ней появилась прелесть, какая бывает в независимых женщинах, на которых «общество» махнуло рукой и которые на это отвечают «обществу» полным равнодушием. Она много работала в последнее время и со мной, и с Бером. Я теперь хорошо знала этого человека. Он перестал быть для меня загадкой.

Он весь был в будущем, и не потому, что перед ним была какая-то «карьера», или он был одарен каким-нибудь талантом. Ему едва исполнилось в то время 30 лет. То был человек молчаливый, горячий и очень нервный, понимавший даже случайного собеседника с полуслова и легко угадывавший мысли близкого человека. Эта какая-то сверхъестественная чуткость заменяла ему все остальные свойства: в музыке — музыкальность, в жизни — практическую хватку. Он ничего не «обещал», но глядя на него, думая о нем, казалось

(и не мне одной), что ему предстоит быть может судьба не вполне обыкновенная.

Теперь он становился постепенно аккомпаниатором, а за одно импрессарио Травиной. И он должен был в скором времени стать ее мужем. Как это очень редко бывает, в этой любви сквозила какая-то глубокая, верная правда, где не было места ни их ревности, ни нашим сомнениям. Мария Николаевна его любила... Впрочем, мне казалось порой, что она и без любви была бы счастлива — ей право, не нужен был никто. Но его она любила.

Они уезжали, а я — я переселялась в отель. Я искала работы. Мария Николаевна дала мне обещание не забывать меня; она оставила мне деньги, она кое-кого попросила за меня. И крепко меня обняв, она сказала, что если я хочу обратно, в Питер, она и это устроит.

Нет, обратно к маме я не хотела.

И вот она уехала; и глядя на нее в последние минуты, мне казалось, что едет она не в деловую и, в общем, будничную Америку за работой, успехом и заработком, а в какую-то не совсем реальную, и, конечно, счастливую страну, куда путь другим людям заказан, и где ее ждут давно, и уже любят ее, как и она всех любит.

Бер, когда-то принявший меня за прислугу и давший мне 2 франка на-чай, мало замечал меня и был при прощании со мной холоден. Я тоже испытывала к нему некоторую неприязнь. Нам с ним вдвоем было тесно подле Марии Николаевны, и я уступила ему дорогу, потому что другого мне ничего не оставалось. Мария Николаевна долго и пристально смотрела на меня. Может быть, прощаясь со мной, она впервые задумалась надо мною, над моей жизнью, над моей любовью к ней.

Я осталась на перроне разбитая, обессиленная ушедшим прошлым, без настоящего, с пустым, темным будущим. Я приехала домой в пустую квартиру, взяла свой (еще русский) сундук, связку книг и нот, и по-

просила швейцара сходить за извозчиком. Тогда в Париже извозчики были дешевы: я вдруг стала озабоченной и рассчетливой — и в сундуке аккуратно разложила свои тряпки. Его поставили мне в ноги, книги я положила рядом с собой. Я ехала по городу и думала, что это не может быть, что это не тот Париж, другой, что мне снится сон, что невероятно, чтобы я была одна на свете, одна, без человека, без мечты, без чего-то, с чем только и можно жить среди вас, люди, звери, вещи...

Теперь прошло три года с тех пор, как я думала так, и за это время мне много раз хотелось то зарыться кротом в землю, чтобы ничего не видеть и не слышать, то голосить о том, что в мире не так, не по правому все устроено... Мария Николаевна еще в Америке.

Она замужем за Андреем Григорьевичем и в Европу не собирается, — она поет в Филадельфии, раз в 2 года ездит в турнэ, и ее особенно любят в Калифорнии. Она присылает мне письма, газетные вырезки о себе, иногда деньги. Деньги мне очень нужны: зарабатываю я мало, — я играю на рояле в маленьком кинематографе, на одной из улиц, выходящих к Порт-Майо. Оркестр наш состоит из трех человек: я, скрипач, он же дирижер, и виолончелист, перед которым, кроме виолончели, стоит также и барабан с тарелками. Это место, как ни странно, нашел мне Нерсесов. Было это почти год спустя после отъезда Травиной. Вскоре после того Нерсесов умер.

Я уже служила около года в этом кино, когда из России внезапно в Париж приехал Митенька. Он разыскал меня, чтобы сообщить мне, что мама моя умерла, и передать мне ее (ничего нестоящие) бирюзовые сережки. Ей, кажется, было лет 60. Она простудилась, когда ездила куда-то за продуктами. Ах, там все продолжалась эта тяжелая и странная, полузабытая мною жизнь! Там люди жили не то, как муравьи, не то, как волки. По своему достойнее, чем жили мы здесь...

Митенька теперь был женат, жена его была беременна и почему-то ото всех пряталась. Митенька был все тот же — сопел, кряхтел и плохо мылся, но был он уже знаменит и из вундеркиндов вышел в заправские гении.

— А я в кино играю, — сказала я, потому что и мне захотелось ему рассказать о себе, не только его слушать.

Он склонил свою облысевшую голову и грустно посмотрел на меня.

— И не стыдно, — сказал он наконец, чрезвычайно гнусаво, — и не стыдно вам, Сонечка. Мы от вас столько ожидали!

Ей Богу, он путал меня с кем-то другим, — никогда никто от меня ничего не ожидал!

Потом он пригласил меня к себе, показать жене. Она вышла, смущаясь, держа руки на животе.

— Вот это Сонечка, — сказал он, — о которой я столько тебе рассказывал. (Ее лицо не выразило ничего). Это Антоновская, Софья...

Он растерялся, позабыв мое отчество, но отчества у меня никогда не было, и я не выручила его; впрочем, мне самой уже давно все это было безразлично.

И право, стоит ли обижаться на собственную мать за то, что тебя оплевали до рождения? Ведь бывало — и не раз — что именно из таких оплеванных выходили люди настоящие, гордые и добрые люди. Тут дело не в рождении, тут дело в чем-то другом. И пусть мне скажут, что не смеет всякая козявка посягать на мировое великолепие, я не перестану ждать и говорить себе: тебе нельзя умереть, тебе нельзя отдохнуть, еще ходит по земле один человек. Еще есть один долг, который, может быть, ты когда-нибудь взыщешь... если есть Бог.

И на этом кончаются мои записки. Но монолог мой, который никто не слышит, продолжается.

1934.

Облегчение участи

1.

Мамаша, маман, маменька жила на седьмом этаже громадного старого дома. Весь этаж отдавался по комнатам; в каждой комнате люди ели, спали, готовили и в общий корридор, по вечерам, выносили ведра с отбросами. Старинного устройства водяной лифт портился через день, свет не всегда горел на лестнице, не имевшей окон, чугунная дверь на улицу была слишком тяжела, и потому мамаша почти никогда не выходила: в лавку бегала соседка, в гости мамаша отправлялась либо в своем этаже, либо этажем ниже ,— дом был заселен русскими, и только в церковь — по большим праздникам — она спускалась, и потом долго поднималась, стуча зонтиком, дыша, чуть не плача. А когда ей говорили знакомые, встреченные у свечного ящика: «Зашли бы как нибудь, Клавдия Ивановна, чайку попить», в мыслях был все лифт да лифт, темный заворот этажей, крутые, обшмыганные ступени. «Нашли тебе место, и сиди, — думалось ей, — а то еще уйдешь — не вернешься, застрянешь между этажами, или задохнешься пешком». Алеша-же находил, что квартирка у маман очень удачная, что чем выше жить, тем чище воздух. Когда он приходил, он настежь открывал окно, выходившее на глухое, круглое здание, похожее на

земной шар, — то был газовый завод. А за ним была видна бесконечная городская муть домов, крыш, окон, какая-то башня, которая то пропадала, то появлялась снова, то с флагом, то без, то с усеченной макушкой, то со статуей ангела на ней. «Какая вы счастливая, маман, — говорил Алеша, — что живете так покойно, не нервно», — и садился пить чай с пирогом, кренделем, вареньем, читать газеты, которые носил с собой, а иногда рассеянно уставлялся неподвижными глазами в трясущийся пробор, жидкие волосы, в сухие руки с кривыми пальцами. «Я даю вам полную возможность жить в свое удовольствие, — говорил он, — и сам живу в полное свое удовольствие. Достаточно мы в жизни промучились с вами, теперь — ассе, ассе, ассе. Вы имеете электрическое освещение, теплый клозет, солнце — и штору, если охота от него закрыться; у вас функционирует центральное отопление, и документ ваш в полном порядке. Все это, маман, называется комфортом, да, да! И мы с вами имеем его, потому что я — слава Богу!»

Она сидела за столом, кивала ему, улыбаясь и, не глядя вниз, вязала ему толстый, белый свитер на спицах, а перед ней на столе лежала картинка модного журнала, на которой был изображен молодой человек с динным, коричневым лицом, выпятивший молодецкую грудь в толстом, белом свитере. Она смотрела и вязала, что-то считая про себя, и выходило очень похоже; клубок белой шерсти шевелился у нее на коленях. А Алексей Георгиевич открывал и закрывал окна, пробовал, действуют ли задвижки, зажигал и тушил свет, прыгал, не скрипит ли паркет, дергал — прочно ли висит занавеска.

— Вот лифт у нас вчера опять не ходил, — говорила она грустно, — что-то чинили; говорят, в подвале испортилось. Да так и не починили, бросили.

Но он мало слушал ее; он говорил сам, либо молчал, читал. Когда он рассказывал ей, то никогда ни

одним словом не упоминал про дела, которыми занимался, про людей, с которыми водился, а вспоминал вслух что-нибудь давнее, как со старым союзником, с которым уже нет настоящего, но зато есть прошлое, и какое прошлое! — долгое, боевое, обоим памятное навеки, обоими чтимое: ею — потому что ее Алеша был его героем, и им — по той же причине. Или он рассказывал ей о какой-нибудь покупке, о блюде, съеденном в ресторане, о чем-нибудь необыкновенном, виденном на улице. Но прошлое, их обоих сорокалетнее прошлое, было живее этого ничтожного, ничем не согретого настоящего.

— А помните, мамаша, когда мы на Сиверской жили, помните, еще у меня такой костюмчик синий был, в то лето, когда папаша уже не жил с нами, и кража была серебра, помните, какой я тогда был энергичный, полный мальчик? И мечтал дрессировать ежей, выступать в цирке?

Она, конечно, помнила.

— Сегодня иду, смотрю: дети в сквере кораблики пускают. Техника, мамаша, коснулась даже этих глупых затей. И расстроился я: почему это мне на роду написано было довольствоваться плоскодонками из древесной коры?

Он смотрел перед собой большими, голубыми глазами, вспоминая какой-то русский пруд, какие-то ветлы, свои голые коленки, свои собственные, толстые; подвернутые над коленками штаны. Когда это кончилось?

— Кончилось детство, мамаша, как-то вдруг. Со школой, что ли? Как пошел я с черным ранцем за плечами, как пошел, как пошел-пошел... Так прямо будто до сего дня и не останавливался. Все иду... На завтрак вы мне давали тридцать копеек, а я на двенадцать кушал, а восемнадцать откладывал. А потом, когда вы в Москву меня послали, помните, я на гостинице съэкономил страшные деньги. Дайте-ка карандаш.

Она кивала головой, крестилась, ловила пальцем слезу из старых глаз.

— А теперь, Алешенька, а теперь-то!

— Просто смешно, какие деньги съэкономил. Да, много чего было. А главное — ведь здесь все с начала пришлось начать. Здесь ведь уже не выедешь на томна сем, как у нас. Здесь совсем другое оказалось нужно. Но я родился европейцем, мне просто смешно было бы в России жить.

— Одним бы глазом увидеть!

— Мне часто говорят: Асташев, неужели вы русский? вы совсем наш.

Потом она прижимала к себе его рыхлое, вялое тело, его чистые руки с розовыми ладонями и нежными треугольными ногтями, гладила старыми руками его синий пиджак, его светлые волосы, всматривалась в круглое, моложавое лицо, всегда младенчески выбритое.

— Умница мой, — говорила она, — утешение мое.

Он целовал ее, еще раз смотрел на часы, и так как был девятый час, уходил.

— Куда идешь теперь? — спрашивала она, — не завел ли себе какую душеньку?

Он отвечал, аккуратно застегивая хорошо сшитое пальто:

— Мамаша, я не имею никакого права заводить себе душенек. Плодить нищих не в моем вкусе. Для здоровья иногда увлекаюсь, но жениться — минимум три года подожду.

— Ну, Господь тебя сохранит, — шептала она, так и не узнав, куда он шел. За все эти годы у нее ни разу не возникло подозрения.

Через полчаса он уже звонил у широкой полированной двери, где лестница была в коврах, а внизу у зеркала стояли пальмы.

— Это, верно, Алексей, — говорил женский голос за стеной, пока прислуга помогала ему раздеться.

— Да, это я, маменька, — отвечал он. — Здравствуйте.

— Здравствуй, хищник. Ну, кого нынче обглодал?

Он подходил здороваться. Обыкновенно бывал еще кто-нибудь, и Ксения Андреевна держалась с ним надменно-игриво.

— Вы слышали: «маменька»! — восклицала она, а крашеные рыжие волосы, низкий бюст, слои напудренной шеи безжалостно выдавали в ней что-то почти старушечье. — Ты старишь меня, бандит.

Это была вторая жена Алешина отца, его мачеха, одержавшая когда-то над Клавдией Ивановной большую жизненную победу.

Он расцветал здесь каким-то особенным, редким цветом, округло садился в кресло, сытно острил, сам хохотал густо и громко, масляно смотрел на Ксению Андреевну, на гостя или двух — чиновных, не бедных, которых маменька приголубливала. Несмотря на разницу лет, Алеша умел поддержать их особый разговор, где действовали все какие-то члены, председатели и вице-председатели, где обсуждались выборы в какой-то комитет, или совет комитета, или президиум совета. Евграф Евграфович намекал на возможность кандидатуры Юлия Федоровича в ревизионную комиссию. Один гость делал многозначительное лицо, другой гость считал перебаллотировку неминуемой, маменька ядовито и очень к месту интриговала в пользу адмирала Вязминитинова, передавшего кому-то какие-то благотворительные суммы.

Алексей Георгиевич внезапно требовал шампанского, рассказывал веселый анекдот, целовал ручки Ксении Андреевне, вел себя как избалованное сокровище, которому все позволено, потом становился почтительным, нежным, вынимал из кармана контромарку в легкомысленный театр, дарил ее всем вместе и откланивался.

Алексей Георгиевич прожил часть жизни с отцом, часть жизни с матерью, месяц там, неделю тут, зиму

там, лето тут. Ему было десять лет, когда отец его бросил семью, сошелся с женщиной, которая называла себя актрисой, и продолжал неаккуратно и скудно содержать Клавдию Ивановну с двумя детьми: им и сестрой Нютой, умершей через год от менингита. Он ходил в реальное; жили на Песках, в темной квартире с одним ходом, заставленной прежней, громоздкой, скучной мебелью. Из комнаты в комнату вели какие-то окошки, чтобы было светлее, и там у потолков плели паутину толстые пауки. Их никогда не снимали озабоченные чистотой крашеных полов и крахмалением занавесок мать и нянька. И иногда, по вечерам, окруженные собственной парчей и женским суеверием, пауки выбегали на середину потолков и там кидались друг на друга, сосали друг друга, и высосав, сохли, сморщивались и падали.

Возвращаясь из реального, Алеша сейчас же садился за стол в своей, заставленной шкапами и корзинами, комнате, где неделями не открывалась фортка, сидел так до вечера, писал сочинения, решал задачи, в истории и русском языке заглядывая на одну главу далее того, что требовалось, чтобы уже знать, о чем будет речь завтра. У него была над столом ореховая полочка, и там стояли латинские подстрочники, гектографированные решения теорием, книга «Образцовые сочинения для VI, VII и VIII классов», другая: «Самоучитель по физике», третья — «Билеты по географии и ответы на них». По каждому предмету требовался в классе один учебник, а у него их было несколько: были Сиповский, Саводник, Незеленов, Смирновский, были Краевич и Цингер, были Лебедев, Смирнов и Янчин, были Киселев и Давыдов, а по истории — Илловайский, Платонов, Виноградов, Белярминов, Елпатьевский и еще неизвестно кто, потому что первый лист был вырван. Все эти учебники Алексей Георгиевич приобретал путем мены: брал из узенького шкапа со шторками материнские книги: Пушкина, Лермонтова, Мамина-Сибиря-

ка и Шеллер-Михайлова, а иногда и переводные романы Золя, и выменивал их в реальном (там все уже знали его) на учебники, которые ученики всех классов сплавляли ему — не только свои, но и старших сестер и братьев.

Он был первым учеником, сидел под самой кафедрой, на первой скамейке, был очень долго меньше всех ростом, и так как его фамилия начиналась на А, то отовсюду его было видно, все начиналось с него — и парное шествие, и экзамен, и классная перекличка, и какое-нибудь приветствие говорил всегда он, и инспектору отвечал тоже он, и ответственность за чистую доску и мелки тоже почему-то нес он; и при всем том никто никогда не позавидовал ему.

По субботам Алеша из реального домой не возвращался, а ехал на четырнадцатом номере к Сенной. Отца его за год до этого за какие-то не совсем безобидные проделки исключили из сословия присяжных поверенных, и теперь он «ходил по делам». Квартира была совсем приличная, с золоченым фризом в приемной, бархатом, шкурами и даже лакеем — грязноватым, прыщеватым малым с сальными волосами и носом, как говорится, на лафете. Алеша уважал и отца, и лакея, и эту квартиру, и новую жену. Это была настоящая женщина, первая женщина, которую удалось ему видеть близко — одетую, полуодетую, раздетую, здоровую, больную. Это была настоящая женщина, имевшая какое-то необъяснимое отношение к отцовскому бумажнику, и вблизи нее всегда было тревожно, весело и не совсем ловко.

До утра понедельника он оставался здесь, и жизнь его в эти два дня нисколько не походила на жизнь у Клавдии Ивановны. По субботам у мамаши номер два был журфикс — в гостиной пили чай, острили и сплетничали гости. И он, отложив уроки на после, на ночь, сидел, выпучив глаза, в каком-нибудь кресле, не имея сил уйти, мысленно стягивая с женщин их шелковые

в подборах и воланах платья, мысленно заползая в мужчин, глотая вместе с эклерами, песочными, лодочками, буше, все слова и словечки, сыплющиеся, как горох, как дробь, как бисер.

Вечером обедали втроем: папаша, лысый, с длинными, в стороны стоящими усами, красногубый, бровастый, похожий на обложку цыганского романса тех времен; мамаша Ксения Андреевна, в сквозном капоте, с падающими на плечи рукавами, и он. Иногда после обеда отец с женой уезжали в театр; он слонялся по квартире долго, рассматривал содержимое ящиков — запертых и незапертых, — потом садился за уроки. Иногда в театр брали и его — в оперетку, в фарс, к Суворину. Однажды, в воскресенье днем, его повезли на «Ревизора» в Александринский, и он чрезвычайно заинтересовался «Ревизором», потому что в классе недавно шла о Гоголе речь.

Но обыкновенно, в воскресенье, он вставал поздно, читал за чаем газеты, от доски до доски, как роман, от нововременских покойников до сентиментальных объявлений. После завтрака Ксения Андреевна брала его гулять. Они шли улицами, Невским, Садовой, шли в Летний сад, где встречали знакомых. Ах, Боже мой! Чей это юноша? Это — мой сын, говорила она, неправда ли странно, что у меня такой взрослый сын? Озадаченный знакомый молча улыбался. Разве он не похож на меня? И когда все выяснялось, много бывало смеху, уловок с ее стороны, и много плоских острот с другой.

Засыпая ночью, Алексей Георгиевич слышал, как отец его ссорится с Ксенией Андреевной, как что-то разбивается — кувшин или флакон, как падает стул, как шопот и крик их становятся все непринужденнее, все самозабвеннее. Утром он уже никого не видел. Лакей подавал ему стакан чаю, он съедал булку и шел быстрой, катящейся своей походкой на остановку трамвая. Зимой горели на улицах огни в снегу и тумане и,

рассекая мрак, вагон катил, дребезжа звоночком, а Алеша сидел и смотрел на подпоясанных баб, на женщин, на закутанных в лисы и соболи дам, и находил, что в них во всех почти есть для него что-то соблазнительное.

В понедельник из реального он возвращался домой. Клавдия Ивановна прилипала к его шинели, выходила из кухни нянька, и они обе принимались его пытать: что он кушал, и не заголодался ли, и не озяб ли, и не обидел ли его кто-нибудь? Он отстранял их, на ходу говорил: «Да все то же, как не надоест, право. Ксения Андреевна себе новую шубу заказала, с хвостами. Папаша, кажется, лошадей собирается заводить».

Воткнув этот гвоздь в материнское сердце, он шел решать задачи, угнездив круглый подбородок (на котором очень долго ничего не росло) в мягкую ладонь. И всю неделю шло это учение, это старание, этот пот, пока опять не подступал конец недели, как неожиданный, беззаконный завиток на скучном, казенном строении.

Голубоглазый, тихий, сочетавший, когда нужно, поспешность (подать, принести) и положительность, с белым, серьезным лицом, он был поведения отличного, ни с кем особенно не сближался, не играл ни в перья, ни в карты и денег взаймы не давал. Он рос, и постепенно выяснялось, что кроме своих учебников он не читал ничего, но зато знал, что требовалось, наизусть; когда ему сделалось шестнадцать лет, он услышал вокруг разговор о женщинах — разговор был очень деловой и сухой, будто дело шло о выборе факультета или обязательном говении великим постом. Это было в одну из суббот. Вечером он был у отца, уже обдумав план действий, и поздно ночью, когда все спали, натянул штаны и босой пошел к кухарке, еще молодой, красивой, вороватой женщине, а через полчала уже был у себя — за это время не разжав рта, не произнеся

ни одного слова, так что кухарка в конце концов сказала ему: «Да что же это вы, Алешенька, все молчите? Какой строгий, хоть и маленький».

В двадцать лет он потерял отца, а Ксения Андреевна в это время была в Кисловодске, водилась с генералами, с подпоручиками, носила белые кружевные юбки, сочинила и издала патриотический роман. Алеша оставался в Петербурге с Клавдией Ивановной, служил в советском учреждении, голодал, в униженных мыслях лелеял какие-то гордые, бонапартовы планы, не умея даже дать им названия, и в эти-то годы и родилась в нем эта звериная ненависть к власти, к народу, к стране. Принц крови, столбовой дворянин не могли бы с такой слюной и дрожью мыслить о происшедшем, как делал это он.

Все было ему ненавистно: громадное пространство, которое уже одно должно было привести к гибели, потому что невозможно сдержать до бездорожных границ в полицейском порядке лущащий семячки, сморкающийся в руку народ; беспорядок в истории, вплоть до послепетровского престолонаследия, который он воспринимал, как чью-то непростительную глупость, которую теперь приходилось ему расхлебывать; ненавистен был весь девятнадцатый век, казавшийся апокалипсическим знамением, и каждое десятилетие которого говорило о будущем проклятым языком пророчеств; он любил вспоминать о четырех последних проигранных войнах; о лохматых, нечесанных «передовых», пополам с охранниками заседавших и вместе с охранниками бросавших свои бомбы.

Когда границы раскрылись в 1925 году, и он оказался в Париже, то называл Россию — совдепией, большевиков — товарищами, Ленина — немецким агентом, верил, что сам чудом избежал расстрела, говорил, что четырнадцатилетние рожают там на государственный счет от неизвестных отцов, а мужики едят человечину. Потом это прошло, о России он забыл. Началась новая

жизнь на новом месте. И вначале была такая схватка с ней, что его едва не зашибло на смерть.

Они жили за городом, в холодной комнате вдвоем. Клавдия Ивановна ходила стирать поденно. Он смотрел, как из не старой, грузной, еще крепкой женщины, она превращается в старуху, мучимую грыжей, с кровоточащими мозолями на отстиранных пальцах. Он бегал по городу. Что он умел? Что мог делать? Служить в конторе, мыть посуду в ресторанах, быть рассыльным в русской кондитерской, ходить предлагать по квартирам пылесосы? Он все это и делал, коченея, недоедая, дрожа над каждой заработанной копейкой. Если бы он мог украсть так, чтобы никто никогда об этом не узнал, он украл бы, но он не знал, как и где делаются темные дела.

Даже в этой нищенской раскачке, между одним грошевым днем и другим, его тянуло в одну определенную сторону, и он успевал выбирать, всему предпочитая комиссионные дела, долгую, бесплодную беготню по лестницам и дворам — сидению на месте. Ему говорили: найдите человека, который хотел бы приобрести пианино (или швейную машинку, или радиоаппарат, а не то — велосипед, энциклопедический словарь, усовершенствованную половую щетку). Он искал — и не находил, чувствовал подошвами каменный, сырой холод мостовой, сердцем — сотни ступенек, и все-таки все не отпускал смутной надежды, на этой именно мостовой, на этих лестницах увидеть свое благополучие. К концу третьей зимы, когда Клавдию Ивановну свезли в больницу и резали, он воспользовался тем, что она не увидит газет и дал объявление: Ксению Андреевну Асташеву просил откликнуться сын. В контору газеты пришло письмо. Ксения Андреевна давала ему свой адрес, просила немедленно приехать к ней и удивлялась, как это до сих пор ни Надежда Петровна, ни Василий Васильевич, ни Женя Соколова, ни Сипа-

тьевы не сказали ему, что она в Париже. Он никогда не знал этих людей.

Она все поняла в ту минуту, когда он вошел, и хотя сама она изменилась не мало (было сорок, стало пятьдесят), но он изменился еще больше нее: появилась в лице какая-то темная одутловатость, примятость, голос стал громче, словно Алеша был от чего-то в постоянном возмущении; быстрым и тусклым сделался взгляд, и рот расползся по лицу, бледный и влажный. Он не знал еще, можно ли ей сказать, или надо, заложив большой палец за пройму жилета, дымя папиросой, которую она ему протягивает, занестись в рассказе, с храпом и пеной, по таким дорогам, которые и не снились.

— Ну, симпатичный блондин, — сказала она низким голосом, жилистой рукой теребя у шеи цепочку, знакомую ему с детства, — рассказывай. И дурака не валяй.

Комната была не ее, она снимала ее меблированную, но комната была дорогая, с красными шелковыми шторами, с роялем (не нужен ли ей пылесос? нет, наверное не нужен). На столе стояли три бутылки — угощение, которым она собиралась его подчивать, а ему хотелось телячей отбивной, горячей ветчины, говядины, говядины, жареной или вареной.

— Пропал я здесь, — сказал он, положил незажженную папиросу обратно на стол, посмотрел вниз себе на руки, на обкусанные пальцы. — Не придумаете ли чего, маман?

Она заставила его выпить стаканчик бенедиктина, от чего у него тепло и сахарно помутилось в мыслях. Закинув большую, нарядную ногу на ногу, показывая шелковое колено, под короткой, узкой юбкой, она сидела перед ним — не молодая, не старая, крашенная, жилистая, самоуверенная, курила, не улыбаясь, — улыбаться было нечему.

— Я тебе дам шанс, — сказала она басом, глядя

на него проницательно. — Слушай внимательно, первый ученик. Подожди, я принесу тебе закусить. Там от завтрака осталось.

Она вышла. Ее духи остались в воздухе, крепкие, тяжелые. Он огляделся. Кто она? Что она? Вот утро наступает, она встает, что делать? Куда идет? Чем за все платит?

Она вернулась. Ростбиф с горчицей и хлебом. Он съел. Выпил еще ликеру. Горчица и бенедиктин. Ему понравилось; когда-нибудь надо будет повторить, когда у него будет и на то, и на другое.

— Слушай. Прежде всего — обо мне. У меня есть француз. Царство небесное Георгию Ивановичу, — она плотно перекрестилась, — такого второго в мире нет: талант, темперамент, наша старая гвардия, рысак-человек. Да что тебе говорить об этом, ты — сын. Помни одно: был необыкновенный мужчина. Но этот подвернулся — сказка, роман! — в поезде. Зацепило его, как леща на крючок. Четвертый год содержит. Интеллигентный до высшей степени, великолепных кровей, музыкант. В государственных делах — дока, но сейчас в отставке. Одно плохо: за семьдесят.

— Ах ты Боже мой! — вздохнул он сочувственно.

— Что-ж ты ахаешь? Подумаешь! Для хорошо сохранившегося мужчины совсем не много. Ведь и мне не шестнадцать. Но все-таки опасно. Этой осенью от сердца едва не умер. А есть семья, жена, дети, есть еще любовница, с которой тридцать лет связан, есть еще актриска одна, стерва страшная, живет с министрами — ему нужна для дел, он у нее встречается с полезными людьми. Словом, я даю тебе шанс. Вместо того, чтобы ходить уговаривать людей обзавестись ненужными предметами — застрахуй его в мою пользу.

— Как вы сказали? — не понял он, но по ее лицу догадался, что она подошла к самому важному.

— Ты пьян? От одной рюмки? Я говорю: пойди, сделайся агентом по страхованию от смерти, то-есть не от

смерти, а на случай смерти. Ты встретишься с ним у меня, подружишься. Только при нем уже не «маман», а очень что-нибудь отдаленное, «ма кузин», например, причем с мужней стороны, на двадцатой воде... на киселе... Он спросит тебя: чем же вы занимаетесь, молодой человек? Ты увидишь, он настоящий барин, утонченный, до высшей степени культурный, прямо академик в разговоре. Ты расскажешь ему случаи из практики, объяснишь, что такое оставить нищими близких. Смертью не пугай, этого никто не любит, но намекни о пятом акте, о занавесе, который падает неожиданно и навсегда.

Он засмеялся тонко, уже совсем пьяно, привычки не было пить. Ах, маман, какая вы! Какая добрая, милая, умная! Я поцелую вас, я непременно поцелую вас! Вы мне всегда совершенством казались. Я даже когда-то волновался от ваших пеньюаров. Дайте хоть ручку, если не хотите иначе, как мать сына.

— Дурак, — сказала она, невольно польщенная.

И вдруг он протрезвел, подобрался, прокашлянул.

— А что, если не выйдет? То-есть я хотел спросить: а что если выйдет?

— Получишь процент. Если доведешь до полмиллиона — это большие деньги будут.

— Да ведь наверное это обойдется ему в целый капитал, если он так не молод.

— Обойдется. Но он богат.

Алеша помолчал, потрогал стаканы, облизнул сладкий палец.

— А потом что?

— Нужно иметь первые пять тысяч франков, — сказала она просто, и сама выпила, полуприкрыв глаза.

Он посмотрел на нее и вдруг опять засмеялся, но уже по другому — влажным, мечтательным смехом.

— А ведь хорошо бы было, маменька, дорогая, — забормотал он, и что-то счастливое засветилось у него в лице. — Ах, как хорошо бы было! Неужели это воз-

можно? И таким честным, таким добрым путем? Я, вы знаете, маменька, я ведь люблю честное, я совсем не подлец какой-нибудь; никого не мог бы убить, например, и даже ограбить не мог бы. В жизни своей ничьей жены не соблазнил, клянусь, предпочитал всегда свободных женщин, и за мной, если вспомнить, настоящих грехов никаких и нет. За что я страдаю так? — застыл он, выжидая, пока слезы уйдут под веки, — Боже мой, за что? Характер у меня не плохой, я чистоплотен, вежлив, а если я не читаю там стихов каких-нибудь, или в концерты не хожу — так ведь это же не преступление.

Она слушала его бормотание. В комнате смеркалось. Шелковые куклы на диване никли длинными носами в фестоны пестрых своих платьев. Потом она встала, зажгла свет, напудрилась, надела высокую, странную шляпу и увела его с собой в магазины. И ей было приятно, что он молод, недурен собой, чем-то по прошлому так близок, и что они вместе сделают это дело, которое ей не дает покоя вот уже год.

Когда теперь он вспоминал — очень редко — об этом старике, которому оказалось шестьдесят девять лет (он узнал его точный возраст, когда, по всем правилам страхового искусства, явился к нему уже с врачем для осмотра, для подписания полиса и первого взноса), — когда он вспоминал теперь об этом очаровательном, сребровласом, хрупком старике, который подарил ему, когда все было кончено, записную книжечку, в которую сбоку был воткнут карандашик, а потом, очень скоро, умер, ему казалось, что это было так давно, на пороге детства и зрелости. О, каким он был стыдным щенком, когда нищенствовал, и падал, и давал объявление, и вез Клавдию Ивановну из больницы домой, опять в нетопленную комнату, опять на поденную работу! Но вспоминал он об этом очень редко, и постепенно даже все это — встреча с Ксенией Андреевной, новые рубашки, «ма кузин», вечерние шах-

маты с мосье Робером, перелистывание нот на пюпитре, когда он уютно и нежно разбирал Шумана, все это так согнулось и скривилось в памяти, что становилось противно и смешно вызывать его из мыслей, где оно дремало. Жизнь шла теперь такая другая, такая бойкая, гладкая, жил он так свободно, так уверенно, позволял себе такие встречи и настолько был сам себе хозяином, что иногда свистал какой-нибудь модный фокстротт на всю чисто убранную, удобную, холостую квартиру.

2.

Утро было свежее, яркое; уже два раза успело выблеснуть солнце, и два раза обрушивался дождь, лакируя мостовую. Небо было лазурно и черно, ветер по животному раздражал ноздри, когда Алексей Георгиевич вышел в котелке, с зонтиком и портфелем, пошел по троттуару и свернул к остановке автобуса. Лицо его блестело, только что вымытое, в глазах была ясность и синева — во всей его внешности было что-то, что соответствовало этому утру, этому часу, воздуху, погоде, — что-то здоровое, крепкое, напряженное и беспокойное.

Он еще не совсем привык к своему новому кварталу, куда переселился с месяц тому назад. Местожительства свои Алексей Георгиевич менял довольно часто, уезжал, не оставляя адреса. Это обычно совпадало с концом какого-нибудь романа. «Красиво оборвать», «не взять последнего аккорда», — так называл он ликвидацию своих отношений с женщинами. Думая в последнее время чаще по-французски, нежели по-русски, он и по-французски уже знал всевозможные подходящие этому выражения. Они в то же время гораздо лучше вязались с самим существом его романов, так как предметы романов были все больше француженки — русских женщин Алексей Георгиевич не любил.

Дыхание его было смесью крепкого кофе и одоля.

Он никогда не курил. В голове был адрес одного крупного делового человека, домашний адрес — по конторам Асташев старался не ходить. Алексей Георгиевич спешил, чтобы застать клиента дома. Мысли шли в привычном направлении. Ранним утром он бывал весь внимание. Предстоял трудовой день.

В киоске он купил газету — французскую предпочитал русской, и правую — левой.

В автобусе была недурненькая, и он долго смотрел. Он был любопытен до женщин, любил наблюдать за незнакомыми: как пудрятся, о чем говорят, как поправляют волосы, как скрещивают ноги. Он вышел в пустынной, широкой улице, где в этот час гуляли одни собаки, да переговаривались друг с другом пасущие собак горничные. Голубая, вся в локонах, овчарка, с пробритой спиной, уступила ему дорогу.

Он шел вдоль садов. Ветер во всю шуршал листопадом. Чорт возьми, какой сад, какой домина! Белый особняк, черная дверь, — и уже ничего не слышно, потому что ступаешь по такому мягкому, теплому, песочному, такому толстому и ворсистому, что кажется — оставляешь следы, как в бархатной пыли.

В одном узком зеркале отразилось другое, и там, в том другом, он увидел край накрытого стола, парок над чашкой, и чей-то локоть, и еще дверь, и уже не знал, куда идти: в ту ли, через зеркала, или в эту, ближайшую, куда его приглашала рука пожилого, бритого человека в лакейской куртке, с пенснэ на черном шнуре.

— Доложите: Асташев, — сказал Алексей Георгиевич, не меняя выражения своего румяного лица. У него была фамилия, и он никогда не пытался объяснять в прихожей, что она значит, зачем он пришел.

Кабинет был белый, как больничная палата, с белой кожаной мебелью такой глубины, что диван и кресла только и ждали, как бы затянуть в свою топь присевшего человека. В эту белизну ковра, кресел, телефона,

стеклянного письменного стола, из белой двери вошел человек громадного роста, крепкого сложения, с мертвой скукой в лице. Он посмотрел на Алексея Георгиевича, дернул головой в сторону и оперся о стол двумя кулаками, приготовясь слушать.

— Задержу вас не более пяти минут, ни секундой более, — сказал Асташев увесисто, серьезно, словно хотел в первом же слове выразить, как он молод и как солиден, а голубые глаза чистотой и прозрачностью говорили о честности, о непосредственности, о православном крещении, о том, что еще немного, и природа превратит их в глаза девушки, монастырки, беззаветно уступившей судьбе. — Я позволю себе сообщить вам важную новость.

— Сколько мне это будет стоить? — хрипло и равнодушно спросил деловой человек, еще не понимая, кто перед ним, и держа в равновесии тяжелый корпус на расставленных ногах.

— Ни копейки, если вы не пожелаете ею воспользоваться. Я пришел сказать вещь, которая покажется вам ужасным трюизмом. Мы все смертны. Меня к вам направил Федор Григорьевич.

— Никакого Федора Григорьевича не знаю, — сказал деловой человек, сделав непроницаемое лицо.

— Вот часы: я обещал, что задержу вас недолго. Они укажут мне время. Когда-нибудь они укажут нам время. Да, да не будем закрывать глаза: колокол ударит для всех.

Деловой человек опустил кулаки, толкнул ногой кресло и повалился в него.

— Чего же вы от меня хотите?

— Я пришел к вам, чтобы напомнить, — и Алексей Георгиевич тоже опустился, но с опаской, чтобы не потонуть. — Мы все живем в непростительном легкомыслии. Ведь когда-нибудь она придет. Посмотрю я тогда на вашу жену, на детей. Посмотрю я тогда на вас самих. Вы об этом думали?

Он приложился подбородком к полупустому, мягкому своему портфелю и посмотрел вдаль с мечтой.

— Мы даем вам возможность обеспечить семью — ничего не бояться. Довольно того, что в последнюю минуту придется и без того о многом подумать — душа там, или что, я конечно не верю, но многие верят. Страшно, все-таки, и всем одинаково. Мы даем возможность и близким предаться горю на все сто процентов, не заботясь о хлебе насущном в первые дни. Ах, эти первые дни!... Мы платим верно, легко, весело, мы платим быстрее, чем платит Банк де Франс, пока вы лежите, пока покойник еще лежит на столе. И вам прямой рассчет застраховаться на случай смерти, которая все равно придет.

— А, вот вы кто, — протянул деловой человек и провел рукой, холеной и бледной, по темному, жесткому лицу.

Алексей Георгиевич продолжал, уже несколько спокойнее:

— Платить вы будете каждое первое число. Я советую вам застраховаться в миллион. Средние деньги. У каждого человека есть минуты, когда он думает о своем конце, простите, я говорю так откровенно, так просто об этом, но ведь мы — одни. Эти минуты страшны, потому что то, что нас ждет, неизбежно, понимаете, неизбежно, как то, что сегодня, по любой погоде, настанет вечер. Пусть вы будете телефонировать, продавать, покупать, спешить, или пусть вы сейчас вот заляжете спать на этом диване, он настанет. И о н а настанет тоже, и вот это все, — Асташев защипал белое, нежное мясо у себя на руке — это все кончится. И что тогда?

Перерыв — две секунды. Но толкнув дверь плотным боком, вошла та самая голубая овчарка; медленно, самоуверенно вскочила на диван, прошлась, оставляя мокрые следы на сафьяне, на ковре, на сафьяновой подушке. Деловой человек не видел ее и не двигался.

— Какой у вас прелестный песик... Разрешите узнать ваш возраст?

— Зачем вам? И вообще зачем...

— Неужели вы не догадались? Чем ближе к концу, тем крупнее взносы: больше шансов. В пятьдесят лет — одни возможности, в шестьдесят — другие. В семьдесят... Но вам не семьдесят, меня не обманешь! Одна подпись ваша и все будет сделано.

— Больше шансов для чего? — медленно бледнея, словно уставая на глазах и не имея сил прогнать, оборвать пришедшего, спросил деловой человек.

— Для того, чтобы превратиться в тяжелый, обременительный и скоро портящийся предмет, — быстро бросил в него Асташев. — Вы наверное сидите и думаете: зачем мне страховаться, когда есть дома, капиталы, процентные бумаги... Ах, позвольте по сему случаю рассказать вам не анекдот, а факт. Пришел я вот так тоже к одному большому ученому — не говорю «великому», потому что никогда никого не называю этим словом, это мой принцип. Ученый говорит: помилуйте, зачем мне страховаться, у меня десять томов научной работы, в каждом томе по тысяче страниц. Этого и на детей и на внуков хватит. И что же вы думаете? Не прошло двух лет, он умер, и пришел какой-то недоросль, в развязной брошюрке разоблачил старика, и теперь эти десять томов — Асташев неожиданно звонко свистнул, — и вдове нечего кушать, так-таки нечего.

Деловой человек внезапно выпрямился, посмотрел на собачьи следы, незаметно трудно вздохнул.

— Спасибо. Я подумаю, — сказал он так, будто и в самом деле собирался долго думать над услышанным. — Прощайте.

— Еще два слова, — вскричал Асташев, но уже приготовился сильными ногами выскочить из кресла. — Ни в коем случае не думайте, или думайте об этом как можно меньше. Ваша подпись — все. — Он вытряс

из портфеля лист голубого картона с разводами. — Вот здесь, в уголку. А то еще один певец (баритон известный, не могу назвать его — профессиональная тайна) думал-думал, да и умер. Разве мы можем знать, что с нами будет?

— Уходите. Довольно, — неподвижно глядя перед собой сказал деловой человек, и желтые белки его опухших глаз напомнили дешевую целулоидную детскую игрушку. — Тичер, ты наследил, пошел вон. Аут! Генерал, возьмите Тичера.

Вошел лакей в пенснэ на ленте и вывел овчарку. Деловой человек тяжко шевельнулся и начал выползать из креса. Алексей Георгиевич, как пружина, выскочил из своего.

— Будьте благоразумны, — сказал он опять чисто, честно и преданно. — Если мы не знаем, что будет с нами т а м, то мы вполне можем устроить свои дела з д е с ь.

— Оставьте меня, — произнес деловой человек совсем тихо, будто обращаясь к кому-то третьему, стоящему между ним и Асташевым, или даже к тому креслу, которое не отпускало его.

Наконец, он встал. Мертвая скука его лица омрачилась теперь еще чем-то, окаменелость темного овала казалась страшной.

— ...я оставлю вам свою карточку, — говорил Асташев, и опять его розовые пальцы пришли в движение, ловя что-то, скользившее из портфеля.

— Не нужно. Я очень занят. Генерал, проводите страхового агента.

Алексей Георгиевич, встрепенувшись, пошел к дверям, к другим, к лаковым, к стеклянным. Он был весь внимание. В голове его уже был новый адрес. Бушевали деревья в узких садах, вдоль которых он шел, играя зонтиком. Собак уже не было, горничных тоже. У автомобилей стояли на вытяжку шофферы, ожидая

господ, да два повара-китайца шли на рынок, звонко рассуждая по-китайски.

Мимо. Закрыть шлагбаум для мыслей приятых и развлекательных о том, что понесут повара с рынка: лангуста, куропатку, ананас. Он думал: есть ли у делового человека жена? Наверное глупая, привередливая баба, проигрывающая летом в казино, объедающаяся пирожными со сбитыми сливками. Есть ли у делового человека дочь? Эдакое скучающее, влюбчивое, метящее в иностранца создание (правильный подход!). Где бы найти их, где бы побеседовать? Может быть, у него есть сын? Да, конечно, у него есть сын, и адрес этого сына даже записан у Асташева в книжке. Фильмовое дело, кабинет весь в звездах, междузвездное верчение, кручение, где-то под самым небом, на Елисейских полях. Завтра пойти, уговорить, надавить. Намотать какие-то связи, оставить и там свой след Но это — завтра, на сегодня же назначены еще три визита.

Город, улицы, этот быстрый бег встречной жизни, он плавал в нем привычно и свободно, ему было в нем удобно, — гражданину, налогоплательщику... но не солдату! Подданства он не переменил, конечно. «Француз в душе», говорил он часто, но паспорт оставался тот же, никчемный, международный, впрочем, нисколько не мешавший ему. Он не желал связывать свою судьбу, свою милую, теплую, крепкую, единственную жизнь с целой страной, с государством, в котором не всегда бывало спокойно, в котором иногда тоже творились безобразия. И деньги свои он держал в американском банке, чтобы в какую-то бурную, тряскую минуту уехать, уплыть, улететь, и под всеми парусами продолжать свое счастливое, трудовое и, Боже мой, какое всетаки утлое существование.

— От Ивана Степановича Бессера, — произнес он с поклоном, входя в несвежую, но большую, всю заставленную дешевой стариной гостиную, и чувствуя особое удовольствие от пожатия мягкой, как будто

только что вымытой руки хозяина. — Простите, если помешал, но Иван Степанович непременно просил к вам зайти.

— Садитесь, садитесь, голубчик, — и небольшой, рыжеватый, толстенький хозяин, с выкаченными неумными глазами подвел его к столику, где неустойчиво дрожали цветы в вазе.

— Отниму у вас минимум времени и сообщу — увы! — то, что по долгу службы сообщать обязан: занавес рано или поздно упадет.

Хозяин ахнул и всплеснул руками.

— Ах, я понял. Не напоминайте. Это ужасно! Неужели же до сих пор не изобрели ничего против этого? Вот в Америке писали про какие-то пилюли... И это называется прогресс!

Алексей Георгиевич даже улыбнулся:

— Какие же пилюли, помилуйте. Все на свете, от букашки до гения, имеет конец. Разве пилюли чем-нибудь помогут?

— Тогда пускай нам скажут, что т а м! Ведь для чего-нибудь же служат все их академии, университеты, лаборатории всякие? Нет, нет, я не могу говорить об этом, не хочу, переменим тему. Я знаю, Иван Степанович застраховался в сто тысяч, и я тоже решил застраховаться в сто тысяч, и даже жену мою застраховать в сто тысяч (на двоих вы мне сделаете скидку?). Но будем все это обделывать незаметно, тихо, не будем думать о смысле наших актов. Я ночи спать не буду. Я боюсь.

Асташев опять улыбнулся и слегка поклонился в знак согласия.

— Мы и не говорим. Мы уже и забыли, о чем была речь. Если борьба невозможна, надо постараться принять меры, чтобы все прошло гладко, как можно незаметнее; чтобы была выплачена сумма...

— Ах, кстати, говорят, вы не всегда аккуратно выплачиваете?

— Аккуратнее Английского банка.

— Но с вами иногда судятся?

— Одни симулянты. Прошу вас даже в шутку этого не говорить.

— Ах, как интересно, значит бывают симулянты? А самоубийцам вы платите?

— За что же? — и Асташев сделал неприятное, обиженное лицо. — Одним невоздержанным движением человек зачеркивает назад всю свою жизнь, за что же его награждать? Он от этого получается человек небывший, химера. Мы — за нормальный конец. И потому мы можем платить только бывшим, существовавшим, но кончившимся.

— Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Я позову жену.

Он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и ласково сказал:

— Милая, выйди... Ничего, гость простит.

Вошла женщина, непричесанная, в капоте, с русским широким лицом и полной фигурой без корсета.

— Прошу вас, продолжайте.

Алексей Георгиевич, приноравливаясь к женскому пониманию, вкратце изложил дело, по которому пришел.

— Ну ясно, — сказала хозяйка, почесав в волосах. — В Америке давно все страхуются. Это мы здесь отстали.

Из портфеля выскользнули прямо в руки Асташева листы печатные, листы писанные, листы с пробелами, которые нужно было заполнить. Он быстро нашел в графе сумму, что-то подсчитал.

— Как это интересно, милая, — сказал хозяин, подписывая то тут, то там, — один из нас получит за другого.

— Ну естественно. Очень удобно.

Алексей Георгиевич то тут, то там промокал подписанное квадратом розового клякс-папира.

— И с какого же дня?

— С этой вот минуты.

— Ты слышишь, милая, как это интересно: мы уже застрахованы .

Она тоже подписалась, где было нужно, и Асташеву, несмотря на его отказы, сейчас же выписали чек. Он все уложил, зацепил перо о карман и начал прощаться. Его долго благодарили, уговаривали остаться завтракать и дали ему адрес семейного знакомого («Родного дяди Жени Соколовой, вы, наверное ее знаете?»): он давно изъявлял желание...

Уже в дверях Асташев спросил, когда можно будет прислать доктора.

— Ах, не надо, не надо, — вскричал хозяин со слезами в голосе, — он найдет всякие болезни... Правда, милая, не надо?

Но Асташев сказал, что без этого нельзя, и они согласились, и опять поблагодарили его, и попросили поблагодарить Ивана Степановича за его постоянную о них заботу.

Был час завтрака. В недорогом, чистом, каком-то казенном ресторане, где его хорошо знали, и где справа от него сидели всегда одни и те же, чрезвычайно много и вкусно евшие, южане, а слева тоненькая женщина с большим носом и ярким ртом, он завтракал каждый день и исключений не делал даже по воскресеньям. Он ел медленно, читал газету, подсчитывал на газете какие-то цифры, записывал что-то в книжку, соображал, иногда требовал адрес-календарь и мягко листал его среди тарелок. Вина он никогда не пил; ему подавалась бутылка минеральной воды. Два слова о погоде гарсону, бросок в сторону большеносой женщины (не похорошела ли со вчерашнего дня?), полупоклон соседям. Вареная рыба и жаркое, или жаркое и сладкое, кофе, торт. Три куска сахара в маленькую, белую чашку с трещиной. После завтрака он шел мыть руки, чистить ногти, гребешком чесал волосы и плоской щеткой, которую носил с собой, стряхивал с плеч

и груди перхоть и крошки. Потом он выходил, — в руках зонтик и портфель, в мыслях — новый путь, новый адрес. В этом городском конвейере, по трансмиссии, не имеющей ни начала, ни конца, ни перерыва, он едет, передвигается, движется, как спица, как гайка, и ему это так же естественно делать, как дереву расти на одном месте.

— Перметте.

Но его не впустили. Приоткрылась щель в двери, блеснул глаз; мужской голос сказал:

— Да, это я. А вы кто?

— Я уже заходил однажды, но не застал. Я...

— Щетки продаете? Швейные машинки?

Алексей Георгиевич постарался вдвинуться одним плечом.

— Облегчаю самое тяжелое. Страхую от смерти.

Дверь поддалась и сейчас же надавила на него, придавила так, что зонтик вошел, а портфель остался снаружи.

— Подите вон! — и тот, кто стоял в передней, брякнул в руке чем-то металлическим, это была связка ключей. — От жизни не страхуете?

— То-есть как это от жизни? — Асташев оторопел, где-то блеснула мысль: а вдруг и это возможно?

— К чорту! — крикнул человек, щемя его дверью все сильнее. — Плевать я хотел на нее. Не испугает! От жизни, от жизни, от адовой жизни ищу страхователя.

— Но позвольте, я совершенно не заслужил. Я должен сказать вам что-то очень важное.

— Что в ящик сыграем? Ну и пусть. Только этого и жду.

— Но жену, детей, — лепетал Алексей Георгиевич, стараясь высвободиться из щели, — оставите нищими...

— Жену, детей? — крикнул голос истерически. —

Старой дуре на молодого любовника, стервецам — для игры на скачках. Убирайтесь, не нужно.

— Со мной никто так...

— Вон! Вон! — и Асташев почувствовал, как что-то уперлось ему в грудь и толкнуло его, он понатужился, выскочил из двери, рванувшись вбок, и у самого его розового лица она хлопнула так, что дрогнул дом.

— С утра шляются, — визжал голос за дверью, — пылесосы, пишущие машинки!

Но Асташев только жирно плюнул, попав чуть выше замочной скважины. «Азия, — произнес он громко, — монголы», и не спеша спустился, раскрыл зонтик, потому что накрапывал дождь, и пошел, успокаиваясь, утишая кровь. И вдруг вспомнил: еще одно место, еще одно имя. Назначенное на сегодня рандеву. Самое занимательное из всего, что предстояло.

Но прежде, чем отправиться на это рандеву, к скульптору Энгелю, у которого он уже два раза был и каждый раз не мог закончить своего с ним разговора, он решил съездить в то страховое общество, от лица которого действовал, и где обычно бывал каждый день, под вечер.

Громадная зала, в которой сидело около двухсот служащих и в которой обычно толпилось не менее ста человек посетителей, была разгорожена решетками, в решетках были проделаны окошечки, над каждым окошечком был номер, была надпись. Асташев, пожав несколько рук, легонько хлопнув кого-то по спине и получив в свою очередь нежный удар по плечу, прошел к отверстию пятьдесят третьему, над которым было написано «смертные случаи». Впрочем, теперь, овладев французским языком в совершенстве, он уже знал что слово «смерть» вообще никогда не употреблялось сидящим в этом окошечке усатым, немолодым, в высоком воротничке служащим, но употреблялось слово «кончина», звучавшее гораздо приятнее для уха посетителя.

Проделав все, что полагается, с двумя сегодня полученными страховками, назначив докторский визит, получив необходимые бланки — дополнительные к голубым листам с разводами, и выслушав привычные слова о том, что он один из удачливейших ходоков во всем, сто лет существующем, обществе, он узнал между прочим, что вчера поступило известие о смерти одного клиента, застрахованного им лет восемь тому назад. Он обещал завтра же съездить к нему, велел барышне, сидевшей в глубине смертного окошечка, найти дело этого заказчика, и пока она выбирала из толстой папки один из первых полисов, меченных его рукой, он поговорил с соседним окошечком, с надписью «личные несчастные случаи».

В пять часов дня он был уже у Энгеля.

Мокрыми тряпками замотанные глиняные бабы, кусок каменного торса с расставленными ногами, только что отлитая из бронзы квадратная морда известного боксера, с усеченным затылком и заросшим бронзовым мясом громадным ухом, громоздились в прохладной, высокой мастерской, куда его ввел сам Энгель, маленький, сухой, в длинном белом балахоне, безбородый, безбровый, похожий на японца.

— Ждал вас, очень ждал, — говорил он, растягивая тонкие, зеленоватые губы и показывая рот, полный тяжелых, сплошных зубов, перевешивающих вперед все его слабое, хрупкое лицо. — Вы так удивительно объясняли в прошлый раз, зачем пришли, что мне захотелось опять вас послушать. Вы так странно говорили, будто вас прислали с того света для напоминания (вы ведь не со всеми же так говорите?). А я не мог тогда, у меня натура сидела, вот эта (он ткнул детской рукой в кусок каменного торса, и показалось невероятным, что такой великан приходил к нему и не задавил его). Я много думал обо всем этом потом, в первый раз пришлось мне так думать об этом. И я понял, что если остаться с моей уверенностью, что

т а м ничего нет, то жить невозможно. Вы курите?

— И не курю, и не философствую, — сказал Асташев, перебираясь с неустойчивого табурета, на который почему-то сел, на мягкий шерстяной диван, стоящий в углу мастерской. — В прошлый раз мы говорили с вами о двухстах тысячах. При вашей относительной молодости — прямой рассчет.

— Хорошо, — ответил Энгель, задумчиво и сильно потирая двумя пальцами свой узкий, желтый лоб. — Но не это главное. А вот то, что вы пришли ко мне с этими вашими разговорами о пятом акте, занавесе, финале, о том, что все имеет конец, со всеми этими сравнениями не Бог весть какого вкуса, вот что важно, и страшно важно для меня. Вы мне сделались необходимы. Мне показалось, что вы облегчите продумать до конца весь этот ужас.

— Польщен.

— Есть что-то в вас такое коробящее... Впрочем, потом о вас, сначала — обо мне, потому что, не спав много ночей подряд и вот уже две недели почти совсем не работая, я стал во всем сомневаться: мне начало казаться, что если есть з д е с ь, то есть и т а м, то-есть т а м не может не быть, если з д е с ь такое. Я поколебался в своей уверенности, и от этого мне стало немножко легче.

— Помилуйте, — вскричал Асташев и улыбнулся самой прямодушной из своих улыбок. — Что же т а м может быть? Ведь вам не шестнадцать лет, вы опытны, бывалы, наверное даже (не обижайтесь!) развратны. Какие же могут быть сомнения в том что т а м ничего нет? И что вы нашли з д е с ь такого, что бы ввело вас в заблуждение относительно т а м? Вкусная еда, молоденькие женщины, красоты природы, комфорт и обеспеченность жизни.

— Нет, что-то еще есть, — настойчиво сказал Энгель и внимательно посмотрел на Асташева.

— Ей Богу не вижу. И поверьте, что когда я говорю

«вкусная еда», то говорю об изредка съедаемых деликатессах, а вовсе не о том, чтобы наедаться каждый день до отвалу и болеть. А о женщинах: было время — краснели, потели, вздыхали (может быть, не лично я), но сейчас-то уже каждому ясно, что такое есть эта любовь. И сами женщины поняли. А если нет — тем хуже для них.

— Нет, это все не то. Я сам не знаю, но что то еще есть, кроме этого. Иначе быть не может.

— Искусство? Литература? Было и это. Читали до зари, увлекались политикой (я впрочем — никогда). И в этом кое-что теперь уразумели. Научились. Что же остается?

Энгель отошел к окну и там смотрел в сентябрьские сумерки.

— Но ведь так думая, как же жить? Как же умирать?

— Как жить? А вот вы послушайте: шел я сегодня утром к одному клиенту. Кобелек за сучкой на тротуаре ухаживал. И знаете, что я про себя воскликнул? Как просто счастье! — он засмеялся.

Энгель вернулся к дивану, замял окурок в блюдечко и медленно сказал:

— Но что делать тому, кто так не может?

— Стараться устроиться наиболее целесообразно. Принять меры. Лечиться, работать, жить, как все живут. Застраховаться. Государство зиждется на таких, как я и как вы, а не на мечтателях и неудачниках. Круговая порука трезвых людей облегчать себе жизнь и смерть.

— Нет, этого мало.

Асташев мельком посмотрел на часы под обшлагом, повертел в руках какую-то книжку и снова положил ее рядом с собой.

— Мое дело маленькое, — сказал он, как бы извиняясь. — Напоминать людям, что неизбежное придет

и что нужно заблаговременно обставить его наиболее выгодным и удобным способом.

Косые глаза Энгеля опять с какой-то грустной надеждой уставились в круглое, гладкое лицо Алексея Георгиевича. Оба помолчали.

— Я воображаю, — заговорил Энгель уже более равнодушно, — какой у вас опыт с людьми. Ведь наверное некоторым от вашего присутствия очень не по себе. Вы могли бы писать записки. Вы может быть их и пишете?

Асташев приосанился.

— У меня к литературе очень большие требования, — сказал он с достоинством, — если бы я стал писателем, то во всю копался бы в человеческой душе и сделался бы чем-нибудь средним между Толстым и Достоевским, но по-французски.

Опять оба помолчали. Наконец, Асташев, все время ловивший в мыслях прерванную нить, нашел слова, которые искал:

— Итак, позвольте подвести итоги: вы испуганы, вы смущены. Но вы не перестаете думать и о практической стороне дела. Я сегодня принес все нужные бумаги; так как вам нет сорока лет, то дело обойдется даже без медицинского осмотра, достаточно одного анализа, и если отсутствует сахар...

— Послушайте, — сказал Энгель с детским удивлением, — зачем мне страховаться? Я совершенно один, у меня нет ни жены, ни детей, ни племянников. Я живу, работаю, продаю, даю деньги тому, у кого их нет и кто меня об этом просит, ношу костюм четыре года и ем одну зелень. Я не буду страховаться.

Асташев вдруг резко встал.

— Позвольте, — сказал он звонко и злобно, — я прихожу к вам в третий раз, и сижу у вас, и объясняюсь с вами. Мое время стоит дорого. Зачем же вы просите меня приходить? Если вам не для кого страховаться, вы должны были мне сказать об этом

раньше. Вы делаете большую глупость: вы молоды, вы здоровы, вы можете застраховаться на дожитие.

— Не сердитесь на меня, пожалуйста, — сказал Энгель и повернулся спиной к Асташеву. — Я просил вас придти потому, что мне казалось, вы что-то знаете, вы вероятно сами не замечаете, около чего вы ходите. Скажите же мне только одно: как вы себе представляете, как это будет?

Асташев уже надевал пальто в передней.

— Как с зайцем на охоте, как с мухой в стакане, — сказал он сердито. — Я — сельф мэд мэн, и меня эти подробности не касаются.

Он взял зонтик и портфель, приподнял шляпу над головой и, ни слова не сказав более, вышел. Энгель, вытирая вспотевшие ладони носовым платком, пошел к окну смотреть ему вслед. Окно мастерской выходило на площадь и он видел, как Асташев вышел, как пошел, как подозвал таксомотор, сел в него и уехал.

День кончался. У Клавдии Ивановны попрежнему не действовал лифт; он пил чай, она вязала. Говорили сегодня о политике и Алеша, пытался объяснить мамаше, что пролетариат это те, от которых дурно пахнет. Потом он ушел, и у Ксении Андреевны был уже совсем спокоен и весел.

— Маменька, — говорил он, закусывая холодной телятиной и выбирая минуту, когда адмирал и губернатор не слушали, — я вчера от вас поехал в Табарэн, с двумя канканерками, до поздней ночи. Угощал икрой, поил шампанским. Дайте мне на всякий случай адрес доктора Маркелова. Расстались, как товарищи.

Она качала головой с нескрываемым удовольствием и грудным своим шопотом отвечала:

— Отсядь подальше, гробовщик: от тебя твоими покойниками пахнет.

3.

Он познакомился с ней года два тому назад, она жила с двумя старыми тетками в том же доме, где и Ксения Андреевна, только внизу, и однажды зашла сказать, что если придет Вязминитинов, то чтобы непременно спустился к ним, потому что сегодня заходил кто-то, кто видел недавно его сына в Москве; словом, было какое-то поручение, которое она пришла исполнить. Маман даже не взглянула на нее: хорошо, я скажу. Но когда пришел Вязминитинов, она забыла о Жене, и на следующий день Жене пришлось придти опять; она настойчиво просила простить ее за беспокойство и оставила Вязминитинову записку. Асташев опять был тут. Он встал, поздоровался, спросил, была ли Женя на модной пьесе, в которой играет актриса с изумительным бюстом; Женя покраснела, глаза у нее блеснули горячо, но строго, и она сказала, что в театры совсем не ходит, так как вечерами всегда занята.

— А в кинематографы? — спросил он, разглядывая ее внимательнее.

— Ох, каждый день, — ответила она. — Ведь я служу кассиршей.

На ней было шерстяное, синее платье с пуговками, которые шли по худенькой груди от ворота к поясу.

— Какие в высшей степени оригинальные пуговки, — сказал Асташев и хотел дотронуться до одной из них. Она отшатнулась, глаза ее стали темными (а были светло-карими), и быстро подбирая и подкручивая на затылке свои светлые волосы с золотым отливом, она ушла. И он увидел вдруг, что она тонка и стройна, в меру высока, с высокой талией и длинными, прямыми ногами.

— Ее мать вторым браком за графом Лодером, — сказала Ксения Андреевна; — тетки у нее полуумные, в страшной строгости ее держат. А она невинная, меж-

ду прочим, голову даю, невинная. Феноменально, но факт.

Через неделю он столкнулся с ней у парадной двери.

Он уходил домой, она возвращалась с работы. «Вот тут, — он указал на ее черную сумочку, — вы носите всю вашу кассу». — «Нет, — ответила она, — я сдаю деньги хозяину, он заходит за ними». — «Ах, как жалко, а то бы я обокрал вас в каком-нибудь переулке». Она улыбнулась смущенно: «А в кассе у меня почему-то лежит револьвер, — сказала она доверчиво, — я не знаю, зачем он собственно лежит, я не умею стрелять». — «Разве бывают такие крупные суммы?» — «В том-то и дело, что нет. Я думаю, его просто кто-нибудь забыл, обронил. Вот уже год как у меня там хранятся пять перчаток, — все с правой руки, две связки ключей, пудреница, зажигалка, булавка с фальшивым камнем. Так и лежат». — «Хотите пройтись немножко? Еще рано и вечер хороший». — «Нет, — ответила она, — меня ждут дома». И словно не договорив чего-то, она подала ему худую руку в замшевой перчатке. «Разве у вас нет флирта и вы всегда возвращаетесь во-время?» — «У меня нет флирта и никогда его не было», — ответила она и ушла.

«А ведь она красива, красива! Мила, невинна, тонка, молода; у нее веселый взгляд и грустный голос, и странно, что до сих пор не замужем. Ей наверное под тридцать», — думал он дорогой, но на следующий день он уже не помнил о ней, и когда, через месяц, опять столкнулся с ней на лестнице, не узнал ее.

Он обернулся, и она обернулась в одно и то же время, и в темноте оба остановились. «Вы со службы? Так поздно?» — «Всегда в это время, в без четверти одиннадцать». — «И завтра, и каждый день?». Она вдруг опомнилась от этих вопросов и не ответила, посмотрев, не глядя. «Вы похорошели, — сказал он, — за то время, что мы не видались. А как поживают пуговки? Все на месте? И до сих пор все нет флирта?».

Она медленно раздвинула накрашенный длинный рот, показала ровные белые, узкие зубы, и серьезно сказала:

— Если не считать вас.

И ушла в тьму нижней площадки, и когда он зажег свет, шаги ее стихли, и только где-то хлопнула дверь.

Каждый вечер он встречал ее, но уже не на лестнице, а на улице, и они несколько минут разговаривали, и всегда находилось о чем. Он провожал ее до дому, слушая рассказы о службе, о тетках, о матери, о подругах. «Хорошенькие?» — спрашивал он, и она отвечала: «Вроде меня, не очень».

— Из того, что вы каждый вечер приходите к Ксении Андреевне, я заключаю, — сказала она однажды, смущенно улыбаясь, — что у вас тоже нет флирта сейчас, если не считать меня.

Но он ответил с неожиданной прямотой:

— Флирта нет, но есть одна знакомая дама, у нее корсетная мастерская, она, конечно, француженка. К ней можно придти и к двенадцати ночи, раньше даже нечего делать. Но она мне, кажется, скоро надоест. Вы мужчин не знаете, мы — страшные свиньи. Впрочем, за то нас и любят.

Она твердым шагом дошла до двери, и, прощаясь, бледная, сказала, что завтра у нее начинается отпуск. «Как, среди зимы? Куда же вы поедете?» — «Никуда. Разве нужно непременно куда-нибудь ехать?»

Потом тетки ее переменили квартиру. Он никогда не спрашивал о Жене, но иногда она вспоминалась ему таким слабым, стройным, гибким растением, почти прозрачным, немножко ядовитым. Потом он забыл о ней.

Умерла та самая тетка, у которой были деньги, и Женя с другой никак не могли вступить в наследство. Шли месяцы, жить стало трудно. Был спор, близился суд, завещания не нашли. Жизнь стала совсем другой — ограниченной во всем, очень тихой. Женя всю жизнь работала, всегда содержала себя, но теперь на ее жа-

лование жило двое, причем оставшаяся в живых старуха была слаба и всегда болела, и обратиться за помощью было не к кому, потому что эта была сестра Женина отца, и мать Жени была с ней в давней ссоре.

Днем и вечером Женя сидела в кассе небольшого, нарядного кинематографа, так что посетители видели обычно только ее руки, тонкие пальцы с накрашенными, темно-красными, длинными ногтями и кольцом с агатом, вделанным в платину. Иногда кто-нибудь, из покупавших билет, старался выгнуться, дышал в отверстие стекла, заглядывал ей в лицо, но она, не поднимая головы, отмечала что-то карандашом, отрывала зеленый билет, давала из коробочки серебряную и медную сдачу. И все шли ей в руки эти билетные книжки, десятки книжек, которые она аккуратно прятала в ящик, тот самый, в котором лежали пять чужих перчаток, пудреница и зажигалка. И иногда подкрадывалась к ней кошачьими шагами надежда, что Асташев вдруг придет — не за ней, не к ней, а придет в кинематограф, как зритель, купит у нее билет, и она даже поздоровается с ним за руку в стекле, прорезанном так низко.

Теперь она жила далеко, на другом берегу Сены, и уже никогда не могла бы встретиться с ним ночью, и те прошедшие встречи, когда, как ей казалось, он ждал ее, вспоминались ей чем-то безумным, чем-то вечным; она думала о том, что вот она живет и уже давно о нем ничего не знает, ходит ли он попрежнему к Ксении Андреевне, живет ли с владелицей корсетной мастерской, попрежнему ли он улыбается широко и весело, и аккуратно одет, и немножко толст? Ей становилось так грустно, когда утром, заспанная, в халатике, с синевой у глаз, она стояла над закипавшим кофейником, и решала написать ему письмо, причем, первая фраза была уже придумана: «Не я — Евгенией, но вы должны были бы называться Евгением, милый

Алексей Георгиевич, потому что я, совсем как Таня Ларина, пишу вам это письмо». Она понимала в эти утра, что никогда не напишет ему, никогда не попросит подарить ее своим чувством, или именем. «Но что же делать, что же мне делать?» — спрашивала она свое большое тусклое окошко, от которого зимой шел холод, и которое летом допускало теплый шелест душистых кустов соседнего садика, который был виден внизу, как в колодце.

Бывали дни такой сонной тоски или деловой, суетливой скуки, что мерцание в памяти его голоса, его походки, всего его облика, уходило, и возвращалось к ней еще более нежным и обезкровленным, когда она, усталая, оставалась одна. Комнаты своей у нее не было, она спала в столовой, рядом жила тетка — это теперь была вся их квартира. Женя никогда ни к кому не ходила в гости и никого не звала к себе, потому что на разговоры у нее не было времени, да она и не умела разговаривать. Постепенно она перестала ходить и к матери, потому что ей казалось, она стесняет мать; постепенно она отстала от подруг. Теперь всем стало ясно: она бедна, она одинока, ей выпала жизнь тусклая, без счастья, без восторгов, и удивительны были в ней ее естественное изящество, длинные глаза, золото гладких и легких волос, и длинные ноги, которые она любила одевать в грубые туфли и тонкие чулки, так что сквозили волоски и отчетливо была видна родинка над костью.

Толстая старуха с трудом передвигавшая ноги, обиженная наследственной тяжбой, привыкшая к жизни праздной и сытой, иногда молчала по целым дням. Женя писала за нее письма адвокатам и нотариусам, кормила ее в постели или в кресле, потом уходила на службу, как во сне видела перед собой меняющийся хвост людей, пришедших развлечься, — и так проходил ея день, и она думала о том, что это и есть жизнь, а то бывает еще и горе.

Почти не решая — она не уследила, как это сделалось, — однажды, осенью, после того, как она года полтора не видалась с Асташевым, она вздумала пойти к Ксении Андреевне. В кассе кинематографа ее заменили на этот вечер, и она все в том же шерстяном синем платье, уехала, сама не зная зачем, и не умея объяснить себе этого поступка, на ту улицу, где они когда-то жили. Дом показался ей совсем чужим и мрачным, подъезд разволновал ее воспоминаниями. Но ничего же не было, ничего решительно не сказал он ей, да и не нужно ей было его слов. Она поднялась, и уже в передней услышала его голос. Но предлога, которым она могла бы обяснить свое появление, она так и не нашла.

Но предлог был совершенно и не нужен. Ксения Андреевна была в каком-то нервном, повышенном настроении и заключила ее в свои сильные, душные объятия. Кроме Асташева было еще два гостя, оба незнакомых Жене.

— Женечка Соколова, — сказал Асташев, — нельзя ли вас угостить ликером с горчицей?

И вдруг он почувствовал звериную радость от ее присутствия.

Она пила маленькими глотками и улыбалась, и удивлялась этому воздуху, в котором совсем по другому дышалось, чем всюду на земле: что-то было пряное в этой шолком отливавшей, еще прямой, крашеной старухе, в двух мужчинах, видимо зараженных этой пряностью, и грубо и страшно ухаживавших за ней, и наконец, что-то особенное было в Асташеве, в Алеше Асташеве, как она про себя называла его, что-то вдруг близкое, решительное, менявшее ее самое навеки.

— Ну, если вам очень хочется, то так и быть, расскажите, — говорил он, забывая, что только что сам просил ее рассказать, как она поживала все это время. Но она молчала, сияя бледным лицом, смотря в его круглые, голубые глаза.

— У вас такие голубые глаза, какие бывают только у детей или у очень древних стариков, — сказала она с большой любовью.

— Мне это милльон раз говорили, — засверкал он зубами, и она заметила, что сбоку появился золотой. — Послушайте, душечка, вы когда-нибудь целовались с мужчиной?

— Нет, — ответила она, и покачала своими золотыми волосами.

— Какая же вы должно быть тогда дурочка!

Они оба засмеялись. И вдруг ей захотелось расплакаться. Она минут пять просидела неподвижно, молча, пока он рассказывал «совершенно правдивое происшествие» из собственной жизни, и хотя дело касалось женщины, Женя слишком была занята тем, что делалось в ней самой, чтобы понять, что он ей говорит.

«Я его совсем не знаю. За что я люблю его? За его красоту? Но он наверное только одной мне кажется прекрасным, да и разве я могу любить кого-нибудь за красоту? Вон как он некрасиво ест, да и вообще, если бы он действительно был красавец, он бы уже давно был женат. Холостых красавцев не бывает. Я люблю его, может быть, за его внимание ко мне? Но где это внимание? Если он однажды спросил меня про пуговицы этого платья, то ведь это еще не доказывает, что он запомнил самое меня. Я люблю его за все, за эту грубость, за кажущуюся его подлость, за разбойный смех, за хамство некоторых движений»...

— Я должен вам признаться, Женечка, я тоже никогда ни с кем не целовался, — и он сделал преступное лицо. — Времени не было. Что другое — было, а вот насчет поцелуев — все как-то не успевал. Вообще, я всегда спешил ужасно. И знаете, что я вам скажу: когда мне было шестнадцать лет, то был один будильник, у кухарки в комнате, тикал безбожно громко. Ведь так я и не удосужился рассмотреть: комод

там был, или подоконник, или просто полка какая-нибудь — ей Богу! Жизнь коротка, а дела много.

«А что если это и есть предел возможного счастья, — думалось ей, — и лучше этих минут не будет никогда, никогда?»

— Вы знаете, что сейчас было бы самое интересное? — сказал Алексей Георгиевич, — пойдемте куда-нибудь. Пойдемте хоть к вам в кинематограф. Возьмем самые дорогие места.

— Нет, зачем же в кинематограф. Да и поздно. Да и картина там сегодня так себе.

— Ну так поедем на Выставку. Я еще не был на Выставке. А вы были?

— Я ходила с тетей, но почти ничего не видела.

— С тетей. А сегодня пойдете с дядей. Только тоже ничего не увидите.

Это было осенью, в год Всемирной Выставки, той самой, которая так исказила на несколько месяцев Париж и исчезла, не оставив ни эпохи, ни памятника, не оставив в памяти большинства людей ничего, кроме обилия и беспорядка света, предметов и толпы.

Когда они взошли на мост, в густой, пружинившей с четырех сторон толпе (Асташев вел Женю под руку, чтобы не потеряться), и над ними, в лунном сентябрьском небе, длительно и текуче рассыпался залп фейерверка, была уже ночь, и это празднество, которое больше поражало зрителей, чем их заражало, уже клонилось к концу. Под мостом была тяжелая, лиловая от световых фонтанов Сена, где дрожали, меркли, вспыхивали и качались огни; с берегов ввысь неслись ракеты, разрывались, разлетались детскими воздушными шарами в глубокой, черной высоте; тысячи шаров, млечным путем текли по небу, пропадали, последние становились похожи цветом и размером на плывущий мимо них месяц. С Эйфелевой башни ревела металлическая музыка, хор голосов, орган, от звуков которого рябило в глазах; сирена рыдала вдалеке, и опять сыпа-

лось в небо, потеряв верх и низ, золото римских свечей, и падало в темноту плывущего, заблудившегося облака.

Все качалось — вода под мостом, толпа на берегу, воздух, пронзенный светом; плакал потерявшийся ребенок, прижатый к перилам моста; городовой пробирался к нему сквозь толщу шатающихся тел. И Жене, дышащей дымом ракет и этой ревущей откуда-то музыкой, казалось, что все это, весь этот задуманный кем-то праздник, на самом деле низринут в этот город, в этот вечер, таким, каким он должен был бы быть где-то, где нет ни печали, ни воздыханий, ни жаркой человеческой тесноты, ни обмана, ни разлуки, ни убожества картонной декорации пивного павильона, а есть только хорей собственного сердца, как моторная лодка несущегося по озеру счастливых слез.

Потом они сидели на поплавке, пока все не погасло. Он говорил, что она должна придти к нему, что русские женщины вообще ужасные ломаки. Когда мимо проходила какая-нибудь женщина, он сейчас же смотрел ей вслед и делал замечание.

— У меня определенный вкус, — говорил он, потягивая из соломинки, заломив шляпу на затылок. — Мне чаще нравились брюнетки, чем блондинки. Была у меня лет пять тому назад одна блондинка. Боже мой, как она мордовала меня, как мордовала. Мы, мужчины, страшные свиньи, вам, Женечка, еще многому учиться предстоит. Предлагаю вам поступить ко мне в обучение.

Ей теперь уже не казалось, она знала, твердо, ясно, что этот вечер не повторится больше, он останется единственным, и надо сделать что-нибудь, чтобы продлить его, потому что ночь, потому что утро, оборвут все, сомнут все, сломают ей жизнь. Она не думала больше: за что, почему, любит его, все, от его имени, до его непобедимой никакими французскими словечками русскости, нравилось ей, томило ее; и зачем, за-

чем, перед кем и для кого нужно было объяснять и оправдываться? Она никогда не сидела так с мужчиной ночью на палубе неподвижной яхты (которая могла, только не хотела, двинуться в кругосветное путешествие, в сказочные страны, яхты с погашенными огнями); ей казалось, что вдвоем с ним можно было бы прожить нестрашную, голубиную жизнь, или полжизни, или хотя бы четверть жизни, — никогда, ни с кем ей не хотелось прожить даже сутки. Она думала о том, что в чем-нибудь она да поможет ему, рядом с ним, незаметно и храбро, — и кое-чего, чего он не мог один, и чего она не умела одна, они вместе, может быть, достигнут.

В полной тьме толпа валила теперь к выходам. Они оба шли скорым шагом вместе со всеми к остановке метро. Ей было в одну сторону, ему — в другую.

— Проводите меня до постельки, — сказал он, удерживая ее руку в своей, — об этом никто не узнает. Не будьте провинциалочкой.

Но она вырвала руку, бросилась вниз по лестнице, остановилась, оглянулась, вспомнив, что он не сказал ей когда и где они опять увидятся, но его уже не было, сверху на нее шла толпа усталых, измятых, пыльных и потных людей. Они проводили ее и в вагон, и по улице шли с ней, вплоть до самого ее дома, и даже кто-то вошел с ней и поднялся за ней — этажем выше. Зато, когда она осталась одна у себя на диване, в столовой, где всегда пахло едой, слезы вдруг закапали ей на руки, она не знала, что ей делать с ними, как подобрать, как остановить. Слишком жестоко было это приближение к ней совсем чужого человека, вышедшего навстречу из миллиона других ему подобных, которого она до сих пор не знала, чем-то отмеченного для нее, заслонившего ей мир; в этом приближении она угадывала рок, грань жизни, и обеими руками сжимая себе грудь, шептала его имя.

Лил сильный дождь, дул ветер, было совсем по осен-

нему холодно, сыро и скучно, когда спустя четыре очень долгих, мучительных для Жени дня, он пришел за ней в кинематограф. Было около половины одиннадцатого. Она сдавала кассу хозяину, шел последний сеанс, и Асташев, увидя хозяина, спокойно сказал ей: «Бонсуар, шери», отряхивая зонтик. Она потеряла голос от счастья и стыда, досчитала деньги и талоны, и что-то прибирая, и запирая, и туша свет над собой, несколько раз оглянулась на него и улыбнулась ему. Он разглядывал плакаты на стенах, повернувшись к ней спиной.

Когда они вышли, таксомотор уже ждал. «Куда? — спросила она, — уже поздно». Он подтолкнул ее молча, и когда они сели, не глядя ей в лицо, сказал быстро и сухо:

— Я не из тех, которые обнимаются в машине. Не бойтесь. Во-первых, — это неудобно, не комфортабельно. Во-вторых.... Как вы себя сегодня чувствуете?

— Куда мы едем? — опять спросила она и увидела бутылку шампанского, торчащую у него из кармана.

— Женечка, Женечка, — сказал он с досадой, — вы ужасно много задаете вопросов.

— «Вся жизнь моя была залогом», — сказала она тихо и опустила лицо в руку. — Это — из Онегина.

— Хорошая опера, — ответил он и прокашлялся.

— Вы любите музыку? — и лицо ее осветилось такой радостью, что он даже удивился.

— Люблю. Но мало приходится слышать. Ну вот, мы приехали.

Они вышли. От дождя, лившего ливнем, она сейчас же вбежала в подъезд. Он расплатился и, распахнув пальто, и куда-то в боковой карман пряча мелочь, пошел прямо на нее, обнял, вдавил в дверь, поцеловал, поймал ее за локти и, не давая опомниться, молча обнимая и торопя, потащил к лестнице.

— Отпустите меня, милый Алексей Георгиевич, отпустите, — зашептала она, — я вам что-то скажу. Я

боюсь. В другой раз приду. Я не буду шуметь, я тихонько. Выпустите меня. — Он больно и как-то уж очень умело скрутил ей руки назад и жадно поцеловал ее в губы два раза, шаря по ее груди. Она поймала его руку, не столько чтобы остановить ее, сколько для того, чтобы удержаться самой за нее. И так держась, она вошла за ним в его квартиру.

Она вышла оттуда, когда была еще ночь, в темноте нащупала кнопку и заглянула вниз. Там, совсем близко, стоял лифт — она находилась на первой площадке. Тогда она сошла вниз, открыла дверь на улицу и постояла немного. Редкие фонари были притушены, ни вправо, ни влево не было никого.

Она пошла пешком. За всю дорогу она встретила не более десятка прохожих, двух городовых, несколько автомобилей и одну высокую деревенскую арбу с цветной капустой, державшей путь на Центральный рынок. Она шла около часу. Когда она проходила по мосту, она остановилась. Сена, вздутая дождем, казалась неподвижной, как сало. Женя перекрестилась и ниже перегнулась к воде. В это время кто-то за ее спиной проехал на велосипеде, и тень едущего прошлась по ней. Она разогнулась и пошла дальше. Когда она вернулась к себе, она увидела, что было четыре часа.

Она сняла шляпу, но осталась в пальто, и в одних чулках осторожно вошла к тетке в комнату. Старуха тяжело и ровно дышала. Женя в темноте подошла к ночному столику, выдвинула ящик и пошарила в нем, но найти то, что хотела, она не нашла. С ящиком в руках, она ушла на кухню, зажгла свет и стала искать снова — попадались лекарства: строфант, аспирин, нашелся, наконец, и гарденал. Но в стеклянной трубочке оставалось всего восемь таблеток. Тогда она двумя кухонными полотенцами, при помощи хлебной пилы, законопатила дверь, потушила свет, и открыла газ.

«Господи, — думала она, сидя перед плитой, и не

мигая смотря в ничем не занавешенное окно, где красное от огней, низкое, словно дымом схваченное небо висело над землей, — Господи, если Ты есть, сделай, чтобы мне стало страшно, сделай так, чтобы я опомнилась. Если Ты есть и если душа моя захотела этого, сделай, чтобы хоть тело удержало меня, отвратилось, спасло бы себя и меня от греха, помоги, если Ты есть, хотя бы по животному опомниться.» — Но держа шипящую резиновую трубку в руке, Женя вдруг почувствовала не отвращение, а еще более страстное желание смерти, и именно во всем ее разбитом теле, а не только в сознании, все как бы потянулась к небытию и тьме. Душа, может быть, в эту минуту, не разлучаясь, но, наоборот, крепче обнимаясь со своей оболочкой, помогая ей, двинулась куда-то, со звоном колоколов, с разрывом ракет, в исчезающий, тающий, белый Млечный путь. На одну единственную минуту хватило полного их слияния, в котором и душа и тело были одинаково согласны во всем. С тяжелой силой жизнь еще раз ударила Жене в уши, и все погасло в безпамятстве, в котором нет видений.

4.

— Поздравьте меня, — сказал Алексей Георгиевич, — сегодня я сделал, или почти сделал, одно дело, за которым гонялся три недели.

Немолодой, усатый человек в высоком воротничке, перегнулся к нему, и в соседних окошечках тоже зашевелились.

— Надо вспрыснуть, — сказал кто-то.

Асташев уже кивал направо и налево.

— Непременно, сегодня же. Мало того, — он остановился на мгновение, — я сегодня завязал такие связи...

— Господа, он будет директором, — воскликнул кто-то из-за своего стола, из-под зажженной лампы.

— Но я вовсе не желаю быть директором, — и Асташев счастливо засмеялся. — Я вполне доволен своей судьбой.

Он повернулся на каблуке и пошел между столами, угощая направо и налево всех встречных папиросами, которые нарочно для этого покупал. Ощущая легкость и прочность в ногах, он отправился бродить по улицам, смотреть в витринах галстуки. Было холодно и пасмурно, но он сегодня так был полон собой, что не замечал ни погоды, ни женщин. На восьмом этаже, в маленькой конторе на Елисейских полях, где всего-то и было мебели, что пустой письменный стол, стул для хозяина и кожаное кресло для гостя, он познакомился с сыном делового человека, русским, но уже не говорящим по-русски, и тот обещал ему подсунуть отцу в добрую минуту полис для подписи на миллион.

Асташев сейчас же перешел на тон опытного заговорщика, стихал, когда на каблучках вбегала безбровая, охрой пудреная, секретарша, а когда без доклада, в пестром пальто, высокий, плечистый, вошел известный летчик, подписавший здесь недавно контракт на участие в каком-то фильме, и крошечная, полупустая комната сейчас-же наполнилась так что и самый звук голосов стал другим, Алексей Георгиевич встал, чтобы уйти.

— Не нужно ли тебе застраховаться? — спросил директор конторы, — ведь ты окачуришься наверное прежде других. Странно, что до сих пор не сломал себе шеи.

Летчик бросил на стол две громадные, светлые перчатки.

— Нас страхует компания, — сказал он, мельком взглянув на Асташева.

— Это ничему не мешает, — вступил тот. — Здесь не место и не время, но позвольте сказать, что компания вас страхует по казенному, гуртом, а вы можете

это сделать еще и индивидуально. Всегда приятно действовать индивидуально. И даже в рай, по моему, веселее войти, как путешествующему за свой страх и риск, нежели как экскурсанту, участнику групповой поездки.

— Какая чепуха! За этот индивидуализм надо платить бешеные деньги.

— Летающие платят всего на одиннадцать процентов больше, чем платят ползающие по земле.

Директор конторы расхохотался.

— Он утешает тебя. Послушай, дай ему свой адрес, он зайдет и объяснит тебе с глазу на глаз, что ожидает тебя на том свете.

— Никогда не говорю про тот свет, — весело сказал Асташев, — с меня вполне довольно и этого. Мы живем не в степи, а в столице мира.

Летчик из широкого, лакированного бумажника вытащил свою визитную карточку, и, стараясь не выронить каких-то фотографий, передал ее Асташеву.

— Зайдите... когда-нибудь, — сказал он равнодушно. — Я живу очень далеко, за городом. Это на поезде.

Алексей Георгиевич поблагодарил обоих и низко при этом поклонился.

Ему было так легко, так хорошо, он чувствовал себя таким свежим, молодым, спокойным, что хлебнув отвратительного зеленого напитка у стойки, где угощал восьмерых служащих страхового общества, он стал только еще веселее и приятнее. Позавтракал он чем-то вкусным и острым, и часам к двум почувствовал, что на сегодня довольно, что он устроит себе нынче маленькое развлечение, отдохнет, наберется сил, чтобы завтра с утра выехать за город, к летчику. Он никогда ничего не откладывал, и вся его работа всегда шла по горячему следу.

Через три часа он был у Ксении Андреевны: эти три часа он провел в одном доме, где был только зрителем,

не участником, и этого с него на сегодня было вполне достаточно. В этом доме, дорогом и открытом только днем, его знали: когда он являлся, швейцар спрашивал: желает ли он в левую дверь или в правую? За левой дверью были женщины, за правой — кресла и экран. Он ходил через раз. Сегодня очередь была за экраном.

Но в этот час Ксении Андреевны дома не бывало. Прислуга открыла ему, он прошел в гостиную, снял башмаки, лег с ногами на диван, взял газету и велел принести себе чаю с лимоном. Газета была вчерашняя. Он читал ее от нечего делать и, странно, но то ли от состояния его пищеварения, то ли от того, что он так долго просидел в душной и совершенно немой темноте, но ему ничего уже не было интересно сегодня, и дремота ходила где-то совсем близко.

Газету он читал ежедневно, и всегда с одним и тем же чувством: а ну-ка посмотрим, что-то они еще поделывают, о чем кипят, в какой просак попадают? Всякая новость, касающаяся России, вызывала в нем усмешку: как, господа, вы еще существуете? Зато, когда ему приходилось смотреть фотографии, где кто-нибудь один, в отличной паре военных сапог, приветствовал тысячи в таких же сапогах, что-то в нем тайно и счастливо трепетало. Только такой должна была быть власть в его представлении, только такой: единоличной, все объясняющей, разрешающей и запрещающей.

И тогда он мечтал, и мечты его, как у многих, неумеющих мечтать, были далеки от действительности, в которой он жил, отвлеченны и нелепы. Он мечтал о порядке — о человеке, могущем держать в руках всю Европу, а следовательно и весь мир. И тогда он, Асташев, закажет себе вот такие же блестящие, ловкие сапоги, как орденский знак людей, принадлежащих великой дисциплине. Он окажется необходимым, гораздо более необходимым миру, чем сейчас, потому что сейчас — все равны: здоровые и больные, ловкачи и не-

удачники, а тогда нужны будут одни Асташевы, Асташевы, Асташевы...

Он читал, бегая глазами. Горный инженер в припадке умопомешательства зарезал жену и двух детей; открылась собачья выставка; на Формозе ощущались подземные толчки; поднятие цены на электричество; в Бельгии — министерский кризис; самоубийство некоей мадемуазель Дюпон: соседи были привлечены сильным запахом газа. Когда они взломали дверь... В записке она просила простить ее за беспокойство и писала, что умирает от неразделенной любви.

Когда он проснулся, в комнате было уже совсем темно. Ксения Андреевна все не возвращалась. Он обулся, написал на клочке бумаги: «Маман, не хотите ли нынче сходить куда-нибудь, повеселиться? Наденьте самое шикарное ваше декольте. Зайду в восемь». И так как делать ему было решительно нечего, он отправился к Клавдии Ивановне, он не был у нее все эти дни.

Клавдия Ивановна лежала в постели. У нее болели зубы, ее лихорадило; в комнате было неубрано, и ничего вкусного не было сготовлено к чаю.

— Вы знаете, маменька, — сказал он, садясь у постели, — мне ужасно неприятно, что вы больны. Ей Богу, посидели бы, поболтали бы уютно, — и он почувствовал, что настроение, собственно, начало падать у него еще раньше: еще до сна на диване.

— Пять дней не приходил, — сказала она, грея рукой опухшую щеку. — Здоров ли? С кем пропадал? Хорошо ли кушал?

Он пригорюнился, ответил не сразу.

— Неужели пять дней? Я, маменька, и не вижу, как время бежит. Даже грустно немножко делается — молодость так и пройдет. Да и прошла уж! Отчего это у меня настроение вдруг испортилось? Было такое здоровенное настроение. Это вы на меня подействовали —

когда вы больны, у меня душа не на месте. Вы не встанете, маменька? Ей Богу, попили бы чаю...

Она покачала головой.

— Это оттого, Алеша, что ты все один да один.

Он расстегнул две нижние пуговицы жилета, облокотился о колени и положил лицо на руки.

— Жениться мне, что ли? — спросил он с усмешкой, но в голосе была серьезность, и Клавдия Ивановна вся встрепенулась под одеялами. — На какой-нибудь эдакой молоденькой, скромной, влюбленной по уши. Скажут: русская, нищая... Да, конечно, но зато чистенькая, умыта добродетелью. Два года в одном платье ходит. Служит.

— Алешенька, — тихо простонала Клавдия Ивановна, боясь его спугнуть.

— Свили бы мы с ней гнездышко. Я ведь теперь — слава Богу! Не сейчас, так когда же? Могу себе позволить. Дети у нас были бы, маменька, я вам скажу для смеха, такие рыжеватенькие — что я, что она, оба светлые. — Он поднял голову, потрогал лампу, горевшую на ночном столике и покачался на стуле.

— Мне все это так сейчас в голову пришло — пустые мечтания! Больше для вас, чем для себя. Мы могли бы тогда поселиться все вместе, я бы холостые штуки свои бросил. Нет такого человека, кажется, который бы хоть когда-нибудь о чем-нибудь не помечтал. Была бы у нас прислуга — такая пожилая, степенная, все бы для нас делала. И ничего бы всем нам не надо было больше, правда?

Клавдия Ивановна приподнялась на худом локте и уронила слезу в подушку.

— Влюблен, Алеша?

Он посмотрел на нее, и вдруг какая-то жесткая, сухая тень прошла в его светлых глазах.

— Вы, маменька, не можете перестать жить фантазиями, — сказал он и встал. — Что я — гимназист? Если уже жениться, то по крайней мере, чтобы при-

даное было, чтобы и вам, и нам, и всем было хорошо.

Он особенно досадовал сейчас на этот намек, который он подал ей о жизни втроем. Ему пришлось бы тогда отказаться навсегда от Ксении Андреевны. Это, конечно, было бы невозможно.

Он ушел очень скоро, с какой-то тяжестью в душе, вспомнив о своей записке, оставленной Ксении Андреевне и соображая, куда можно было бы с ней пойти. Там, в гостиной, завешенной шелковыми платками и кусками полинялых материй, сидели Вязминитинов и Евграф Евграфович и играли в пикет. Маменьки все еще не было. Он походил вокруг, съел грушу и, не прощаясь, снова ушел, оставив в передней, на видном месте, портфель и зонтик.

Мамаша Клавдия Ивановна. Мамаша Ксения Андреевна. Удачно обделанное дельце, сытный завтрак, экран в известном ему доме, отложенные в банк деньги, две-три мысли о судьбе Европы и возможный билет в любое вечернее заведение, где у входа с поклоном ждет его швейцар. Вот и жизнь его, и он имеет право сказать: «я — слава Богу». А если иногда все слегка надоедает, то ведь это бывает не чаще, чем раз в пять лет. Правда, в совершенном механизме, у тех существ, что носят эти изумительные твердые и гладкие сапоги, перебоев не бывает во всю жизнь, и значит он, Асташев, индивид переходного периода, что делать! Утешимся тем, что все относительно, и индивид переходного времени есть существо передовое по сравнению с мадемуазель Дюпон, умирающей от неразделенной любви, по сравнению со скульптором Энгелем, питающимся морковью. И если в минуты какой-то беспричинной тоски не можешь бежать к людям будущего (не хватает настоящей марсианской прыти в славянском, рыхлом естестве) и нет еще, не выдумали, марширующих, хором поющих объединений для таких, как он, переходных («а нас много, нас очень много, нас гораздо больше, чем вы думаете!»), то уйдем к

людям прошлого, которые чем-то в эти минуты беспокойны для нас, и раздражающи, и необходимы.

Вечер был холодный, сырой, городские камни и огни неподвижны в черном сумраке улиц. О, эти бульвары, идущие по окраине города, по которым теперь он ходит хозяином, и на которых когда-то думал умереть в отрепьях, униженный и нищий. «Не страшно, господа, не страшно», — бормотал он, шагая упругим шагом, и уже издали различая темный дом Энгеля. «Вы — богема, — собирался сказать ему Асташев, — и я богема, когда надо. А потому к вам ведь можно в этот поздний час?»

— Спасибо, что зашли, спасибо, — сказал радостно Энгель, узнав гостя и долго держа его за руку. — Здравствуйте. Хотите посидеть немножко? У вас усталый вид. Вы — пешком?

Оба вошли в мастерскую.

— Очень я вам рад, милый вы человек, — говорил Энгель, — хотя вы мне теперь совсем больше не нужны. Совсем.

Асташев выговорил быстро:

— Застраховались помимо меня?

— Помимо вас. Но не застраховался. Успокоился. Сядьте куда-нибудь, отдохните.

На диване неподвижно лежал большой, черный мужчина, в пыльном, черном пиджаке, сильно измятом, и серых полосатых брюках. Он не спал, но как будто только что проснулся.

— Художник Харин, сегодня из Флоренции, — сказал Энгель. — Мишенька, пожалуйста спи, мы тебе мешать не будем.

Художник Харин поворочался с минуту, нашел удобное местечко, и затих.

На двух табуретах, у самого окна, где оба отражались, они сели, и Асташев сложил свои пухлые руки на коленях, потому что девать их было некуда.

— Это пришло не сразу. Может быть, еще и не окон-

чательно, но уже от одного намека стало легче. Вы только не подумайте, что я в церковь зачастил, исповедуюсь, причащаюсь, иконы развесил. Нет. Но теперь я знаю, что надо Бога. Надо молитву. Иначе нельзя.

— Поздравляю вас, — сказал Асташев. — У меня есть старая мамаша, я ей непременно о вас расскажу.

Энгель запахнул свой балахон, поежился, похлопал себя по карманам и нащупал курево.

— Я вам так благодарен за то, что вы ходили ко мне. Если бы вы знали, что со мной сделалось еще после того, первого раза! Жил так, как все живут, и вдруг появление ваше — как труба архангела. Теперь я знаю, что смерть, как страсть, объяснить нельзя, надо почувствовать. Некоторые живут до старости и им не открывается, другие, может быть, с этим выростают. Ко мне, значит, пришло в тридцать восемь лет. Вы спросите: что же пришло? Не могу на это ответить — слова все такие стертые: «сознание неизбежности», «уверенность в собственном конце», — и выводы из этого. Простите, опять сравню: «она все шептала: твоя», — это поется в каком-то романсе, и мы уже не реагируем. Но если вдуматься!

— «А она, страсти полна», — поправил Асташев. — В граммофоне слышал.

— Мне кажется: здесь узел всей человеческой мудрости — в чувстве смерти, в мысли о конце. Потому что все можно понять, а этого понять нельзя, все можно допустить, а этого нельзя. Я от мыслей своих из этого окна однажды чуть не выскочил. Но путь мой был верен. Когда вы были в последний раз, я уже знал, что невозможно без Бога, но еще не умел сказать. Теперь я счастлив.

— От души поздравляю вас. Видимо, и здоровье ваше тоже за это время поправилось. Цвет лица как будто лучше.

Энгель улыбнулся, перевешивая сам себя громадными своими зубами.

— Маленькая надежда, весом не более, может быть, ресницы, не кончиться, что-то исправить, за что-то ответить; увидеть кого-то, встретить... кого-нибудь дорогого, при воспоминании о ком невозможно удержать слез, но главное — быть, быть, продолжаться, хоть как нибудь. Теперь я знаю, что это такое. Эта ресница перевешивает для меня вселенную, и даже самые сомнения кажутся мне блаженством по сравнению с тем, чем я раньше жил.

— Значит, бывают все-таки сомнения?

Энгель сжал свои костлявые руки в два темных кулачка и приставил их к груди.

— О, уже совсем не те, что были раньше.

Асташев пошевелил ногами под табуретом.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал он, — зашел, как говорится, на огонек, а попал на пожар души.

— Да, — радостно воскликнул Энгель, — идите теперь. Мне совсем уже больше ничего от вас не нужно.

Асташев встал. Как был, в пальто и с котелком в руках, он прошелся по мастерской, медленно оглядывая ее, словно уходить ему не хотелось. На столе стояло глиняное, плоское блюдо, с блестящей, темнозеленой поливой.

— Миленький предмет, — сказал Алексей Георгиевич задумчиво.

— Хотите — подарю? — и Энгель уже прижал блюдо к худой своей груди. — Мне все равно хотелось подарить вам что-нибудь на память. За напоминание. Возьмите это. Оно совсем недорогое, но оно красивое, на него можно что-нибудь положить.

Асташев не отказался. С блюдом подмышкой он вышел, попрощавшись с Энгелем и молча поклонившись спине художника Харина.

На улице он вздохнул свободно. Ему было душно весь вечер. Он теперь только понял: ему стало душно и тяжко в сумраке сеанса, и вот с тех пор, весь день

и уже часть ночи, он носит в себе эту духоту, эту тоску. Надо непременно уготовить себе в жизни какое-то отступление — десять лет во всю, а теперь пора: пикет с Вязминитиновым, или рыбную ловлю, или семейное счастье, или еще что-нибудь, для заполнения свободного времени. «Я развивался всегда гармонически, — думал он, — и в сорок лет пришла ко мне эта естественная мысль. Нельзя же в самом деле всю жизнь, как вьючное животное; случайные женщины; конторские шуточки; бойкая дама маман с кавалерами. Довольно. Захотелось чего-то, вдруг засосало еще третьего дня, от ночи с Женечкой. Денег не взяла. Милая девочка. Была так напугана!»

Он шел и шел, неся незавернутое зеленое блюдо, как чиновники носят бумаги на подпись; ходьба была ему приятна. Доктор от ожирения советовал ему как можно больше ходить. Эта ночная ходьба механически возвращала ему равновесие, но все не хотелось домой. В третий раз сегодня отправлялся он к Ксении Андреевне. Было уже поздно куда-нибудь ехать, но можно было досидеть у нее до полуночи так, чтобы наконец захотелось спать.

Он позвонил два раза. Издалека раздались шаги, ее шаги, тяжелые, но все еще быстрые; даже домашние туфли были у нее на французских каблуках. Она приоткрыла дверь. «Ты? Что случилось?» Он ответил: «Не спится чего-то. Пустите. Я тут оставил зонтик. Вот вам блюдо в подарок. На него можно что-нибудь положить».

Она в шелковой, с яркими цветами, пижаме, переливаясь, мерцая, повела его по темной квартире в спальню, села на кровать, закурила.

— Собиралась ложиться. Только что вернулась. Вообрази: эта девушка (я-то, дура, думала, что она девушка!) имела ами и вчера застрелилась.

Он стоял над ней, смотрел ей в лицо и делал вид, что еще не понял, сам на себя удивляясь, что понял

сразу. Почему он понял? Ведь это необъяснимо, ведь это таинственно. Как мог он догадаться, что Ксения Андреевна говорит про нее?

— Нет, отравилась газом. Хозяин кинематографа сказал, что накануне вечером за ней приходил какой-то господин. Она жила с ним, — это ясно. Может быть, она ожидала от него ребенка? Может быть, она надоела ему? Ах, какие же вы все подлецы!

Он быстро спросил:

— Какой господин? Его ищут?

— Неизвестно какой. Зачем его искать?

— Была записка?

Он сам не понимал, что с ним происходит: он чувствовал освобождение от двухдневного кошмара: раздумий, совести, мечты и грусти. Он опять был совершенно свободен, совершенно спокоен, легок телом и крепок душой.

— Сядь здесь. Прости, я не причесана, ну да для меня ты не мужчина, я вот и зубы уже сняла... Ты знаешь, ее тетка так растерялась, что прислала за мной — что-ж, ближе никого у них не нашлось, что ли? Мать за весь день даже не показалась.

— Стерва, — спокойно сказал Алексей Георгиевич.

— Хорошо, я Юлия Федоровича на улице встретила, взяла его с собой. Он распорядился. Ведь тетка дело начинать хотела, да какое же дело, если ее нашли в кухне, с трубкой в зубах, то-есть с газовой трубкой. У меня до сих пор руки холодные.

— Успокойтесь, — сказал он громко и твердо, — эта особа ввела нас с вами в заблуждение. Если она была так чувствительна, зачем было красить губы и ногти, пришивать себе на платье какие-то пуговки? Непоследовательно, неблагоразумно.

— Ее наверное любовник бросил.

— Маман, что вы говорите! Что же, вас никогда не бросал любовник? Если женщины будут травиться от-

того, что их бросили, род человеческий прекратится. Надо уметь жить, надо уметь переживать: смело, красиво.

— Подлецы вы все, — повторила она, с жеманной грубостью.

Он поцеловал обе ее руки, которые теперь, без колец, были неузнаваемо стары. Потом подошел к туалету и, с детства питая странную привязанность ко всем вещам женского обихода, подушился, напомадился, прошелся щеткой по волосам, пуховкой по подбородку, понюхал какую-то мазь, пощелкал ножницами.

— Я знаю людей, — сказал он, чистя себе ногти. — Ох, как я их знаю, мамаша! Они всегда сами виноваты во всем, они заслуживают той участи, которую имеют. Я мог бы многое объяснить Толстым и Достоевским, но в наше время их нет, а есть только какие-то Черные, Белые, Горькие и Сладкие, с которыми мараться не стоит.

Она, повиснув на спинке кровати обеими руками и качая босыми, синеватыми ногами, смотрела на него.

— Самоубийство, по-моему, есть самый непростительный факт, какой только имеется в природе, — и он заложил пальцы за проймы жилета, выпятив грудь. — Недаром, кое где они строго запрещены. Разрушить все назад! И замечали вы, маменька, всегда из какой-то самолюбивой трусости: ах, карточного долга нечем отдать! Ах, предложения руки и сердца не сделал, а женской слабостью моей воспользовался!

Он умолк, смотрясь в зеркало. Она ждала, что он еще скажет. Ее землистое лицо, намазанное на ночь чем-то жирным, упавшая низко грудь, волосы, в последнее время ставшие медными, и еще живые, еще блестящие, хоть и в мешках, глаза, были совершенно неподвижны. Внезапно, она сжала с хрустом обе руки и глухо сказала:

— Алеша, как я люблю тебя! Какой ты умный, ка-

кой глубокий, элегантный. Воображаю, сколько баб у тебя на шее виснет. Молодец ты мой!

Он с минуту ощущал в груди горячую гордость, потом, когда отпустило, вскочил, взбил ей подушки.

— Ложитесь, устали вы. О бабах не волнуйтесь: не допускаю, чтобы висли. Спокойной ночи.

Она, лениво кутаясь в какую-то шаль и зевая пустым ртом, проводила его до передней.

И он пошел. Зонтик, портфель. Мягкие руки качаются из стороны в сторону, вперед и назад. Бойкие ноги давят камни. В темноту улиц, в мрак города, на крепкий асташевский сон, чтобы утром опять — к летчику, за город, — по солнцу, по ветру, в вычищенном котелке, дальше, дальше, шагом прочным, резиновым, как подошвы — гражданин, налогоплательщик, потребитель (но не солдат!) — мимо людей, границ, с мимолетным паспортом в кармане, самопишущей ручкой в другом, в туман, в зной, в серый дождик, раз-два, левой, левой, тенью проползая по всему, что встретилось, угощая папиросами, намекая, напоминая, низко кланяясь, оставляя свой след, дальше, дальше, без конца дальше, уже немножко дряблый, уже лысеющий, с золотом в самой распашистой улыбке, уже чуть-чуть тяжелее дышащий, качающий на ходу бледный жир младенческих щек, по лестницам, по переулкам, по шоссейным дорогам, где мчится автомобиль, по рельсам, где ходит поезд, еще, еще, мимо кладбищ, женщин, памятников, закатов.

1938.

Рокanваль

(ХРОНИКА ОДНОГО ЗАМКА)

1.

Десять лет тому назад, в июле 1926 года, я впервые перешел тяжелый, каменный мостик между двух ржавых цепей, который соединяет замок Роканваль с остальным миром. Под мостиком, по которому я тогда шел, — а мне навстречу открывалась тяжелая, полукруглая дверь, и сквозило что то зелено-голубое, похожее на сад, — в сырости и тьме растет тучный бурьян, цветет бледная крапива, а на крутых стенах средневекового рва сидят жирные красные улитки. Какие то цепкие кусты, названий которых я не знаю, колючие, всегда зеленые, ползут по старым стенам, закидывают жесткие усики с камня на камень, с мха на мох. Трехсотлетние, в три обхвата, деревья, даже в знойную погоду томительно и серебристо шелестят высокими своими верхушками: аллея чудовищных, древних лип, усаженных в четыре ряда, ведет сюда из остального мира. И пока я шел по ней к каменному мостику, я успел и разволноваться и подготовиться: подготовиться к тому старинному и торжественному, что ожидало меня впереди, и разволноваться тем, что эта аллея прадедовских деревьев напомнила мне мое единственное русское впечатление, увезенное нечаян-

но, как увозят чужую вещь, обнаруженное внезапно, как наследственная болезнь, — к огромной моей радости, когда я уже начал свыкаться с тем, что настоящей России не знаю, не видел, а помню только то мучительное и случайное, что так или иначе двигалось со мною вместе во время нашего путешествия.

Путешествие началось за много лет до описываемого дня; оно длилось сперва — года четыре — по России, потом — года два — по морям и Европе; самому мне в то время было то восемь, то двенадцать, то 14 лет. Мой отец и мама иногда спрашивали меня, помню ли я Петербург, Читу, Ялту? Но я только путал какие то квартиры и вагоны, и оживал окончательно лишь где-то совсем близко: чуть ли не в Калэ, куда мы спустились из Англии, незадолго перед смертью отца и замужеством сестры.

Но вот, однажды, читая не то Толстого, не то Тургенева, не то, может быть, даже Чехова — потому что мама приохотила меня к чтению именно русских книг, — читая описание какого-то вполне сказочного помещичьего дома, я внезапно представил себе — сперва очень обще — дорогу, ведущую к этому дому, к ампирному его балкону, к низким жасминным кустам.

Я увидел старую липовую аллею, вечно темную, вечно живую, с пронзительным, ярким, полдневным просветом в конце; старые, почти страшные деревья стояли надо мною. Я различал с полной отчетливостью узор солнечных пятен на заросшей дорожке, белый камень, большой темнозеленый гриб подле него. И вдруг я заметил, что в книге уже давно ни о чем таком нет ни слова, а какие то чужие люди пьют на террасе чай, и слышно, как стучит шарабан едущего со станции гостя... Я захлопнул книгу и пошел спросить маму, не видел ли я когда-нибудь такой аллеи, такого настоящего русского сада? Ей было, кажется, не до меня, но она со всегдашней нежностью мне ответила, что,

конечно, видел, что это дом, где мы жили четыре лета под ряд, дом моего деда. Она сказала еще что-то о качелях, куда меня, несмотря на запрет, сажала молодая нянька, сказала о беседке над прудом, где отец ей сделал предложение, но я уже не слушал, я чувствовал себя человеком, вдруг обретшим память, вспомнившим, как его зовут, и с того дня при слове «Россия» в уме моем непременно возникал этот волшебный, этот густой липовый угол, дорога, шедшая по диагонали — от полевых ворот к белому крыльцу нашего дома. Особенно остро чувствовал я черную, как черный хлеб, кору деревьев, которую я трогал руками, когда подходил, к которой иногда почти больно прижимался лицом.

Волнение, охватившее меня при въезде в Роканваль, было неожиданно и сильно. Аллея моего детства, моего рождения, моего досуществования торжественно и чудно стояла передо мной, скрывая небо, солнечный свет, весь этот июльский знойный полдень! Темный корень неподвижно змеился у моих ног, белый камень с отметиной лежал, как верный пес, и смотрел мне в лицо, щербатая кора деревьев ждала моего прикосновения. Молчание и трепет — в одно и то же время — ниспадали на меня с высоких, склоненных друг к другу верхушек... Мне не нужно было воображать, не нужно было вызывать в уме милую, таинственную картину — она была передо мной. Но впереди все шире открывалась скрипучая, медленная дверь, и, подхватив чемодан, я заспешил к замку.

С Жан-Полем мы познакомились еще в первый год, в лицее, но, как это часто бывает, лишь в самое последнее время перед выпуском узнали друг друга — так что сперва даже были на «вы», разговаривали вежливо, и, кажется, обоим нам нравилась такая, необычайная для лицея, дружба, где все кругом либо давно друг другу надоели, либо вовсе не обращают друг на друга внимания, и где нецензурные словечки произносятся вместо «здравствуйте», как во всех школах мира.

Мы несколько раз говорили друг с другом, правда, довольно долго, так что разговоры, начавшиеся в классе, продолжались на улице, а потом и у меня дома. В конце концов, мама на цыпочках приносила нам огромные малиновые персики, которые Жан-Поль в рассеянности и съедал. Разговоры продолжались ночью, когда я шел провожать его, и на набережной, где свалены щебень и доски и где трепещет по ночам жаровня, мы долго просиживали рядом со спящим сторожем. Я рассказал Жан-Полю о том, что мечтаю стать писателем, прочел ему свои стихи (французские, а потом и русские); он удивил меня тем, что ни о чем таком вовсе не думал: будущее являлось ему не в виде дара, на который каждый из нас имеет право, а в виде хитро запрятанной ювелирной вещицы, которую, при известной ловкости рук, может быть и удастся украсть — украсть и уехать путешествовать за северный полярный круг, на оленях, на собаках, или на забытые, на неоткрытые тропические острова, чтобы где-нибудь там, как он говорил, «начать жизнь сначала», — о чем так часто мечтают пожилые люди, и что так легко сделать в молодости. Прощаясь со мной у подъезда, он, однажды, улыбнулся, сморщив нос и скосив глаза (это была ему одному свойственная гримаса), и сказал — по-русски это надо бы перевести так: «Вы мне очень симпатичны, Борис», а более вольно: «Давайте водиться!» И сразу после этого он пошел обратно — уже провожать меня, и словно оправдываясь в сказанном, объяснил мне, что это, вероятно, потому, что я русский, и у него в роду были русские, а некоторые русские родственники живы и до сих пор.

— Очень приятно, — сказал я, предполагая тогда, что верно какой-нибудь двоюродный дядя его женат — скажем — на польке, и он говорит так только для того, чтобы меня обрадовать. А через несколько дней он снова пришел, и в том, как он разговаривал с мамой, я увидел, что не одно имя его было благородно, но

и вся повадка обличала человека бережного воспитания и старых кровей.

Да, имя его было вместе и громко, и жалко — потому что от титула сейчас веет не только пышностью, но и обреченностью, когда у носящего его денег меньше, чем у среднего буржуа, и когда все знают, что деньги эти — последние, не в том смысле, что их хватит на день или на месяц, а в том, что их хватит на вот это последнее поколение. Я не сравнивал себя с ним: после отца, мама получила страховую премию, и на эти деньги была снаряжена под венец моя сестра и мне давалось образование. В ту весну, когда мы оба стали баккалаврами и он пригласил меня гостить к себе на лето, он сказал, что его отцу принадлежит замок Рокан-валь, в юго-западном углу Иль-де-Франса.

Из кого состояла его семья, я в то время еще не знал, потому что в тот день, когда сошел с автобуса в тихой солнечной деревушке и зашагал по липовой аллее, я не знал еще самого главного — того, что было корнем этого дома в последние полвека. Я увидел крепость, заложенную фаворитом Франциска I, часовню и самый замок, с серыми стенами и узкими окнами в кирпичном, нехитром узоре наличников, мертвые башни, оборванные водосточные трубы, плющ, разлегшийся по крышам, и молчание, — это было молчание ночной птицы в солнечный день. Жан-Поль не раз говорил мне о своем отце, три раза вдовевшем, женатом в четвертый раз (первым браком — на матери Жан-Поля, вторым — на красавице, убившейся с лошади, третьим еще на ком то, и, наконец — на женщине легкого поведения), — о брате отца, монахе, человеке два раза менявшем религию, стрелявшим в кого то, бывавшем в России; о сестре отца и ее дочерях (при чем младшую звали Кира, что очень меня удивляло). Но о всех этих людях и даже о бабке своей, которая, по его словам, должна была мне очень понравиться (тут он косил глаза и собирал нос в складку с особенно

лукавым видом), даже о бабке своей он говорил как бы вскользь, и я только позже узнал историю их жизней в подробностях.

Высокий человек, отваливший для меня полукруглую дверь — привратник, лакей, домоправитель — видимо зная, кто я, поклонился мне и повел меня по широкому, камнем мощеному, внутреннему двору, мимо настеж открытых пустых конюшен, с выбитыми оконцами и сорванными с петель дверьми. Сухой мраморный фонтан, зелено-ржавая ваза на стройном цоколе, безголовый лев, изъеденный временем у протоптанных плит входа, тихо сторожили полуподвальную низкую залу, где когда-то, должно быть, у гигантского камина, грелся графский караул, и за ней — розовую каменную лестницу.

Там наверху тянулась, выходившая окнами на две стороны дома, гигантская галлерея, с хорами, и я увидел спускавшийся когда то правильными террасами, а теперь сбегавший лениво и неряшливо к зацветшему тиной озеру парк. Какая то женщина с разметавшимися черными волосами и огненными глазами бежала снизу, и в руках у нее мотался полный моркови и репы нечистый передник. Мы прошли угловую гостиную, где замелькала мебель всевозможных времен, шелк директории и кретон 70-х годов, часы с амуром, мелкие фотографии на стенах. Мы завернули в коридор, где пахло сыростью и чем-то кислым, и поднялись по деревянной лестнице, плохо обструганной и скрипучей, во второй этаж.

Здесь сразу потолки стали низкими, повеяло жильем, пестрые обои конца прошлого века, со смешными розовыми человечками, закрыли стены от пола до потолка; лаком крытая дверь не сразу поддалась, и я вошел в комнату Жан-Поля, предназначенную и для меня. Высокий человек с серьезным лицом заглянул в фаянсовый кувшин на умывальнике, снял указательным пальцем паутину, искусно свитую пауком в самом стекле

керосиновой лампы, сказал, что Жан-Поль с девочками в саду, что он их поищет (при этом он вздохнул и в лице его изобразилась скука и уверенность в том, что поиски окажутся тщетными), и чтобы я, как только отдохну с дороги, спустился вниз, чтобы идти к старой графине.

— Зачем же к старой графине? — спросил я, оробев.

— Кто в первый раз в доме, того непременно принято водить к старой графине.

— Да она, верно, и не знает, кто я и когда приехал?

— Нет, она знает. Она уже два раза сегодня справлялась о вас.

Я поставил свой чемодан у двери и присел на его край.

— Она очень старая?

— О, да, мосье!

— Ей восемьдесят?

— О да, мосье!

— Ее надо называть «madame la comtesse»?

— О, нет, мосье!

— А как же?

— Vous allez la nommer par son prénom et celui de son père.

— ?

— Vous allez l'appeler «Praskovia Dimitrevna».

2.

Когда я в ранней молодости думал о прошлом веке, то представлял его себе гораздо отдаленнее, чем он есть на самом деле, вернее, представлял себе не конец XIX века (для таких, как я, именно последние 30 лет XIX века есть время «дедовское»), а темный фантастический период, из которого сейчас уже не уцелел никто. Вероятно, в этой ошибке повинны были прочитанные в детстве книги, где «прошлым веком» именовался век XVIII. Тогда, воображая себя Николаем Ростовым или Германом, я еще слишком близко чувство-

вал воображением закат Екатерининской эпохи, эпохи гросфатера, который в детстве застал молодой Ростов, эпохи пудреного парика, который старая графиня сняла в своей спальне, в то время, как Герман стоял за ширмами. Нет, нет! Время наших дедов — это первый автомобиль и парижские выставки, франко-прусская война и смерть Скобелева, это «Пиковая дама» Чайковского и романы Боборыкина, это что-то совсем близкое, не вчерашний, но третьеводняшний день. И этот век, как Ростову — гросфатер, как Герману — пудреный парик, случилось мне увидеть в замке Роканваль. Это была бабушка Прасковья Дмитриевна.

Она не была окружена ни моськами, ни приживалками, к ней не ездили с визитом волочащие ногу вельможи, она жила в замке, как может жить одинокий, старый, ото всего отошедший человек. У нее были дети, у нее были внуки, но она не участвовала в их жизни, и они вспоминали о ней лишь по врожденной вежливости, да еще по обязанности чтить всякого предка — даже не очень далекого. И я не знаю, любила ли она детей своих и внуков. Вероятно, любила, но любовь эта уже слабо теплилась в ее омраченной душе и не давала ни ей, ни другим никакой радости. Только память о том, чем была она сама и что была жизнь вокруг нее 40, 50, 60 лет тому назад, сохранялась в ней, как сохранялся в самом Роканвале пленительный в своей живучести дух старой Франции.

Комната, в которой она жила, была когда-то одной из гостиных, но от прежнего убранства сохранились в ней лишь гобелены по стенам, из которых один был грубо вырезан ножом — в трудную минуту, как я потом узнал, его содрал и продал младший сын Прасковьи Дмитриевны — и это место стены оставалось голым. Два канделябра с необожженными свечами стояли у зеркала; это было т р ю м о, каких теперь не делают, зеленоватое, с гнутыми ножками прескверного фасона девяностых годов. Оно притянуло меня к себе с первого

раза, не знаю чем — во всяком случае, не тем, что в нем иногда отражалась моя собственная фигура. Я смотрел в его празелень и все чего-то не мог увидеть, не мог вспомнить, словно оно отражало уже когда-то, где-то, далеко отсюда, ту, а не эту мебель, те, а не эти канделябры; так же стояли вокруг него тогда всевозможные мелкие вещицы, подушки, этажерки, вазы, шкатулки, и ходила какая-то женщина, и качались бархатные кисти дивана. Я вглядывался в мутное стекло, и мне казалось, что я уже смотрел в него совсем маленьким. Я вглядывался и ждал, что сейчас в нем откроется мне Россия, та Россия, которая шумела в роканвальской липовой аллее, которая блеснула в имени Прасковьи Дмитриевны, сидящей за мною в кресле.

Она была маленького роста, — а когда-то была высока и стройна; талии ее завидовали женщины парижского полусвета; о красоте ее уже нельзя было догадаться, смотря на одутловатые щеки, обсыпанные белой пудрой, на рот, наполненный слишком белыми, слишком большими зубами, на нос, опустившийся к бледным, лиловатым губам. Она внушала почтительность и ужас. Высокий ворот ее платья был обложен кружевом, руки в кружевах были малы и пухлы; глаза в дымке, какая бывает у новорожденных, то видели, то не видели — очков она не носила. На темени ее был заложен узелок черновато-желтых волос, где волос было меньше, чем черепаховых гребней.

— Boris, — говорила она, — спасибо придти каждый день. Очень приятно, Boris, на одно полчасика с вами.

И этот русский язык из ее уст казался мне чем-то схожим с ее трюмо, пытавшимся отразить для меня забытую мною Россию.

Я начинал свое посещение медленным обходом ее большой полутемной комнаты. Иногда я приходил, а она еще дремала после завтрака, укутанная пледом, похожая на большую старую, напудренную птицу. Я шел вдоль стен, увешенных фотографиями. «А кто это, Пра-

сковья Дмитриевна?» — спрашивал я. Она открывала большой, черный, тусклый глаз, по направлению моей руки, и говорила с остатками еще живого, еще теплого лукавства:

— Это — сама Пашенька, когда она имела двенадцать лет.

И я старался узнать в черномазенькой девочке в панталончиках ту, которую сейчас видел перед собой.

Киота в комнате не было, а мне почему-то все хотелось, чтобы был киот. Над постелью висело католическое Распятие, а над ним, повешенная не наискось, а просто, как вешают чей-нибудь портрет, — большая старинная икона. Рассмотреть ее было невозможно, но по двум круглым дырам в серебряном окладе — одна побольше, другая поменьше — я догадывался, что это Богоматерь с младенцем. Этой иконой благословили Прасковью Дмитриевну ее родители, когда она выходила замуж за французского графа, приняв его веру и навсегда уезжая из родной страны.

Венчалась она тайно... «А это кто, Прасковья Дмитриевна?» — спрашивал я опять, все нападая на какие-то стертые следы ее жизни.

— А это, mon ami, — и она, едва взглянув, уже видела, зная наизусть, кто где висит. Мне все хотелось, наконец, чтобы она сказала:

— А это тот самый мой брат, — но она не говорила.

Венчались они тайно, но не от отца, не от матери. Был у Прасковьи Дмитриевны брат, старше нее лет на пятнадцать, брат этот с юности проявлял над ней довольно-таки странную власть. Французский граф, когда она однажды сказала ему, что брат никогда не позволит ей выйти за него, немало удивился; он стал присматриваться к их отношениям и вдруг объявил, что спешит со свадьбой, что во всем этом есть что-то ненормальное. Они женились, помчались через всю Европу, и здесь началась их безумная, дикая, их полная счастья и блеска жизнь.

— Мой муж говорил, — сказала однажды Прасковья Дмитриевна, раскладывая пасьянс, а я рассматривал ее толстые, пестрые кольца, — что нечего разоряться на многих женщин, что только дураки не понимают этого. Он говорил: я разоряюсь на одну единственную, да еще на законную свою жену... И чего-чего он не делал для меня: горностаевую ротонду? Горностаевая ротонда! У императрицы Марии Федоровны колье из черных жемчугов перебить? Перебил. Захотела учиться стрельбе в цель, на лошадях скакать? От Гастин-Ренетта пистолеты в серебряной оправе, с тульских заводов скакунов выписывает. Опомнились с первым ребенком, то есть с первым ребенком перестали по несколько раз в год в Гомбург в рулетке ездить...

— Прасковья Дмитриевна, да ведь вас там может быть Достоевский видал! — вскричал я.

Но она не обиделась, она только заулыбалась и намекнула, что ей не сто лет, а гораздо, гораздо меньше.

И опять я вставал и шел к простенкам, где уже научился различать каких-то родственников ее покойного мужа (находившихся в свойстве с Бонапартами), где постепенно изучил и даггеротипы с выцветшими мальчиками, держащими в руках какие-то дурацкие букеты, и добротные картоны конца прошлого века — с красавицами в струсовых боа, и огромные, бледные фотографии недавних времен, где младшая внучка Прасковьи Дмитриевны, Кира, поднимала неправдоподобные ресницы над громадными, в пол-лица глазищами.

Иногда, когда погода бывала хорошая, она выходила на прогулку в парк; появлялась какая-то женская тень — без лица, без возраста — и одевала Прасковью Дмитриевну. В высокой шляпе с вуалью, в черном дипломате, обшитом толстой тесьмой, в фетровых сапожках, с палочкой и огромным редикюлем в руках, она, опираясь на мою руку, спускалась вниз. Жан-Поль и Кира, завидя нас издали, строили соответствующие лица: выкатывали глаза, воздевали руки к небу, тихонько при-

плясывали на месте, намекая, что совершается единственное в своем роде событие, а потом бежали куда-нибудь и там смеялись надо мной, и я за спиной грозил им и бросал убийственные взгляды в кусты, где они прятались. Мы шли по широкой пыльной лестнице, по прорастающему гравию, мимо ближняго пахнущего гнилью пруда. Прасковья Дмитриевна принималась жевать, словно зубы мешали ей; прогулка волновала ее.

— Вот здесь, в один красивый день, неожиданно приехал к нам мой брат, — и она останавливалась и долго смотрела на давно поваленные, сгнившие боковые ворота сада.

Брат, от которого она уехала, от которого тайно венчалась, через несколько лет после ее свадьбы появился в Роканвале. Граф заплатил его долги и поселил во флигеле. Он прожил недолго. Однажды случилось что-то: кажется, граф запретил Прасковье Дмитриевне целовать брата перед сном. Произошла короткая, безобразная сцена: граф был сильнее, ловчее, тот — старше, неповоротливее, а главное тот не ожидал, что будет выкинут из замка по ступенькам, на плиты двора...

— Уже домой пора, уже время, — стучала по руке моей Прасковья Дмитриевна.

— Еще разочек вокруг этой клумбы! — и я увлекал ее к высоким крапивным зарослям. — Ну и дальше, что-же было дальше?

— Домой, домой, assez, — и голова ее начинала подергиваться, она топотала от меня в сторону, а я пускался за ней и так и не получал от нее последних строк этой странной истории. Солнце стояло над деревьями, и был душистый, ясный, летний день, но ей казалось, что уже вечереет, что уже сыро, что фетровые сапожки перестают ее греть.

Проходя мимо столовой, она непременно останавливалась, вытягивала палочку в направлении радио-аппарата (огромного ящика, одной из первых моделей) и задохнувшись, говорила:

— Un peu de Schumann?

И если Шумана нельзя было в ту минуту поймать, она сердито молчала, подозревая, что кто-то что-то унес, иначе не может быть, чтобы в этом ящике, где вчера был Шуман, сегодня его не было.

Потом она останавливалась перед длинным, рыжим, мутным от сырых зим роялем, и я видел, что она глубоко-глубоко что-то роет в мыслях, какие-то воспоминания.

— Он играл здесь, — проговорила она однажды, — а я нарочно (смешок) шумела: закрывала и открывала окно, чтобы он не очень-то воображал.

— Кто играл здесь, Прасковья Дмитриевна?

Она смотрела туда, где над роялем в безобразной рамке из венецианской мозаики и слоновой кости, между настоящими потретами конца XVII века, висела фотография носатого мужчины.

— Мосье Сэн-Санс, — сказала она, и опять, уже молча, стала рыться, рыться, забыв и про меня, и про все на свете, словно отделившись в какой-то своей обособленной жизни, все удаляясь, все отчуждаясь, и душевно и телесно становясь почти-что призраком самой себя.

Закрывалась высокая дверь, и я оставался один. Птицы невыносимо шумели в одичавшем саду, солнце слишком тяжело светило, и я думал о том, что в сущности, еще неизвестно, кому из нас все это принадлежит: ей или нам; я думал, что вот — старые камни, а вот — старые деревья, а вот и старый человек, и может быть не она, а мы все не совсем здесь у места. И еще я думал: неужели и мы станем такими же, как она, как ее трюмо, как эти липы, и будем отражать для кого-то — или не будем — двадцатые годы нынешнего века, и я, и Жан-Поль и пятнадцатилетняя Кира, от влажного голоса которой стучит мое сердце?

3.

Мысль о том, что я влюблен в пятнадцатилетнюю де-

вочку, наполняла меня счастьем и страхом. Самому мне было в то время 19 лет, товарищи мои влюблялись в сверстниц, — почти всегда счастливо и не мятежно, — и женились рано. Кроме того, в моей любви к Кире было одно неоправданное ожидание: из взрослой молодежи, кроме Жан-Поля и меня, в то лето в замке гостили две девушки: старшая кирина сестра Мадлэн и подруга ее, молоденькая англичанка, со смешным именем Юна, которая почему-то считалась невестой Жан-Поля. Таким образом, тут, несомненно, ждали меня для Мадлэн, и это в нее, по общему расчету, следовало мне влюбиться.

В тот первый день, когда, ошеломленный роканвальской аллеей, ошеломленный знакомством с графиней Прасковьей Дмитриевной, ошеломленный замком и садом, и тишиной, и бедностью, и пышностью этого старого гнезда, я лежал на своей постели перед вечером, Жан-Поль в сумерках сидел на стуле, и пытался уверить меня, что «la grand'mère» выжила из ума лет 20 тому назад, еще при жизни деда, что происхождение ее от французских родственников утаивалось, а из ее родных был известен только некий полусумасшедший и весьма непрезентабельный брат, которого дедушка в оны дни спихнул с лестницы, как диванную подушку. И так далее. Рассказ этот был прерван гонгом: нас звали ужинать. И вот мы очутились за столом: Жан-Поль, Мадлэн, Юна, Кира и я, — все обитатели замка Роканваля. А графине Прасковье Дмитриевне, в маленькую боковую дверь, все тот же служитель, который меня впустил, понес на подносе чашку бульона.

Кира сидела напротив меня.

Нет, у нее не было ни тех глаз, ни тех ресниц, какие ей придал фотограф на фотографии, висевшей у Прасковьи Дмитриевны над столом. У нее было нежное и подвижное лицо такого оттенка, какой бывает иногда у чайной розы внутри, и, вероятно, щеки ее и лоб были всегда прохладными, как те лепестки. Волосы у нее были

какие-то розовые; когда она улыбалась, открывался ее рот и видны были мелкие и тоже почти розовые зубы. Смотря на меня дольше, чем следовало, она выронила вилку и, поднимая ее с полу, опрокинула стакан. Когда она выползла из под стола, она была очень красная, и слезы стояли у нее в глазах, и тогда я ахнул и уронил себе на колени кусок говядины в соусе, чтобы вывести ее из смущения и сравнять наши шансы, и не дать Мадлэн ее упрекнуть. Восхищение разлилось у нее по лицу, она глубоко вздохнула и с облегчением растопырила пальцы рук, — это у нее была такая привычка, от восторга, от радости топырить все свои десять пальцев.

А потом она повела меня по замку, вверх и вниз, в мертвые башни, на чердак, в кордегардию, и хотя ничего уже нельзя было различить в темноте, я делал вид, будто и в самом деле осматриваю что-то. Когда я взбегал за ней по каким-то лестницам, мне пришло в голову, что эти лестницы, эти стены, самый этот воздух требуют от меня, чтобы я с моим внезапным чувством ждал, по крайней мере, года три, ждал, пока она вырастет, как ждали люди, жившие здесь когда-то, и тотчас, подумав это, я схватил ее в объятие и, забыв все на свете, стал целовать ее в розовые волосы, над лбом, над ухом. Она толкнула меня в грудь обеими руками и исчезла во тьме, и я не знал, — умчалась ли она в другой конец дома, или стоит вон за тем черным выступом. И, подойдя к высокому окну, я увидел, что месяц играет в тине пруда, а разросшийся тополь уходит от меня по склону туда, где начинается остальной мир...

— У тебя когда-нибудь была гувернантка? — спросила она меня через неделю, внимательно и долго глядя мне в лицо, а я старался поймать губами ее длинные, живые ресницы. Мы сидели с ней рядом, в ее комнате, где она жила с Мадлэн и Юной, в низкой, обшитой деревом, длинной комнате верхнего этажа, с маленьким створчатым окном, которое в то утро все распахивалось.

— Нет, не было, — ответил я.

— Ты, наверное, удивляешься, что у меня нет гувернантки?

— Немножко.

— Это потому, что у нас нет денег, — сказала она спокойно.

Я хотел возразить.

— Слава Богу, у нас нет на это денег! — повторила она. — Я думаю, что скоро, если только я не выйду замуж за богатого человека, я буду служить в конторе.

— Почему в конторе? Бог с тобой!

— Это будет чудно. А когда бабушка умрет... Как ты думаешь, она скоро умрет?

— Она может прожить еще лет двадцать.

— Что ты! Разве живут до ста лет?... Да, так вот, когда бабушка умрет, — она остановилась, — Роканваль, — она опять остановилась, — про-да-дут.

— Да что ты?

— Продадут! — вскричала она с восторгом и растопырила пальцы. — Сперва продадут деревья, — с этого начнут. Липы, тополя, сосны — знаменитые, которых никакой червяк не ест, из которых строят все самое лучшее во Франции. Потом — дом с кусочком сада — под богадельню или санаторию. Потом разрушится сама собой каменная ограда, и землю разобьют на маленькие участки и продадут их в рассрочку. И люди начнут строить такие маленькие, гаденькие домики, все одинаковые, а какие останутся кусты, — обведут проволочным забором. И вот поставят там грамофоны, и развесят сушить белье, и посадят кругом цветочки...

Какая-то грустная радость была в ее голосе. Она вдруг замолчала, прижалась ко мне, обняв меня за шею. Мне было грустно и хорошо, так хорошо, как еще никогда с ней не бывало. И вдруг мы услышали странный шорох, тихий звук, идущий не то с потолка, не то со стен. Я удивленно прислушался.

— Это червяки, — сказала она. — Точат дерево. То-

чат Роканваль. Тихонько точат. Тут, видишь ли, не из нашей сосны строили, из простого дуба. Эти комнаты дедушка отделал наспех, когда у бабушки начались дети, а деньги кончились.

Она говорила все это так просто, так спокойно, так по-взрослому, задумчиво, что я подумал: полно! Та ли это девочка, которая еще вчера притащила из шкатулки Прасковьи Дмитриевны какой-то пахучий порошок и уверяла всех, что это — нюхательный табак (он оказался сушеной лавандой)?

— Поди сюда, — сказал я ей, хотя нельзя было быть ближе. Я хотел рассеять впечатление взрослости, которое так меня всегда в ней волновало. — Поди сюда. Почему ты все это говоришь? Почему ты хочешь чтобы бабушка умерла, почему ты хочешь, чтобы продали Роканваль?

— Он какой-то... не модный.

— А разве ты любишь только модное?

— Я ничего не люблю.

— Но ведь он немножко и твой. Если его продадут — не будет ничего.

— Эка важность! Пусть не будет ничего.

— И не жалко?

— Жалко? — спросила она жестоко, звенящим голосом. — Мне ничего не жалко.

Я взял обе ее руки, сжал их в своей, и сам не знаю, почему, мне стало вдруг невыносимо, до слез грустно. Мне хотелось — я сам не знал, чего мне в сущности хотелось в ту минуту, — может быть, не жить сейчас, а быть сверстником Прасковьи Дмитриевны, или еще не родиться, а родиться когда-нибудь после, *когда все это уляжется*.

— Почему тебе дали русское имя? — спросил я, чтобы скрыть страшную тоску, которая нашла на меня.

— Так. Для бабушки. Она просила. Она очень больна была, и мама согласилась.

— Ты хочешь в Россию?

— С тобой?
— Со мной.
— Хочу.
— А без меня, вообще?
— Нет. Не все ли равно, где жить?

И опять в тишине и молчании мы услышали как древесный червь точит толстые брусья потолка, шуршит по плинтусам, будто кто-то в старой картонке шуршит шелковой бумагой, шуршит и не находит того, что ему нужно, шуршит и ищет, и не может найти, а время все идет и идет...

Мы целовались с ней в саду, под деревьями, на каменной щербатой лестнице. Иногда она заражала меня своей жестокостью, веселостью, бесстыдством. Она была девочкой, но внезапно я увидел, что и в Жан-Поле, и в Мадлэн, существуют те же непреодолимые и убийственные черты, что и в ней. И главной из них было равнодушие к семейному их крушению, и какая-то тайная черствость ко всему остальному миру, и злая радость, и нежелание ничего поправить и изменить даже для самих себя.

По пояс в траве, мы уходили в глубь сада, где разросся орешник, где дико шумела крапива, выросшая в человеческий рост, где за кирино синее платье цеплялся чертополох, где яблони стлались по земле, забитые ползучим шиповником. Где-то, в другом углу сада, Жан-Поль и Юна, кажется, решали свою судьбу, где-то одна, молчаливая, хмурая ходила, с тросточкой в руке, в огромной, мягкой, соломенной шляпе, падавшей ей на лицо, Мадлэн и вероятно искала нас.

Да, она искала нас, и я не знаю, какой именно разговор наш она слышала, что поняла из моих признаний и кириных лукавых ответов, что видела из этих первых наших долгих и нежных объятий. И я не знаю, что именно написала она в том письме своей матери, которое решило судьбу этого лета для нас обоих.

Однажды утром, во дворе зазвонил велосипедный зво-

нок телеграфиста. Мадлэн с недовольным лицом прошла мимо меня. Кира сбежала сверху и застыла на последней ступеньке в позе балетного арабеска.

— Мама велит тебе собираться, — сказала Мадлэн, вернувшись.

А Кира, не двигаясь, все стояла на одной ноге, и я вышел из комнаты.

Мадлэн усылала ее из Роканваля, ей, может быть, хотелось остаться со мной вдвоем. Кира уезжала к родным своего отца — мелкого провинциального банкира, — под Гренобль. «Ты же не маленькая, — кричал я, — ты же можешь сказать нет!». Но она пожимала плечами и смотрела мимо меня. И в те минуты я видел, что она не может сказать «нет», что она даже не знает, что нужно делать. Я взял ее за плечи, я приблизил свое лицо к ее милому розовому лицу, глаза ее медленно наполнились слезами, но не взглянули в мои глаза. И она отошла от меня, как отходит облако, и наверное, если бы только могла, сделалась бы прозрачной в ту минуту.

На следующий день она ходила прощаться с Прасковьей Дмитриевной, а затем мосье Морис — неизменный мосье Морис — выволок из конюшни высокий, зеленый Дедион одиннадцатого года, усадил ее, сел сам, и с адским шумом, в туче бензинного дыма, стреляя, подпрыгивая, выехал со двора на станцию железной дороги: здесь уже мало оставалось живых предрассудков, — их, как мертвых мух, каждый год выметали из всех углов, — но ездить в автобусе наследницам Роканваля все еще считалось непозволительным.

— Я сам не понимаю, почему это так, — сказал мне Жан-Поль, ночью, пожимая плечами.

А ее уже не было. Она уже была далеко. Где-то шумел ее поезд.

4.

Однажды ранним августовским утром я проснулся и почувствовал странное беспокойство, полную невозмож-

ность заснуть. Все было, как всегда: солнце косо входило в комнату, мимо Жан-Поля, который спал, раскинув руки; часы показывали без десяти семь, в доме все было по ночному тихо, а спать я не мог. Я встал, бесшумно оделся и, стараясь не шуметь, вышел. (Мы жили с Жан-Полем в одной комнате, как в одной комнате жили Мадлэн и Юна, не потому что в замке было мало комнат, даже в нашем коридоре их было по крайней мере шесть, но все они были запущены, убрать их было некому, да кажется не хватило бы тогда ни керосиновых ламп, ни умывальных тазов).

Я спустился, отпер дубовую, в железных заплатах, дверь в парк. Птицы свистали в кустах. День начинался ясный и яркий. Я пошел вдоль прудов, покрытых неподвижной, жирной тиной, когда то раскинутых здесь в подражание Версалю; мимо толстых пней — деревья шли на дом, падали на него, закрывали его, и их пришлось год назад спилить. Дальше шли заросли орешника, сирени, бурьяна, в которых нами же этим летом была протоптана тропинка вся в павилике и хмелю.

Я шел довольно долго. Парк становился все гуще, все сырее, все темнее. Было еще далеко до его конца — который должен был обозначиться высокой каменной оградой, бегущей за нею проезжей дорогой (низовой) и далеким полем. Я шел и шел, иногда с трудом продираясь сквозь цепкие кусты, иногда перепрыгивая через какие-то ручьи; в обе стороны от меня что-то иногда убегало, ушурхивало, взлетывало из густоты деревьев. Мне встретилась куча рассыпанных старых камней — словно кто-то хотел сложить из них мостик, и раздумал; потом мелькнуло влево от меня что-то плотное — и через минуту я увидел не то киоск, не то будку с дверью, сорванной временем, и с окном, выбитым человеческой рукой.

Пол был вымощен тем же изразцом, что и полы замка, черная клейкая паутина липла к углам, круглый, черный гриб нарос на двери, летучая мышь, повиснув

на одном крыле, качалась у потолка, давшего широкую трещину. Я взглянул на дверь, державшуюся на единственной петле и даже толкнул ее. Сбоку, на косяке, чем-то острым было вырезано русскими буквами «Роберт. Ольга. 1897».

«Роберт. Ольга», — сказал я громко, и что-то побежало от меня по траве, что-то простонало в ветвях огромного вяза. Еще раз нападал я на русский след в этом французском замке, на след, который оставляла — вплоть до Киры — бабушка Прасковья Дмитриевна. «Ольга. Роберт», повторил я опять. И вдруг в тишине сада раздался звук — мирный ход автомобиля по низовой дороге. Да, здесь, в двадцати шагах от меня, кончался Роканваль, и шла старая каменная ограда. И, вот, мимо ехал кто-то, может быть, зеленщик, может быть, владелец той новой, белой громадной дачи, о которой у нас рассказывали чудеса: горячая вода проведена там во все спальни, и обед из кухни в столовую поднимается лифтом!

Обратный путь показался мне короче. Часы на деревенской колокольне прозвонили девять раз. Я вернулся в дом. Неизменный мосье Морис, с тем выражением рассеянности и высокомерия, которое я в нем так хорошо знал, встретился мне в буфетной.

— Жан-Поль встал?

— Нет, мосье.

— А кто же там? (Из столовой, собственно, ничего не было слышно, но было ясно, что там кто-то есть).

— Monsieur l'abbé, monsieur, — и он, поклонившись мне, прошел мимо меня.

Деревенский священник в доме не бывал, но я решил, что на этот раз, это, конечно, он, тот самый, который не раз проезжал мимо замка на велосипеде — молодой, веселый, с грубыми руками и лукошком под сиденьем. Он, вероятно, явился к Прасковье Дмитриевне за какой-нибудь лептой. Любопытно взглянуть на него вбли-

зи... Я открыл дверь и то, что я увидел, на одно мгновение смутило меня.

На конце стола сидел человек лет пятидесяти, черный, с блестящими глазами, с красным, слегка опухшим лицом, и, широко расставив локти и зажав нож в кулаке, резал бифштекс.

Он был в сутане, с откинутым правым рукавом и быстро и жадно ел, пил красное вино, вытирался салфеткой, и опять припадал к тарелке, где сочилось кровью толстое мясо (мне казалось, что оно визжит под его ножом). Сверкая глазами, он громко жевал, — и что-то хрустело в комнате, — подливал в стакан, присасывался к стакану. Это было так необычно в девять часов утра, когда никто еще не спускался в столовую, и солнце еще не перешло за вон ту низкую ветку яблони, и маленькая стрелка часов еще не поднялась до верху, и я сам, неумытый, наспех одетый, стоял и приглаживал нечесанные волосы.

— Bonjour, Monsieur, — сказал человек в сутане. — Кто вы такой, смею спросить?

— Друг Жан-Поля, — ответил я.

— В гостях?

— Да.

— Un lycéen ?

— Un bachelier.

Он нахмурился, бросив нож и выложив на стол тяжелую руку.

— Скажите: ronronner.

— Ronronner.

— Вы не француз, — и он удовлетворенно хватил из банки горчицы. — Вы не можете сказать «ronronner». Кто вы такой?

— Я русский.

Лицо его вдруг изобразило тревогу, но он что-то подавил в глазах, сжал рот, сложил руки и нагнул голову.

— Так, — сказал он смиренно. — Вот и моя жена была русской. И любовник ее был тоже не француз. Друг

мой, в смерти которого меня обвиняла парижская молва, был вашим соотечественником. И моя мать, как вы знаете, опять-таки русская. — Он опять захохотал и бросил на стол салфетку.

Это был младший сын графини Прасковьи Дмитриевны, дядя Жан-Поля, тот самый дядя Роберт, который срезал гобелен в комнате матери и продал его.

Дожевав последний кусок текучего камамбера, с которого он даже не счистил корки, он встал. Он оказался меньше, чем я ожидал. «Морис», крикнул он зычным голосом, и мосье Морис тотчас явился. «Ну что-же, не будем терять драгоценного времени. Ты предупредил ее?».

— Графиня вас ждет.

Аббат вынул из кармана круглое зеркальце, внимательно погляделся в него, затем провел широкой рукой по лицу, крепко сжимая свой нос и щеки. «Иду», — сказал он, и тяжелые его башмаки на гвоздях застучали по мозаичному полу. «Прощайте, молодой человек. Желаю вам скорее вернуться в Россию».

Ровно через минуту отворилась дверь — как бывает разве что на сцене.

— Он убрался? — спросил Жан-Поль.

— Да, но он еще придет, наверное. У него, знаешь, такой аппетит...

— Нет, он не оригинален: он всегда от бабушки уходит прямо на автобус. Теперь ты видел его!

И Жан-Поль брезгливо отодвинул пустую бутылку из под вина и тарелку с остатками сыра...

Я видел его в первый и последний раз. Он приезжал проститься с матерью перед каким-то далеким путешествием, он уезжал миссионером. Это был единственный человек во всей семье, говоривший по-русски, бывавший в России, но об этом я узнал лишь вечером, когда его уже не было. Полный месяц светил в комнату, Жан-Поль курил, расстегнув ворот рубашки и задрав ноги выше головы — он говорил, что все известные путеше-

ственники любили так делать... Я сидел на подоконнике и все заглядывал вниз, в сад, точно ждал, что там непременно явится какая-нибудь белая женская тень — так полагалось когда-то, при луне. Чем-то опротивевшая мне после Кириного отъезда Мадлэн и обоим нам надоевшая Юна играли в белотт рядом, у себя, и ссорились, — слышны были их голоса, — и мы оба втайне боялись, как бы они не пришли к нам с их глупым щебетом и бессмысленной ненужностью. Жан-Поль рассказывал, — как один он умел — как будто и длинно, а вместе с тем хотелось, чтобы было еще длиннее, как будто и подробно, но хотелось еще больше подробностей.

Да, дядя Роберт был «дегенерат», был авантюрист...

— Но ведь ты сам хочешь быть авантюристом! — вставил я.

Он задумался. Да, дядя Роберт был человеком без национальности.

— Но ведь ты сам иногда... — хотелось мне вставить, но я удержался.

Он был младшим сыном бабушки Прасковьи Дмитриевны и явился на свет, когда разорение шло уже полным ходом, и ничего нельзя было ни поправить, ни спасти. Он кончил блестяще Эколь Нормаль и уехал в Россию, где изучил язык и принял православие. Он об'ездил Сибирь, а затем пропал, и на шесть лет нить его существования теряется. Говорят, он разводил где-то куниц, переправился на Аляску и гостил у какого-то индейского царька, который пожаловал его высоким чином. Когда он вернулся в Париж, его называли «русским графом», несмотря на его французское имя и парижскую юность. Здесь же, во Франции, он женился на русской барышне, встреченной на водах. Уже на второй год супружества, эта женщина стреляла в него, промахнулась и бежала с каким-то офицером. Через полгода у нее родился ребенок, — он не признал ребенка. Еще через полгода она вернулась к нему, — он не принял ее. Затем след его опять теряется. Перед войной он вынырнул уже

особой священной, и в сутане предстал перед воинским присутствием (он опять вернулся в католичество). Невероятная доблесть его стала легендой, в 1919 году о нем была написана книга, после чего он принял монашество. К этому времени у него не оставалось уже ничего ни от задора, ни от мятежных чувств, он отрицал какую-бы то ни было свою принадлежность к России, однако, как говорят, в годы гонений на католическую церковь в СССР, побывал у папы с обстоятельным докладом.

— Когда этот человек встречается мне на пути, — говорил Жан-Поль в облаке дыма и лунного света, — ты не можешь себе представить, как нарушает он во мне все, решительно все; он мне чем-то отвратителен, и вместе с тем, я не могу отмахнуться от него. Я должен, как-бы это сказать, принять его во внимание.

Молчание. Я опять смотрю вниз, — нет, никого там нет, хоть и должно быть, хоть и бывало в такие именно вечера когда-то.

— Пожалуйста, задерни занавеску и садись просто в кресло, — говорит Жан-Поль, — а то уж очень выходит поэтично. Нестерпимо противна эта луна!

— Онегин тоже находил, — бормочу я, слезая с подоконника.

— Что ты бормочешь? Послушай, поговорим о чем-нибудь дельном. Знаешь, что, прочти мне те стихи, ну ты знаешь. Они меня как-то примиряют... со всем вообще.

Я смотрю мимо него и читаю:

Ты помнишь ли Мария,
Один старинный дом,
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

И сейчас же перевожу по-французски — мне кажется, что у меня получается недурной перевод.

И рощу, где впервые
Бродили мы одни...

— Еще раз, — говорит Жан-Поль. И я опять читаю.

— I lipi vékovié nad... — повторяет он, внимательно вслушиваясь. — Дальше не могу, там слишком много ch, zch, trch... Клянусь тебе, эти стихи почему-то примиряют меня с Роканвалем!

5.

Я был недоволен, я был почти несчастлив, все было не так, как, мне казалось, должно было быть. Роканваль, со своей русской аллеей, с прошлым бабушки Прасковьи Дмитриевны, с т р ю м о, сохранившим в своей сырой глубине какие-то русские отражения, уходил от всех нас в сторону. И невозможно было следовать за ним, на его старом, романтическом и гибельном пути.

Лето кончалось. Был конец сентября, то время, когда неистовые, ветренные ночи сменяются ясными, еще жаркими днями; и выходишь утром, и ищешь следов той бури, которую слышал за ставнями, просыпаясь, когда носилось и выло что-то в трубе, и скрипело и хлопало в саду, и мело в окна дождем и ветром. Но все спокойно, все чисто, кто-то нашумел и притаился. Голубое небо высоко; молчат и сверкают высокие деревья, смочен гравий двора. Зелено-ржавая ваза у входа роняет последнюю каплю, словно полна до краев, а безголовый каменный лев уже высох на солнце. И не желая быть обманутым, я спускаюсь деловито в сад, в самую его гущу: мне нужны доказательства бывшего ночью первого осеннего налета; я иду удостовериться. И вот на меня ливнем падает вода с задетой ветки, нога увязает в гнили, и страшной уликой ложится на дорожку, на выползших красный червей, оборванная, тяжелая яблоновая ветвь, изменившая своим падением милый, привычный профиль знакомого дерева.

И так, по притаившемуся Роканвалю, мимо людей — не тех, уже не тех, какие, мне казалось, должны были здесь жить! — мимо живых, чуждых этому дому, мимо самого себя и всех нас, я шел искать те следы, которые

в первые недели моей жизни здесь мне столько обещали. Да, попрежнему воскрешая, нет — рождая в памяти исчезнувшее м о е прошлое, стояла перед входом липовая аллея; в спальне Прасковьи Дмитриевны, рядом с Распятием, висела икона в старых, суздальских ризах; женское имя русскими буквами было нацарапано на стене беседки. Я пытался воображать то «дядю Роберта», русского графа, то розовую девочку с искусственно-русским именем, то еще каких-то неведомых — живых и мертвых — людей, о которых догадывался. Но те, кто были вокруг меня, люди, жившие здесь и приезжие, были уже далеки от того действенного очарования, которое еще жило в именах и предметах.

Конечно, гости не могли приехать сюда, как мне может быть хотелось, на тройках с бубенцами, с толстым кучером с перышком в шапке. Шоффер в лаковых крагах высадил из длинного автомобиля сперва отца Жан-Поля, потом его жену, а потом и отца Юны — тощего шотландца в клетчатых чулках, такого сухого и чистого, словно он был из картона. Они приехали за барышнями — за Юной и Мадлэн, но я понимал, стоя у окна, что до всеобщего отъезда будет отпраздновано одно событие, о котором умалчивает, но хорошо знает Жан-Поль.

Я смотрел на молодую графиню. Я вспоминал слова Жан-Поля: «Четвертым браком отец мой женат на женщине легкого поведения», и от волнения ничего не видел перед собой. Она, кажется, пошла показывать шотландцу парк, пока муж, в охотничьем костюме, с ягдашем и собакой, стрелял в поле зайцев. Потом им был подан чай.

— Значит, сегодня тебя объявят женихом? — спросил я, оборачиваясь к Жан-Полю.

— Да, да, ты же видишь... Впрочем...

— Но ты сделал предложение?

— И без того все ясно! Нет, предложения я не делал.

— А когда же свадьба?

— Ах, Боже мой! Ничего этого не будет.

Он все последние дни был сам не свой, с ним нельзя было разговаривать — он сейчас же начинал кричать. Но тут вошла Юна и, ничего не говоря, положила свою голову Жан-Полю на плечо.

Нет, эти гости совсем не шли старому, гордому, тихому дому. И Прасковья Дмитриевна не вышла к ним, и они — кроме, кажется, графа — не зашли к ней. Огромные вазы Императорского фарфорового завода стояли на двух концах стола, и из них на скатерть падали толстые красные георгины. Ростбиф был пересушен, консервный горошек катался по тарелке, деревенский хлеб пачкал руки мукой. Шампанское, привезенное из Парижа, невесело стреляло и пускало свой легкий, мгновенный дымок.

Я сидел рядом с мачехой моего друга, с четвертой женой его отца, и всякий раз, когда взглядывал на нее, с трудом отводил глаза. Не то, чтобы она была по особенному хороша или красива; женщины, вероятно, нашли бы в ее внешности более недостатков, чем достоинств.

Она была довольно толста, а лицо, наборот, оставалось тонким и длинным, как бывает у женщин, внезапно располневших. Руки ее были очень малы и изобличали совершенную праздность, волосы она носила гладко. Но я затрудняюсь описать ее. Помню, что на ней было ярко-синее платье, того бесжалостного оттенка, которое не оставляет лицу ни тени теплоты.

Шотландец поддакивал охотничьим рассказам графа, Мадлэн и графиня переговаривались через меня о чужих для меня людях, Юна, склонившись к Жан-Полю, жевала, широко раскрывая рот и поводя глазами, время от времени поднимая лицо к лицу Жан-Поля, клала ему на плечо руку, на которую он не смотрел. К концу обеда, когда в кружевных чашках мосье Морис подал кофе (мне и Мадлэн под чашками были поданы грубые фаянсовые блюдца), шотландец встал, выплеснул монокль

из глаза и сказал речь, которая начиналась «милые мои дети», но в которой никаких иных намеков не было. Он смотрел на дочь и на Жан-Поля, и мы невольно повернулись в их сторону. Теперь, прямо перед собой, и очень близко, я видел предплечье, шею, синий шелк, узел темно-синих волос этой женщины, узкий от вина угол темного глаза. Я чувствовал запах, исходивший от нее, я мог сосчитать бриллианты в пряжке на ее плече, и мне казалось я слышу, как под платьем живут и дышат ее плечи и грудь. «Она назначит мне свидание», — мелькнула у меня мысль, позорная своей безотчетной глупостью, «вот где разрешится тоска этого вечера». И мне захотелось вниз, в сад, во тьму, где нам будет друг друга не видно.

Мы вышли все вместе; оказалось прохладнее, чем мы думали, и небо было черно, и вообще ночь не хотела казаться лучше, чем она была на самом деле. Она не хотела притворяться продолжением шотландской речи, выкриков графа, улыбок Мадлэн. Все на земле и в воздухе было сумрачно и тихо. Мы пошли к прудам — Юна, Жан-Поль, Мадлэн и я — а сзади догоняла нас графиня, бросив мужчин, и говорила, не слушая нас — нивесть о чем: о Париже, портнихах, о чьих-то похоронах, о том, можно ли завещать, что кому хочешь, о том, сколько стоит объехать вокруг света... Падал туман, и все рыжее и рыжее становилось окно спальни Прасковьи Дмитриевны, где горела лампа, где она еще не спала, все более предательским, все более осенним становился старый сад. Мы прошли под вязами, графиня шла уже с нами; я не слушал ее, я думал, что было бы сейчас, если бы мы остались вдвоем в саду, во всем замке, в мире, под этими деревьями, в которые уже тихонько начал падать дождик. Что было бы, если бы я стянул с нее этот ужасный макинтош...

Но мы вернулись в дом и началось прощание. Мадлэн все совала куда-то свой тяжелый чемодан, ловя полы драпового пальто, скользившего с ее прозрачного пла-

тья; Юна клала свою щеку на лацкан Жан-Поля, а Жан-Поль молчал. «Prenez soins à la grand'mère», — закричал граф; два желтых, сильных огня резнули воздух и уперлись в траву. «Мой маленький, сладкий, пушистый тигреночек», — сказала Юна, — «мой цыпленочек, мой нежный воробушек не оставит на долго своей крошечки?». «Нет», — ответил Жан-Поль. — «У меня был зонтик!», — закричала графиня. — «Какой в высшей степени приятный пикник», — произнес голос шотландца из темноты, и мотор заработал.

«А ведь, кажется, идет дождь», — объявил я хрипло, когда автомобиль провалился в ворота и все стихло, но Жан-Поль не ответил ничего. (Зонтик схватил и подал сам граф, и все было кончено, и только шумело в голове от улетучившейся напрасной радости).

Я прочистил горло и вошел в дом.

— А мы когда в Париж? — спросил я небрежно, Жан-Поль запирал двери ощупью.

— А тебе, собственно, когда надо?

— До 15-го мне решительно деваться некуда, если хочешь знать правду: мама переезжает на новую квартиру.

— Так оставайся здесь до 15-го, если не надоело.

По черным окнам галлереи уже струилась вода, и сад с шумом гнулся, шатался и грозил завалить дом: это шла осень, которую днем никак нельзя было поймать с поличным.

Я слушал ее, раздеваясь в темноте у нас в комнате. Что-то громко кричало в саду, и хотя Мадлэн не раз уверяла меня, что это лягушки, мне представлялась в деревьях громадная, полуслепая птица, чем-то схожая с графиней Прасковьей Дмитриевной. Наконец, я лег, и все удивляясь, что нет Жан-Поля, уснул. Проснулся я от шороха: он укладывался спать в своем углу; за окном было тихо.

— Который час? — спросил я.

Он не ответил.

— Сочтешь ли ты непоправимым свинством, если я уеду до тебя, оставлю тебя здесь одного с бабушкой и Морисом?

— Нисколько, — быстро ответил я (неужели он уже соскучился по Юне?).

— Я уеду не в Париж, — продолжал он. — Пожалуйста, не говори мне ничего ни о славянской душе, которая во мне просыпается, ни о тяжелой наследственности и дяде Роберте. Ох, ты многое можешь сказать, но не говори ничего. Помнишь, как мы ходили ночами по набережным и сидели у костров?

Теперь я молчал.

— Да... Послушай, ты спишь? Послушай, на прощание я хочу быть с тобой добрым и милым. Если о н а тебе нравится, то позвони ей по телефону — папы не бывает дома по утрам. Она наверное согласится с тобой позавтракать...

Я всхрапнул искусственно и слишком громко, и он умолк, и хотя мне очень хотелось переменить положение — ныла нога и онемел локоть, — но я продолжал лежать неподвижно, пока и впрямь не заснул...

— Прасковья Дмитриевна! — вскричал я, вбегая утром к бабушке, а она еще не выходила из-за высоких, рисованных своих ширм (какая-то кузина изобразила на них, годах в восьмидесятых, страуса, распушившего хвост, лилии, двух зайцев и болотистую даль с снеговыми горами на горизонте). — Прасковья Дмитриевна, простился он с вами? Когда он исчез?

— Я — больной, сказал спокойный голос, и я понял, что она лежит на своей высокой постели, под выцветшим атласным балдахином. — Я совсем больной сегодня, Boris. Нельзя так беспокоиться. Он простился со мной, он сказал, что он никогда не женится. Он хочет странствовать...

Эта, милая мне, знакомая комната, со всеми ветхими, старинными и просто старыми предметами, как будто что-то знала, больше, чем знал я, во всяком случае. Я

смотрел на ее пышное, громоздкое убранство, на тусклый пейзаж Пуссена, в простенке, на бронзовые канделябры, на описанный в каком то путеводителе по Иль-де-Франсу изразцовый камин... И вдруг, я понял, что здесь опять, во второй раз, произошло что-то незаконное, непоправимое: второй (из четырех, великолепных, трехсотлетних) гобеленов был вынут отсюда сегодня и унесен, но не вырезан ножом, как сделал когда-то дядя Роберт, а именно вынут, бережно и аккуратно; и также, как под первым, обнажилась под ним нештукатуренная стена с темными разводами, с сетью грибков у высокого, лепного потолка.

— И вот я больной теперь, — говорил голос бабушки, — я совершенно простуженный и очень нервный. Оставьте меня, Борис... И вообще я прошу никого не входить сюда, сюда нельзя... (и — беспокойно, почти сердито): В эту комнату запрещается теперь смотреть!...

6.

Колокольчик у ворот визжит тонким, пронзительным звуком, кто-то дергает его в третий, в четвертый раз, кто-то звонит, звонит, сливая в долгую, резкую трель этот звон; ночь, черная сентябрьская ночь на дворе, упавшая, почти без сумерек, холодом и мраком на деревья, оборвавшая первые бурые листья. Во всем доме — я один, и сердце мое начинает стучать гулко и часто, потому что я уже понял, что мосье Морис и жена его, в их полуподвальной спальне с окнами в сад, не слышат, что кто-то звонит у ворот и требует в этот поздний час, чтобы его впустили. Я вскакиваю с постели, хватаю с вешалки пальто и в войлочных туфлях на босу ногу, чиркая спичками, держа в руке подсвечник с оплывшей свечой, бегу по темному коридору, сбегаю по лестнице, миную первую гостиную, вторую (где холодно, и белеют чехлы), потом — галлерею, где мелькает мысль, что мой свет уже видит тот, кто стоит за воротами. Но

колокольчик дрожит опять, нечисто, тревожно, я бросаюсь вниз, мимо кордегардии, во двор; холодный ветер хватает меня за волосы, я режу двор по диагонали; черное небо; черные деревья шумят по другую сторону ограды; черные ворота, к которым я припадаю, оказываются вблизи светлее всей этой ночи. «Кто там?» — кричу я.

Колокольчик перестал рваться.

— Да отоприте же, — говорит женский голос по-французски, — оглохли вы все, что ли?

Я обеими руками поворачиваю громадный ключ и отваливаю дверь. Из темноты выходит ко мне незнакомая женщина, — я вижу, что это женщина, но какая она, кто она, увидеть не успеваю, — она обходит меня и впереди меня идет к замку, словно ей знаком каждый камень этого старого двора. Я иду за ней, и так мы в молчании приходим к входу; на каменной лестнице, на широких перилах, оставлена мною свеча. Страшная тень подготовляет меня к тому, что я сейчас увижу: передо мной незнакомое лицо, с которого смотрят большие злые глаза; перед мной женщина лет тридцати, усталая, измученная, с большим животом и той невыразимой бледностью щек, которая бывает только у беременных.

Насторожившись, она стояла так внизу лестницы, сдвинув брови, смотря на свечу и не взглядывая в мою сторону. Башмаки ее были в грязи, пальто измято, будто оно недавно вымокло и высохло у нее на плечах. Из под шляпы падали прямые волосы; их оттенок напомнил мне что-то: они были рыжими с розовым отливом.

— Проводите меня к бабушке, — сказала она, продолжая принимать меня за лакея и тяжело вступая на первую ступеньку.

— Простите, но графиню вчера увезли.

Она поймала стену левой рукой и, наконец, вперила в меня тяжелый взгляд.

— Если вы не проводите меня к бабушке, я сама пойду. Не велели пускать?

Я обяснил ей, что Прасковью Дмитриевну вчера увезли в Париж, что я вызвал к ней графа, что сегодня я звонил ему по телефону: у нее оказалось воспаление легких и, вероятно, она не перенесет его.

По бледному лицу женщины вдруг потекли слезы.

— Кто вы такой? — спросила она тихо.

— Я... зажившийся гость, завтра уезжаю. Я сейчас разбужу мосье Мориса.

Но тут она метнулась ко мне и схватила меня за рукав.

— Нет! Не уходите. Не надо Мориса. Он потом всем скажет, что я была тут и какая стала.

Она перевела дух.

— Я посижу здесь до света. Дайте мне кресло. Когда уходит первый омнибус?

Она еще что-то сказала, но так тихо, что я не разобрал. И это бормотание опять напомнило мне что-то, и такая жалость к ней вдруг проснулась во мне, — жалость, смешанная с любопытством, — что я сказал:

— Пожалуйста, пойдемте к нам в мезанин. В доме нет никого, вы наверное проголодались. Я сейчас принесу из кухни, что осталось от ужина; простите, хозяйство здесь небогатое. А потом я вам постелю постель.

Из всего, что я сказал, она поняла только то, что в замке никого нет.

При свете керосиновой лампы она теперь сидела за нашим столом наверху, по ее просьбе я плотно закрыл наружные ставни. Она ела сыр и пила красное вино — все, что я мог найти в холодной кухне.

— Значит, бабушка при смерти? — спросила она меня вдруг, — а еще неделю тому назад она мне писала и была здорова.

— Она вас звала сюда?

— Да, она мне писала, что осталась одна, и я могу

к ней приехать, когда захочу — ведь, я не видела ее больше года, когда поссорилась со всеми ними.

Она беспокойно оглянулась.

— Я вам рассказываю все это, но доверия у меня к вам нет. Хотя вы такой любезный и добрый. Я ведь разбудила вас? Это потому, что я шла пешком от Лэ Руа.

Я не садился и старался держаться далеко от нее, ступать тихо, говорить мало.

— Это чья же комната?

— Вашего двоюродного брата и моя.

— А рядом?

— Рядом жила Мадлэн.

Она опять заплакала беззвучно, сидя неподвижно, не закрываясь ни руками, ни платком.

— И Кира была здесь?

— И Кира.

И вдруг я понял окончательно, кто была она: эти розовые волосы, это нежное, так рано поблекшее лицо, этот слабый голос выдали мне ее, наконец. Это была старшая Кирина сестра, о которой никогда не говорилось в замке.

Она сидела так и плакала. А я стоял — все в пальто и в туфлях — у двери, и не мог не смотреть на нее.

— Что же будет теперь? — спросила она.

— Теперь вы ляжете и уснете. А я возьму вот эту кровать и тихонько, совсем тихонько, только пожалуйста не волнуйтесь, вынесу ее в коридор и лягу тоже.

И я постелил ей на кровати Жан-Поля, а свою выдвинул за дверь.

Она долго не тушила лампы, и я долго из темноты смотрел на полосу под дверью, на звезду, сиявшую мне из дверного замка. Прямо передо мной, в конце коридора на площадке лестницы, было окно с матовым стеклом, и постепенно оно начало сквозить какой-то мутно-серебряной изморозью — это низко, под самое утро, где-то взошла и через час упала луна. И тогда со мной

случилось что-то странное, я потерял чувство времени. Сначала мне показалось, что это рассвет, потом представилось, что это не коридор вовсе, а узкая больничная палата, где я лежу, но не сейчас, а Бог знает, сколько лет тому назад. Чем то северным сквозило окно. От белых стен исходили призраки. Хирургическая, морг, чистилище — все оказывалось как то рядом. Словом, вероятно, это был сон, потому что на яву я никогда не мог бы ощущать такой оторванности от настоящего.

Я спал в пальто, и когда утром приоткрылась дверь, вскочил сейчас же. Она была уже одета.

— Я провожу вас, я только оденусь, — сказал я ей, и она вышла. — Подождите меня внизу.

Едва одевшись, я уже искал ее по дому; она стояла посреди одной из зал и в лице ее опять была такая печаль, что меня снова что то схватило за сердце.

— Двадцать лет тому назад, — сказала она, не обращаясь ко мне, и все-таки, вероятно, радуясь, что есть человек, который ее слышит, — двадцать лет тому назад, когда я была совсем маленькой и был еще жив дедушка, здесь стояли такие громадные кресла, в которых можно было свернуться и спать. И как все тогда любили друг друга!

Я слушал молча.

— Я ведь старшая внучка. Потом уже они все. И как всегда всем хотелось, чтобы все у меня было хорошо счастливо, а, главное — прилично, а вот вышло не счастливо, не хорошо и совсем не прилично, и только бабушка одна, только она... У нее у самой нет денег, а она посылала. И даже увидеть захотела.

Она подошла к окну.

— Боже мой, — она глядела на в сизом утре блекнувший сад, — что сталось с Роканвалем! Как дико все, как уныло! И какие-то посторонние люди, — теперь она говорила не для меня, — какие-то чужие люди принимают меня...

Я все ждал.

Она обернулась, что-то вспомнила, быстро, насколько могла, прошла мимо меня, спустилась по лестнице, уже не боясь быть увиденной, пересекла двор. Я отпер ей ворота.

— Прощайте, — сказала она. — Спасибо.

Но я проводил ее узкой улицей до деревенской площади, помог войти в высокий, синий, уже почти полный омнибус (в Лэ Руа был базарный день, и старухи в черных фартуках и соломенных шляпах трещали о своих делах). На секунду все смолкло, какой-то парень встал и уступил ей место. Она села, ни на кого не глядя.

Когда омнибус, качнувшись, отъехал, я почувствовал, что непременно, сегодня же, и не днем позже, надо уехать отсюда и мне.

А на площади против самой церкви, из двух-этажного деревенского дома, голося и причитая, женщины выносили свой домашний скарб. Большая желтая афиша объявляла суконным языком, что за неуплату долгов будет нынче утром продаваться с молотка имущество мосье Дюпона. Тарелки, подушки, кофейная мельница, старая плита, кресло без ножки, буфет уже стояли во дворе, в куче; и начинал стекаться народ. Сперва робко, смущаясь происходящим, потом все смелей, потом нагло подходили люди рассматривать, ворошить чужое добро; они садились в кресло, скрипели дверцами буфета, крутили кофейную мельницу. Два маленьких мальчика стояли тут же и без слез провожали то, в чем до сих пор жили.

Я вернулся в замок.

Нет, отсюда ничего еще пока не было вынесено, и роканвальский знаменитый и гордый скарб не был еще выброшен на посмеяние прохожим. Все еще продолжало быть цело, на месте, хотя в Париже и умирала Прасковья Дмитриевна, хотя черви и точили брусья старых наших потолков. И дом этот не пал еще, как Дом Эшера, и никакой вообще сказки не было за этими, мхом заросшими, высокими стенами. Это просто наступала

осень, и я возвращался в Париж; рушилось лето и отлетал призрачный, одному мне еще дорогой дух этого старого, чужого праха. Испарялись какие-то впечатления, какие-то образы принимали неверный оттенок. Все явственнее вставали впереди: — университет, мама, новая квартира, может быть — свидание с мачехой Жан-Поля, может быть — открытка от него самого, из Александрии, Лимы или... Москвы. Может быть — на похоронах бабушки — запретная встреча с Кирой. Все это казалось таким приятным и обыкновенным: я знал что оно будет, что оно возможно. Я увязывал книги, запирал чемодан и шел прощаться с мосье Морисом, и все, что покидал я в тот час, так печально и безнадежно затихало за мною: затихали наши комнаты, затихали гостиные в чехлах, затихала лестница; в тягучем шопоте осени затихал парк; в последний раз стукнули и стихли ворота, и заскрипел ключ, и смолкла надо мной м о я аллея, похожая в это утро на памятник чему-то чего давно уже нет, ни здесь, ни в моей стране, нигде на свете.

1936.

Лакей и девка

I.

Она была дочерью петербургского чиновника, дослужившегося до действительного статского советника, человека с узким, длинным лицом, подозрительного, болезненного и всегда всем недовольного. Мать ее была женщина до такой степени схожая с женами других петербургских чиновников, что когда она умерла, Танька, которой шел пятнадцатый год, в памяти своей уже не могла отличить ее от других дам, бывавших в доме, больно бравших ее за подбородок, говоривших друг с другом — истерически хохоча и ненатурально играя лорнетками — о прислугах, Гостином дворе и благотворительных комитетах.

В доме появилась гувернантка, но не ужилась, не совладала со старшей, с Лилей, за которой в гимназию приходил какой-то гардемарин. Таня и Лиля научили ее пить мадеру, произносить нецензурные русские слова и уверили, что нижний жилец без памяти влюблен в нее. Однажды, когда никого не было дома, гувернантка потихоньку вынесла свои вещи, сложила их на извозчика и уехала, оставив его превосходительству записку, что она больше не может.

Это было за год до революции. Отца назначили в Сибирь, и все трое переехали в Иркутск. Четвертой

была Элла Мартыновна, старая гувернантка матери, сухая, как кость, с когда-то блудливыми, а теперь подслеповатыми глазами. Буфеты, рояль, две копии с картин Шишкина и французские ковры тоже были перевезены. И началась в Иркутске, в огромной, казенной квартире, среди новых знакомств и новых удовольствий, по старому безалаберная жизнь.

Элла Мартыновна ограждала от отца. Впрочем, он очень скоро завел шашни с вице-губернаторшей, не шашни даже, а тягучий нервический роман. Пожилая, толстая вице-губернаторша и кавалер Станислава второй степени встречались на уединенных дорожках городского сада или за городом, на берегу пустынной Ангары. Иногда они выбирали для этого лунный вечер и присаживались, когда бывало не слишком сыро, на травку или сухой пенек. Они играли в молодость, в Мопассана, в беззаконность, а над его сюртуком и ее пенснэ смеялся весь город.

А в это время, в душной шашлычной, где звенела зурна, где вертлявый, безлобый, перетянутый, как оса, черкес танцовал лезгинку, Лиля, высоко заложив ногу на ногу (а справа напирал знакомый армянин), курила, задыхалась в дыму, щурилась, отставляла мизинец от мокрого стакана и выходила в уборную: еще почернить глаза, еще и еще попрыскаться духами.

Танька в эти вечера сердитая сидела дома и думала. Она думала о том, что бы ей такое натворить? Чем бы стать? Вот-вот должна была наступить настоящая жизнь, надо было приготовиться к ней, не прозевать, не попасть впросак. Выйти замуж, как можно скорее? Или стать опереточной дивой? Или сделаться писательницей, описать историю собственной души? Элла Мартыновна гадала ей, мусоля длинный, жилистый палец, и всегда выходило одно и то же: кто-то портил ей, кто-то завидовал, кто-то становился поперек пути, но она преодолевала все препятствия, и соединялась законным браком с мужчиной темной масти и при деньгах.

И опять — отъезд, на этот раз без буфетов и копий Шишкина, — отъезд в Японию, бегство. От кого? Кстати — и от вице-губернаторши, но главным образом — от большевиков. Зашиваются в корсеты царские кредитки, и Таня надевает корсет, и Лиля, и Элла Мартыновна. В хрустящих от кредиток корсетах, в тяжелом, обвисшем на одну сторону сюртуке, опять вчетвером, как самая тесная и друг без друга не могущая дышать семья, они едут в Нагасаки, они бегут. На большом пароходе, под вежливый лепет японцев, Лилю рвет кровью, ей приходится спуститься и лечь. И Танька, поздно ночью, на палубе, среди каких-то мешков и ящиков, прижатая пожилым инженером к борту поцелуем, вдруг понимает: да ведь ей без Лили во сто раз веселей, свободнее, легче, ведь она без Лили всем нравится. Ведь ей рядом с Лилей житья нет.

Лиля красива, но по приезде в Японию, Таня замечает, что задор ее начинает пропадать, сдает изощренная лживость, и самое лицо — правильное, бледное, длинное — начинает становиться строгим и скучным. По утрам Лиля много молится, в медальоне у нее — портрет царя. А к весне она совсем стихает, не шьет себе платьев, ни с кем не целуется, закладывает волосы на затылке трагическим узлом и говорит, что жизни не хватит ей отмолить Россию.

— С чем тебя и поздравляю! — кричит ей на это сестра.

У Тани мелкие, редкие зубы и нежная, неестественно нежная кожа, и даже когда она была подростком, не было у нее на теле шершавых мест. Под узкими с толстыми веками глазами у нее веснушки, нос толстый, и неправилен овал широкого лица. Она невысока и слишком полногруда, руки у нее большие, хваткие, походка кренит на одну сторону. Но вот проходит несколько месяцев, и кругом Тани — мужчины, между собой откровенно говорящие о том, что она как-то особенно умеет подаваться всем телом, когда ее целуешь, а на

Лилю никто уже и не смотрит, и ходит упорный слух, что ей скоро тридцать лет.

Был, однако, среди этих, громко ржавших над анекдотами и много евших, певших романсы и хватавших Таню в объятия мужчин, один, по имени Алексей Иванович, готовившийся в контр-разведку и потому знавший японский язык, теперь служивший в японском банке, человек кроткий, болезненно брезгливый к чужим вилкам и стаканам, с большими, неподвижными, почти голубыми глазами и словно нарисованными глупыми, черными усиками. Он приходил и уходил вместе со всеми. Но однажды Элла Мартыновна сказала, что «трефовый король на лестнице признался бубновому, что Танюша — прелесть, но что влюблен-то он, собственно, в Лилишу». В самом деле, этот Алексей Иванович вообразил почему-то, что мелькнувшая ему два раза в коридоре девушка, с трагическим узлом волос и нездоровым цветом лица, и есть именно то неземное видение, воплощения которого он ждал всю жизнь. На следующий день Лиля вышла к гостям сильно напудрив свой правильный, хрящеватый нос и приколов к груди какую-то фарфоровую птицу. Она закидывала голову, мучила свои длинные, жилистые руки, как-то особенно многозначительно кашляла, а через месяц Алексей Иванович сделал ей предложение.

Таня в первый раз растерялась. Она не спала ночь, закинув руки, ухватившись ими за спинку кровати и выгнувшись всем телом, пока не омертвела вся. Ей казалось немыслимым, невероятным, чтобы кто-то предпочел ей Лилю. Нравился ли ей Алексей Иванович, она не знала, но это был единственный человек — из всех, кто к ним ходил, — который не пытался ее целовать и мять, который не шептал ей сальностей, который вообще совершенно не обращал на нее внимания. Она только теперь сообразила все это. Мысль, что кто-то обошел ее, что с проигрыша начинается жизнь, была ей невыноси-

ма. И черные усики и неподвижные глаза постепенно стали для нее каким-то нечаянным соблазном.

...Она пришла к нему часов в десять утра, в воскресенье; он только что оделся и ходил по комнате еще босой (у него потом оказалась эта привычка). «Очень рад, Татьяна Аркадьевна. Польщен. Чему обязан таким счастьем?» — спросил он улыбаясь и большими белыми руками подставляя ей кресло. Она была в шубке и меховой шапочке и с удивлением смотрела на его босые, чистые ноги. «Я пришла на пари, — сказала она, еще не зная, как выпутается из этого, и не попадая зубом на зуб, — сама с собой пари держу»». Он громко захохотал: «Сама с собой», — повторил он вовсе не замечая, что она волнуется. «Смотрите!» — сказала она вдруг глухо и распахнула шубку: чулки кончались широкими атласными подвязками (вчера купленными), потом шли батистовые, в смятых воланах, панталоны на тесемках, а больше на теле Тани не было ничего; ее нежная, неестественно нежная кожа отливала чем-то голубым, а тени под грудью и соски были оранжевыми. Она сидела, не двигаясь несколько мгновений, ноги ее были крепко сжаты, один чулок был натянут выше другого. И внезапно она сделала одно движение... Она уже не помнила, откуда взяла его: все тот же Мопассан, или просто Марк Криницкий, или даже безымянный автор одной книжки, проглоченной еще в Петербурге. Но главное пришло к ней само: в криках и судорогах она выказала Алексею Ивановичу такую страсть, которой научилась в снах.

Алексею Ивановичу всегда казалось, что жизнь состоит в том, чтобы ступать как можно осторожнее и преимущественно смотреть себе под ноги — как бы не провалиться в какой-нибудь открытый люк. Смерть была таким люком, и все, что неожиданно, грозно меняло жизнь, было таким люком — революция воображалась дырой, куда провалились брат и отец Алексея Ивановича, и которую сам Алексей Иванович миновал. И еще

были какие-то неизвестные ямы, куда могла соскользнут нога. Страсть к Тане на следующий же день показалась ему именно таким страшным провалом, куда он с грохотом и ужасом, босоногий, с перекошенным лицом, в разодранной рубашке, провалился, пересчитав коленями какие-то ступени и больно треснувшись головой о невидимый выступ. Это была спинка кровати, о которую он ударился лбом, после чего от боли, ярости и счастья почти потерял сознание. А через неделю к нему вернулась его кротость, его улыбка, слюдяной блеск больших, плоских глаз, и он женился на Тане, и уехал с нею в Шанхай —расслабленный, с потерянным выражением лица, с внезапной худобой и дрожью в теле.

Она была довольна и мужем, и Шанхаем, и тем, что бросила дом, и девять лет с Алексеем Ивановичем, во время которых она имела короткую связь с американцем и невеселый роман с женатым русским, родила мертвую девочку и однажды ездила к отцу, прошли спокойно, и так как она никогда не думала о настоящем, а если думала, то только о будущем, то прошли они и вполне бесследно. В Японии уже ничто не напоминало ей юности. Отец лежал в параличе, Лиля служила переводчицей в экспортной конторе, она дурнела и старела. Эллы Мартыновны уже не было в живых. К концу девятого года Тане захотелось в Париж, куда уезжали многие, и Алексею Ивановичу захотелось в Париж — ему, впрочем, всегда хотелось того же, что и ей. Он все обдумал, как ему казалось, очень основательно (что стоило ему немалых усилий); он бросил службу. И вот они уехали — искать счастья, как говорила Таня, все думая, все загадывая о каком-то будущем. Но не совсем ясно было, как именно представляет она себе это счастье, свое счастье в частности, свое и Алексея Ивановича парижское счастье.

Главным козырем, с которого Алексей Иванович надеялся ходить в Париже, был японский язык. Он верил, что может принести им кому-то там огромную

пользу. Но через четыре месяца, когда деньги были на исходе, работы никакой все не было, а были лишь осложнения с визой и паспортами, и с языком французским, которого из них обоих ни один не знал, с Алексеем Ивановичем начали приключаться какие-то припадки: он бил и ломал все вокруг себя, страшно ругаясь и сквернословя, и вовсе потерял сон. В бессонницу, босой, он шагал по комнате маленького отеля, где они теперь жили, а Таня билась головой по подушкам. И вскоре в гостях, у дальних родственников (хозяин был священник из гусар), с ним случился его последний припадок.

Это было за городом; дом стоял в низком, сыром саду. Окно было открыто, и комары летели на лампу, обжигались и падали в вазочку с вареньем. Все было очень похоже на Россию: медный самовар стоял на краю стола, в него подливали кипяток из чайника, согретого на плите. «Матушка» с розовыми ногтями и перикисью крашенными волосами рассказывала какие-то истории про незнакомых людей высокого рождения. Гости пили чай, а от яблочного пирога оставался на блюде один треугольный, короткий кусочек.

И вдруг Алексей Иванович прервал речь хозяйки и звенящим, рыдающим голосом объявил, что ему жарко. «Пересядьте к окну, — сказал священник из гусар, — ночной бриз освежит ваше истомленное тело». Но Алексей Иванович вскочил и крикнул, что к окну его не заманишь, шалишь! Я знаю, что это такое: туда проваливаются... Некоторые взглянули на него обиженно. Но он в одно мгновение ока сорвал с себя пиджак, жилет, брюки и стянул уже один башмак, когда его схватили. Светлыми глазами поблескивая вокруг, он стоял весь в белом, и снова став кротким и улыбающимся, чернел глупыми своими усиками. Однако, он отбивался так жестоко, что пришлось вызвать карету скорой помощи, и два санитара накинулись на него,

сбили с ног, подмяли и поволокли по дорожке, пока он громко бредил какой-то чепухой.

Через несколько дней он умер в больнице, в отделении для буйных, опухший от побоев, полуседой, со сломанными передними зубами. И Таня осталась одна в Париже, в комнате дешевого отеля, куда приехала «искать счастья».

Она осталась одна. Начинался день, как жизнь, серый. А она не хотела такого дня и такой ночи, долгой и мертвой, когда в голову шли рассчеты: сколько еще осталось денег, и что можно на эти деньги купить, и где найти такого мужчину, за которого можно было бы спрятаться, который бы думал обо всем, и платил бы за все, и делал бы подарки, и обожал бы, как это бывает, как это, вероятно, бывает у всех, как это есть у встреченных здесь двух петербургских подруг, у одной шанхайской знакомой, словом, у женщин, которых, как ей казалось, она знала. Начинался день, и она принималась ходить по магазинам, почти никогда ничего не покупая, но выбирая, прицениваясь, роясь в чулках и перчатках, жалея денег и в мечтах волнуясь до сердцебиения, воображая на себе то эту, то ту шелковую или меховую тряпку. Она перебирала вороха кружев, пересыпала в пальцах пуговицы, все сомневаясь и боясь купить не то, все продолжая носить на себе вытертую рыжую лису с толстым, свалявшимся хвостом, висевшим на плече, и черную пыльную шляпу с черным цветком, которая должна была изображать траур. Ей было теперь тридцать два года. За время замужества и после мертвой дочки она потолстела, но лицо ее было все так же ослепительно свежо и теперь, грязно и неумело накрашенное, оно все еще обращало на себя внимание.

Она приходила иногда к этим своим Надькам, Марусям, Таточкам, и то одна, то другая дарила ей что-нибудь: пару чулок, с упавшей петлей, старую сумку, с разбитым зеркалом. То одна, то другая, в быстром,

неряшливом разговоре, приоткрывала перед ней угол своей жизни, и у Тани захватывало дух от дикой свободы страстей, денег, праздности, холи и счастья; она ловила, хватала эти крохи и уносила с собой, к себе, чтобы ночью стараться понять: что-же, собственно, за жизнь — их жизнь, не ее жизнь, где все так весело, прочно и покойно? Потом она шла к другим, которые ничего не дарили, жили бедно и работали. Среди них была Белова, портниха, и тема разговоров была всегда одна и та же: что носят? И как сделать так, чтобы как можно дешевле и как можно лучше одеться? И у Тани подкашивались ноги, когда она слышала, что от одной ничтожной ошибки, от неправильно вшитого рукава или не так срезанного ворота, может к чорту пойти и платье, и вся судьба. Была еще одна— высокая, крашенная, озлобленная, по имени Гуля, испробовавшая с десяток профессий. Она когда-то обучалась в институте красоты, была манекеном, но потом страшная болезнь и два выкидыша обессилили и скрутили ее, и теперь она подавала в ресторане, где била посуду и грубила клиентам.

А Таня все ходила по домам, по магазинам, по улицам, до одури всматриваясь во встречных женщин, вслушиваясь в язык, который не всегда понимала, до полного отупения мысленно вымеривая, прилаживая что-то, перебирая бессонными ночами все, что видела и слышала днем. Надька говорила: «Милая моя, тебе прежде всего надо научиться мыться, ты мыться не умеешь». Белова клялась, что ей надо выкраситься в рыжий цвет и носить одно черное. Кто-то умолял ее похудеть, — но во всем этом сквозило их равнодушие, почти презрение к ней. И только Гуля никогда ничего не советовала, хотя, вероятно, знала лучше всех, что Тане нужно делать.

И вот постепенно, никому ничего не говоря, Таня стала преображаться, помня все время, что денег и уменья хватит у нее только на то, чтобы сделать себя,

и к себе — одну единственную раму и в этой раме выйти... куда? В русский ресторан, где поют «Чарочку», и еще в другой, где едят осетрину и рябчиков, и наконец, в третий, в ночной кабак, где музыка уже не русская, а аргентинская, где Танька одна, ночью, с нежным лицом, грудью и руками, с толстым, мягким ртом, играя длинными ногтями, будет сидеть, тянуть через соломинку что-нибудь холодное и пьяное, и почти не смотреть вокруг себя.

В этот ночной, очень модный и всегда полный ресторан ее, однако, не впустили, потому ли что она была одна, потому ли что надо было заплатить метрд'отелю за право завести здесь знакомство, но ее отстранила рука у самого входа, и бархатный баритон по-французски, но с русским акцентом, попросил ее уйти. Она мгновенно потеряла голос от волнения, не удержалась, сделала плаксивое лицо и вышла, и пока решала, на чем ей ехать домой, какой-то веселый человек в разлетайке и шапокляке назвал ее «шармант» и чмокнул воздух в вершке от ее щеки.

Проезжий автомобиль обдал ее водой. Ехать куда-нибудь в другое место было поздно, была ночь и она вернулась, от злобы расплакалась, сидя на постели, закапала черными от ресниц слезами светлое платье, стала его чистить бензином, все испортила и хотела выброситься в окно. Но комната была на третьем этаже (об этом она потом всегда помнила и никогда не угрожала) и выходила во двор, а во дворе так нехорошо пахло, что она сейчас же закрыла окно.

На следующий день она поехала в ресторан — без музыки, без цыган, — где просто очень дорого кормили. И пока она проходила по зале, ей с одного стола мелькнула карточка, и она увидела, что меньше чем за сто франков здесь не поешь. У стен сидели, вовсе не обращавшие на нее никакого внимания, мужчины, чем-то похожие на ее отца: лысые, бородатые, жадно жующие или уже пищеварящие. Она потерянно взгля-

нула на пучеглазого, нестарого господина, ковырявшего в зубах, сообразила, что она здесь никому не нужна, и сказала, что ей надо просто позвонить по телефону.

Она вышла и поняла, что ей остается одно последнее место: тот веселый, шумный цыганский кабак, о котором ей говорила Тата. Она поехала туда. Ей хотелось есть. И тут ее встретили оркестром, усадили в угол, заботливо стянули с нее — все ее достояние — пальто с горностаем. И сразу она почувствовала, что здесь она хоть на время найдет то, что искала — и пусть это будет не сегодня, не завтра даже, но это случится именно здесь.

Скрипач под румына и певица под цыганку визжали над ней. С неба, где был потолок, спускалась влажная, дымная паутина. Пары, подрагивая, плыли мимо нее, а она, положив на стол белую руку, в которой дымился длинный мундштук, выставив обтянутую, большую грудь и светясь в этой ресторанной мгле своим лепестковым лицом, сидела и смотрела, и не смотрела. И было в ее ожидании, в тайном голоде, причинявшем в последние недели почти боль в глубине ее сонного тела, что-то схожее с томлением кисейной барышни в жасминовый вечер, в окне спящего родительского дома. Так же сильна была в ней жажда чего-то, и так же впереди все было туманно, розово и страшно.

Потом, когда позади остался грубый, голодный роман со скрипачем под румына, о котором она после вспоминала не как о человеке, но как о человекообразном; потом, когда, после полутора лет оскорбительной жизни с ним, изъеденная тоской, и ревностью, и ужасом перед завтрашним днем, она вышла из больницы после операции, похудевшая, нищая, с увеличившимися и чем-то горьким и ясным загоревшимися глазами (а скрипача не было, он поступил в оркестр и уехал в Лондон), она вернулась сюда уже догадавшись, что никто никого не обожает и не любит до

гроба, что не за кого спрятаться, что то, что случилось с ней, случается со всеми ее Татами и Надьками, но ни одна об этом не рассказывает, и значит надо врать, врать, хвататься в жизни за все, что только можно схватить, и постараться забыть, запить, задавить эту свою ошибку, эту постыдную уступку черноглазому мерзавцу, несколько раз торговавшему ею и вот бросившему ее.

Еще только иногда по утрам, просыпаясь на рассвете от раннего шума в узком, вонючем дворе, она безудержно, злобно, возвращалась к этим месяцам, к тому, что сперва было так похоже на огнем бегущий по жилам цыганский романс, пропетый шопотом в самое сердце, и что потом отдавало запахом несмененных простынь, городской канализацией в сырой ноябрьский день, когда по скатам мостовой струится что-то оранжевое, зловонное, бежит мимо горько скрученной тряпки, и страшно ступить на нее и потонуть в ней каблуком. Она лежала — час или два — погрузившись в эти воспоминания, не примешивая к ним никаких других, и потом тяжело засыпала. А днем старалась вернуть то утерянное свое чувство, тот ушедший свой облик, которые когда-то вели ее — после смерти Алексея Ивановича — на поиски чего-то, чему названия дать она не могла, но без чего она не представляла себе возможности жить на свете: это непременное, необходимое состояло из праздности и телесной сытости, — а вместе могло бы называться на ее языке парижским счастьем.

Но вечерами она возвращалась в единственное место на свете, другого у нее не было, все в тот-же цыганский кабак. И минутами ,когда она сидела там, под грохот музыки, в ресторанном удушье, полном людей, она забывала на лице выражение обиды, печали, страдания. И рука протянувшаяся к ней через столик — плотная, короткая мужская рука с открытым портсигаром — принадлежала человеку, которому понрави-

лось в ней именно ее усталое и растерянное лицо. Она взяла папиросу, отняла и положила на скатерть портсигар и сжала вдруг эту руку, и сквозь слезы вопросительно улыбнулась. «Что может быть лучше русской женщины! — закричал человек с акцентом. — Нет, скажите мне, пожалуйста, что может быть прелестнее, роскошнее, великолепнее русской женщины?» И с грохотом и визгом музыка как бы повторила этот вопрос, угождая клиенту.

Четыре года. Три раза в неделю — днем — он приходил «отсыпаться» от биржи, жены, бриджа, неоплаченных векселей, дутых чеков, кризиса, от всей своей трудной, перебойной мужской жизни. Каждый раз он оставлял ей сто франков, говорил, что только здесь, в этой очаровательной, грязненькой, дешевенькой комнате он чувствует себя человеком, а не скотом. «Женится? — думала она иногда. — Разведется? Бросит жену?» Бывало, она просила повести ее куда-нибудь: вдруг кто-нибудь увидит их вдвоем, донесет, и это взорвет его жизнь. Но он был осторожен и как только приходил, требовал свой халат, туфли, велел ставить чай и развертывал пирожные. «Не женится, никогда не женится», — говорила она себе по ночам, глядя с ненавистью на висевший за дверью его красный халат с кистями, распространявший в комнате е г о запах, стороживший е г о добро. Как она радовалась в день, когда он принес ей этот свой запах, принес пижаму и туфли. Ей казалось, что он почти переехал, и еще немного — она окончательно завладеет им.

«Можно револьвером, — сказала однажды Гуля, — только попугать. Ну представь — его переедет автомобиль? Ведь ты останешься ни с чем, как была. А годочков то прибавилось».

Но револьвером она не грозила. И вот к концу четвертого года он пропал. Сказал, что уезжает из Парижа по делу на неделю, но прошел почти месяц, —

а его все не было. Домашний его адрес, который она знала, был неверен — дома с таким номером вовсе в этой улице не оказалось. У нее был телефон его клуба, она позвонила туда. Ей сказали, что он уже полгода, как не бывал.

Она потеряла голову, заметалась по городу, хотела бежать в полицию. Денег у нее оставалось несколько десятков франков, за комнату она задолжала, она опять была одна. «Эта сволочь даже скопить не дал», — думала она о нем. В ярости, отчаянии, с развитыми волосами, немытая, она пришла к Гуле. «Ты дома? Ты не работаешь?» Гуля сидела у окна с котенком на больших своих коленях и вышивала крестом. В ресторане ей отказали, она теперь брала вышивание на дом.

«Ты тоже можешь, если хочешь, — басила она, а папироса в это время осыпалась на красный гарус, на голубую канву, — можно выработать сантимов девяносто в час. С голоду не подохнешь»...

«Но ведь есть же и другие, — думала она, — тоненькие, изящные, веселые, сытые, которые где-то служат секретаршами, продавщицами, живут с патронами, ездят на зимний спорт, покупают все очень модное... Почему не я?» И в черных стеклах магазинов она видела себя, заплаканную, постаревшую, с висящей грудью и низкими боками, идущую неровной своей походкой, без перчаток. «Вероятно, нету, — отвечала она себе. — На месяц, на два... Все врут... Все такие же, как я, чертовки». И слезы текли по ее лицу, и она вытирала их ладонью.

Рестораны? Она их теперь хорошо знала. Тот цыганский кабак закрылся, вместо него открылся другой; шикарный ночной ресторан, куда ее когда-то не впустили, был все тот-же — туда возил ее однажды Таточкин содержатель. Несколько раз с Надькой они обедали там, где она так оробела когда-то и мужчины, хоть и немолодые, хоть и похожие чем то на ее отца, были там, в конце концов, как и все мужчины, и даже

некоторые довольно пристально рассматривали и Надьку, и ее.

Но идти туда в старом корсете, не имея в сумке ста франков, было невозможно. И она еще несколько дней покидавшись по городу, еще два раза забежав к Гуле, стала вышивать.

В первый день она наработала на девять франков, во второй день — на одиннадцать. Третий день она пролежала и проплакала почти весь, наработала на четыре франка и с опухшими глазами повалилась снова в постель. На четвертый день она купила за семь пятьдесят пол-омара и съела его с майонезом — она больше всего на свете любила омары и майонез. К вечеру четвертого дня она была, как пьяная, ничего не поняла, когда с ней заговорила хозяйка (о том, чтобы она не беспокоилась с уплатой за комнату, можно и подождать). На пятый день она пешком пошла к Гуле — у нее не было на метро, и она ничего не ела. Работы у Гули не было, но ей дали кофе.

Сто пятьдесят франков — одну бумажку в сто и пятьдесят мелочью — она взяла взаймы у Надьки в тот же вечер, поужинала у нее, выслушала поток хвастливого вранья, сама ответила тем же, и с утра, истратив франка три на еду, стала думать, что ей делать. У нее дрожали руки, когда она пересчитывала деньги. У нее было два проекта и один исключал другой.

Первый был: купить на эти деньги револьвер, нажраться и застрелиться. Второй был: пойти к парикмахеру, завиться, сделать педикюр, одеться к лицу и ехать обедать, да так, чтобы непременно кто-то другой заплатил за нее, и чтобы выйти из ресторана вдвоем. Она подошла к зеркалу и сделала то лицо, которое обыкновенно делала, когда на себя смотрела, и которого у нее в другие минуты не было. И вот она принялась за себя со всем стараньем, на которое была способна.

Было восемь часов с четвертью. Она немного опаздывала, она никогда никуда не поспевала во-время. На ней было черное платье, черная шляпа открывала кверху поднятые и завитые волосы — она недавно выкрасилась в рыжий цвет, но темные корни уже сквозили у виска. Воротник каракулевой шубы скрывает ее толстую белую шею; когда она откидывает его, вырывается душистый и теплый столб воздуха и облаком ложится на ее лицо. На ногах — паутина последних целых чулок и легкие, открытые туфли. Она опять подходит к зеркалу, опять делает не свое лицо — довольное, спокойное, то лицо, какое хотела бы иметь. Она долго смотрит на себя. Хороша. Ей пошла бы маленькая собака — лишний повод к знакомствам. «Дура! Почему не попросила своего жида подарить собаку, еще вначале, когда он был такой милый». Милый? Да, он был милый, — в первый год и во второй год их... любви, скажем, когда подарил ей эту шубу, когда сносил все ее капризы, ее подозрительность, ее ужасное лицо в слезах. Потом, когда начались упреки в том, что он на ней не женится, угрозы прицепиться к нему, он перестал быть милым. И он был прав. «Можно было удержать. Сама виновата во всем, — сказала она себе вдруг. — О бессчастная, бесталанная дура!» Она была наедине со своим отражением, она схватила, качнула и захлопнула дверцу осинового, скрипучего шкафа. «Он был милым, он был добрым и он мог всегда быть таким, — словно читала она в себе самой, и что-то еще было там дальше: — а теперь ты будешь вышивать гарусом или станешь троттуарной девкой». Она закрыла зеркало рукой, чтобы не видеть выражения своего рта. «Мелко плаваешь», — опять прочла она дальше и сказала это вслух, и сейчас же опять увидела свое искаженное лицо. Уверенность в себе, в том, что то, что она сейчас собирается сделать — правильно, вдруг пропала. Лечь спать; смотаться вниз, купить полбутылки коньяку. Распить... Она за-

спешила от этих убогих соблазнов, еще раз распахнула и запахнула шубу, и ушла.

В ресторанной зале, отделанной с претензией на строгость, когда Таня вошла, было занято не более трети столиков: справа в углу — пожилой господин с пожилой дамой, в левом — молодой человек с барышней; дальше шли еще лица, мужские, немолодые, кажется (все это надо охватить в несколько секунд). Трое мужчин, занятых закусками и водкой, сидели вдалеке. Метр-д'отель хотел посадить ее рядом с молодой парой, у двери, но она прошла мимо него и села в глубине, за соседний с обедавшими мужчинами столик. Два лакея подбежали к ней, но она осталась в шубе. Сейчас же слетела ей в руки карточка, замелькал в воздухе прибор и пришлось развернуть салфетку.

«Он был милым, он мог быть милым», —повторила она себе и почувствовала, как она устала от всей этой недели, вспомнила о своем лице и слегка улыбнулась в сторону, но на нее не смотрели. В это время пришли еще двое (французы, кажется) и сели напротив нее. А она чувствовала, что не может оживиться, что ей хочется скорее поесть и уйти, что ей нужно остаться со своими мыслями. «Додумать. Выспаться. А завтра что? — мелькнуло в голове. Завтра буду, как Гуля, или еще что-нибудь... Служить пойду. В прислуги. Служат же люди. Вот лакеи бегают — служат». И она стала следить за одним из них — немолодым, высоким, лысым человеком в кургузой белой куртке, волосатыми руками что-то делающим над ее прибором. «Принес селянку. Осетрину накладывает».

— На левый стол грибки, — пробегая мимо, прошептал лакей помоложе, с картонным лицом, покачивая чистыми стаканами, ножками вверх.

— Даю, — отозвался лысый без голоса, и подставив Тане селянку, побежал куда-то, шатаясь. Она едва не потеряла его среди четырех других таких же. Она следила за ним со смутным чувством. Он показался

опять, плавая в воздухе с узким блюдом маринованных грибков, откупорил вино в салфетке, двинул в дальний угол низкий стол на роликах с сырами. «Зачем живет такой человек?» — спросила она себя, а лакей опять замелькал туда и сюда, унося грязные тарелки и вдруг Таня увидела, как в официантской, находившейся наискосок от нее, он что-то жадно сунул себе в рот с чужой тарелки. Она почувствовала отвращение.

«Зачем живет такой человек? Боже мой, зачем? Но зачем я сама живу? Для чего все это? — подумала она с жалостью и к нему, и к себе. — Зачем вообще живут люди? — Она с минуту соображала. — Для удовольствия. Да, это так. Люди живут для удовольствия. Но какое же в его жизни, в моей жизни удовольствие?»

— Осетринка, мадам, не понравилась? — спросил он почтительно, видя, что она не доела селянки.

— Н-нет, понравилась.

Он, плавно действуя волосатыми руками, унес селянку и еще что-то, и принес на мельхиоровом овальном блюде индюшечье крыло. Накладывал он, вытянувшись, действуя одними кистями рук.

— Прикажете красненького?

Она заказала полбутылки нюи. Один из мужчин, сидевших за соседним столиком, поднял на нее соловые, выпученные глаза. Мгновение — он что-то старался связать, вспомнить. «Гарсон! И сюда одну нюи», — крикнул он, поняв, наконец, что ему надо. Таня отвернулась.

«Зачем живет такой человек? — повторила она опять. — Ах Боже мой, где же он? Вот бежит с судком, качается. Какое у него лицо старое, усталое, какой череп странный. Он наверное много курит, зубы прокурил, сердце прокурил... А я зачем живу? Зачем стараюсь? Куда все это?... Для чего завтра умру, и как умру? Успокоюсь. Не буду больше завидовать, высчитывать. Остановлюсь».

С необъяснимой симметрией встала пожилая, а за ней молодая пара. Пузатый шассер на тонких, кривых ножках подал им одеться. Они ушли. Соседи требовали счет, вырывали друг у друга бумажники, опрокинули графин; наконец, главный, с соловыми глазами, заплатил. Таня долго держала во рту кусок мороженного персика и смотрела — не в лица их, а на то, как они оставляли на чай, и как лысый, с переменившимся лицом, сгибаясь в пояснице, сгребал деньги и благодарил, поспешно отставляя стулья от их спин.

Потом он передал их метр-д'отелю, а метр-д'отель — шассеру, а шассер — уже на улице — шоферу-такси, и у лакея в это время лицо опять стало прежним.

— Кофе, пожалуйста, — сказала Таня одними губами.

Ну вот, и прошел этот обед, за который она сама заплатит. Все было очень вкусно. Как опустело кругом. Вот уже тот, с картонным лицом, и другой, помоложе, несутся с ворохом салфеток, и опять — стаканы, но грязные, и ножками вниз. Есть еще французы кажется, но они теперь с дамами. Она проглядела, когда они пришли: нарядные, веселые, живучие. Вот они так — «для удовольствия»... Опять бежит этот высокий — зажигает спиртовку под фильтром.

— Народу у вас немного, — говорит Таня, и сама не знает, зачем это говорит, — это хорошо, когда народу немного.

— Так точно. Это приятно-с.

Он отходит, спиртовка горит и перегоняет кофе. Он поспевает во время.

— А за завтраком больше бывает? (Зачем я его спрашиваю, я ведь больше все равно сюда не приду).

— Как же-с. До трех часов иногда присутствуют.

— Утомительно, наверное?

— Привычка-с. Десятый год служу.

— А чем вы раньше были?

Но он, слегка припадая, бежит за сахарными щипцами. Она опять смотрит на его волосатые пальцы и ей кажется, что сквозь кургузую куртку она видит его худую, впалую, страшно волосатую, седую грудь.

— Раньше? Когда именно-с? — и он, танцуя вокруг нее кругами, смущенно пытается осклабиться.

— Раньше, в России.

— Сражался за веру, царя и отечество, — говорит он заговорщицки.

Она мешает кофе и глядит на него. Он стоит сбоку, на вытяжку, опять насколько это возможно при его сутулости.

— Вы не из Петербурга?

— Как же-с. Николаевского кавалерийского.

В мозгу ее образовывается что-то похожее на длинный коридор, она не может разобрать, что там, в его конце.

— Я из Николаевского кавалерийского знала Ахлёстышева и Цауне, за старшей сестрой моей ухаживали.

— Ахлёстышева знал. Был моложе меня на четыре выпуска.

Так. Теперь она дает ему возможность отойти, составить компотницы — одну на другую — вынести их в официантскую на лед, до завтра, вернуться, постоять у кассы, заложив салфетку подмышку, бегая глазами по последним посетителям. Еще у дверей снуют другие. Если бы она села к окну, ей подавал бы не он, а, например, этот гнилой блондин с прозрачными ноздрями... Он может отойти теперь: все известно, между ними уже образовалась какая-то тонкая, слабая связь, через Лильку и громадного, давно мертвого Ахлёстышева, которого Таня так боялась, когда была девочкой, и который однажды, схватив ее, протанцовал с ней, грубо замяв ей платье.

Он взглянул в ее сторону. Нет, она все еще не требовала счета. Он прошелся мимо нее.

— А скажите, — она думала, что он не услышит ее

бормотанья, но он услышал, и опять затанцовал кругами вокруг, наклонив на бок свой длинный череп, — вы может быть и сестру мою знали, Лилю Шабунину (а я Таня Шабунина, урожденная Шабунина, я замужем была). Нет? А Завертяевых? (фамилия смешная!). Мы там часто бывали. А еще такие Филантьевы были. Там елки устраивались, я помню, много было детей. Все — старше меня; между мной и сестрой — шесть лет. Филантьевы. Жили у Чернышева моста. Еще бывали там такие фон-Гогены... Отец мой с Киркилевичем вместе служил. Не знали Киркилевича? Его дочка теперь за Цветковым... А из Николаевского кавалерийского, нет, из Константиновского артиллерийского, я еще помню Охотникова. Его отец был шишкой.

Он подставил пепельницу под ее окурок.

— Как же-с, — механически ответил он, неловко расшаркнулся и сам пошел писать счет. Одну из белых, круглых люстр потушили, но Таня этого не заметила.

— Послушайте, — сказала ему кассирша, — ваша знакомая нас ужасно задерживает. Одиннадцатый час.

Он затрепетал счетным листком и вдруг бросился в официантскую: ему жадно, остро захотелось хоть минуту побыть одному; одиночество, тишина; возможность припомнить что-то, возможность восстановить...

Он открыл дверь в маленькую гардеробную, где было темно, пахло капустой и старой одеждой. Тут висели на худых вешалках темные лакейские пиджаки. Он узнал свой пиджак по какой-то особой легкой зернистости шевиота. Он держался за свой пустой рукав, мял его и думал.

Восстановить ему хотелось страстно, но восстанавливать он не умел. Он был из тех людей, которые при словах: «дом выходил окнами в сад», — всю жизнь представляют себе один и тот же, случайно когда-то запримеченный деревенский дом, обветшавший с годами, дежуривший в памяти безсменно. А при словах:

«поезд медленно подходил к станции», — он вечно видел все тот же черный паровоз, уже остановившийся у полуразрушенной водокачки, польскую надпись на стекле станционной двери и белесоватую синь за долгие годы приевшегося горизонта. А что не имело в памяти своего постоянного образа, то не удерживалось, то давно скользило. Но сейчас случилось с ним что-то странное: слова «Чернышев мост», «елка», как обвал, пронеслись в мозгу и то, что осталось в столбе пыли, в грохоте Таниных слов, застыло и замерло, очаровывая и умиляя сердце. Стройная девочка в красном платье тонкими, потными пальчиками давит в труху блестящий, стеклянный шар с выемкой, только что снятый с елочной ветки. Он — в мундире, он чисто вымыт, у него на золотистых вихрах — треух из хлопушки, съезжающий на одно ухо — тоже чистое. Стеклянная пыльца обсыпает руки и платье девочки... Может быть, эта дама, которая сидит там и курит, и пудрится, эта особа и есть та девочка? Нет, конечно, это не она. Тогда, может быть, это ее сестра? Нет и этого не бывает на свете. Тогда это кто-нибудь, кого она наверное знала, видела. Филантьевы... И больше ничего. Больше он ничего не может ни вспомнить, ни связать. Но и этого довольно: вдруг понеслись, покатились, помчались на него солнечные обрывки какого-то детского летнего дня, когда он повис курточкой на шпингалете, выпрыгивая из окна, и другие — смешные и грустные, и пестрые, пестрые, и такие быстрые, что нельзя было удержать их. И тугие, белые перчатки на маленьких руках, и кадетская, длинная шинель, и все то гордое и жуткое, что появилось после поступления в корпус, и дикая, дивная, вольная воля весной, и опять голубая декабрьская погода, и тот перекресток около Биржевого моста, где он навеки почему-то представил себе в туманах входящий в Малую Неву океанский пароход, распирающий берега, выростающий выше Петропавловской крепости; еще что-нибудь; гроз-

ные, рыдательные аккорды, завивы полковых труб над гробом отца. Песок и снег. И тишина. И в черном, северном небе какая-то комета, которую он углядел ночью, с подоконника. И еще что-то, и еще... Пока не оборвалось все в жизнь, в войну, в производство, в пьянство, в женитьбу, в бегство, не привело в этот чулан, в чадный мрак официантской, к чужим тарелкам, к горчице, размазанной по краям, к салатному листу, липнущему к пальцам; к недопитым стаканам, из которых он не раз хлебал какую-то на-бегу слитую смесь. Он сжал и скомкал в руках на деревянном плече худой рукав человеческого своего одеяния, он дернул его, ожидая, что раздастся колокол, раздастся набат на всю вселенную, и может быть сбегутся к нему люди... Но все было тихо; глухо доносилось сюда шарканье и голоса; все было тихо.

Тогда он открыл дверь и вышел.

Она попрежнему сидела там, и была теперь совершенно одна в полутемном ресторане. Уже сдергивались скатерти со столов; тесня ее, подвигались лакеи, составляя стулья. Метр-д'отель, без фрака, стоял перед кассой, и появился хозяин — изящный грассирующий поляк с цветным платком в боковом кармане, со свистом листавший счетную книгу. Она все еще сидела там. Она могла уйти, но она не могла уйти. Или вернее: он не мог упустить ее; она еще что-нибудь скажет ему, она еще напомнит о чем-нибудь. Какая чудесная, мягкая, летучая красота в ее лице, как непонятно все это — ее глаза, и пальцы ее, и голос; и она сказала «Ахлёстышев». Кто такой этот Ахлёстышев? Может быть, тот самый, который в восемнадцатом году... И он воскрес теперь из мертвых, воскрес и свел их вместе сегодня, здесь...

Он положил перед Таней счет.

— Позвольте отрекомендоваться, — сказал он, — поручик Бологовский.

Она выложила на стол бумажку, прихлопнула ее рукой, подняла лицо.

— Очень приятно.

Он подбежал к кассе, разменял, вернулся.

— Такое знакомство. Удивительно. Давно покинуть изволили?.. (так, чтобы только как-нибудь еще, — ну неужели ему интересно, десять, пятнадцать или сколько лет мотается она по миру?).

— Ох, давно!

Она взяла сдачу и оставила на чай. Он, с застывшей улыбкой, дернул головой, подавая кому-то знак, и пробегавший мимо с картонным лицом, огромными темными кистями сгреб деньги, прошуршав благодарность.

— Разрешите мне, — и тут он согнулся, голова ушла в плечи, а спина стала узкой и круглой, — выйти вместе? Поручик Бологовский. Не сочтите за назойливость.

— А вам разве можно уйти?

— Момент.

Теперь она увидела, что давно пора ей отсюда; она открыла и опять закрыла пудреницу, выхватила зеркало. От вина и еды ей было жарко.

Жизнь его была рассказана. Он скомкал что-то с женитьбой, и выспренне выразился о замужней дочери, которая жила в Болгарии и все собиралась к нему, да как-то не выходило. Жизнь была выболтана в час времени, пока ехали, пока пили анилиновый ликер в русском ночном кафе, где-то в пятнадцатом округе Парижа, где он был, как дома. Сердце шумело, руки (забыл вымыть, так спешил) подрагивали над папиросной коробкой, стараясь навести на столе относительный порядок: вот тут ее рюмка, тут моя, здесь папиросы — там спички, здесь перчатка ее, черная, теплая, душистая, там — ее белая, теплая, душистая рука. Перед ним сидит женщина, он не очень ясно помнит, как это произошло, он много выпил всякой дряни, ноги его прямо-таки валяются под столом, как сапоги, как кра-

ги, и ужасно хочется плакать... Это — старость. Он ни за что не скажет ей, сколько ему лет, пусть думает — сорок пять, пусть думает даже — пятьдесят. Пусть думает, что хочет.

Он смотрит ей в грудь, в руки, почти не смотрит в лицо. Вот ему и весело. Но как вспомнишь, сколько было в жизни всего! О чем это я? Ах, да, о прошлом моем, зыбком, дурацком, жалком.

— Но такого вот вечера, позвольте вам признаться, не было. Нет, такого не было. Не сочтите за комплимент.

— А хоть бы и комплимент, — говорит Танька. — Женщины любят комплименты. Вы — мужчина, вы должны это понимать.

Она тоже пьет. И так как к полуночи он говорит, что проголодался, она вместе с ним просит водки и еды, впрочем только для того, чтобы закусить три своих рюмки. У нее ложатся две широкие, темные петли вокруг глаз, и рот от водки делается влажным и каким-то глубоким. «Куда это он метит? — спрашивает она себя в пьяном сне. — В законные мужья, в первые любовники или в коты? Что если прямо спросить его об этом».

От этой мысли с нею внезапно делается припадок визгливого, слезного хохота, голова ее клонится, она обеими руками держит себя за лицо, чтобы оно не упало на стол.

Ее внезапное неумение совладать с собой возбуждают в нем страсть и нежность. Она тяжело всхлипывает, хватает стакан и в белых, ровных своих пальцах с хрустом давит его.

— Ради Бога, Татьяна Аркадьевна, — кричит он, мгновенно вспотев лицом. — Так порезаться можно.

Руки и платье ее обсыпаны стеклянными осколками, но он уже ничего не говорит, а сжав кулаки под столом, с шумом в голове и огнем в сердце, сидит, и смотрит, и тонет в счастье, которого она причиной, ничего

не помнит, старается не дышать, не мигать, и в мареве его блаженства — все пьяно, чисто, и весело, и грустно зараз.

Но ей было скучно. Трактир с бывшим губернатором за стойкой был пропитан салом и табаком. Бумажный тюльпан на проволоке, который Бологовский все переставлял, не зная, куда его поставить, с чем спарить, все время лез ей в лицо. Со стен смотрела фотография какого-то матадора с гитарой. Все это, и человек, сидевший с нею, по крахмальной груди которого полз красный клоп, казалось ей таким падением, такой расплатой, таким скорым путем к концу, что она с тоской и ужасом удивлялась: как жестоко и круто расправляется с нею жизнь.

«Если полезет целоваться, дам в морду», — решила она про себя.

Но он одной большой жесткой рукой стиснул обе ее руки, и в ночном такси, обхватил ее и измял, прижимаясь жесткими губами к ее губам, твердым лицом к ее лицу. И через минуту жалость и нежность к себе залили ее — куда рваться? Зачем? Боже мой, как все грустно на свете... Она постаралась увидеть его глаза в сумраке, скорее по привычке, чем из любопытства. Совсем еще чужие глаза блестели металлическими слезами, и редкие волосы его (он снял шляпу) показались ей железными тоже.

Молча он поднялся за ней и там, в комнате, где был такой беспорядок, где в потолке горела голая лампочка, а ситцевая штора закрывала окно, он затолкал ее грубо и жадно, торопясь, падая (а она все медлила, будто обдумывая что-то). И все-таки не успел так, как хотел. И в страшной усталости, опоенный ее теплом, он тяжело уснул, лицом в подушку.

II.

Растрепанная, в мятой голубой сорочке, с размазанной чернотой вокруг глаз, она лежала в постели, све-

сив почти до полу руку со старым, еще русским, серебряным браслетом.

Он стоял у окна, в пальто. За окном был двор шириною в три метра, городская расщелина, сырая и темная. Собирался дождь. Над собой он видел другие окна, и сколько ни выгибайся — неба не было. Был дым, шедший откуда-то сверху и падавший в эту расщелину. Хриплым голосом он сказал, нараспев:

— Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем в Арестань.

Она не расслышала последнего слова и повторила, зевая:

— ...мы поедем в ресторань.

Он издал звук, похожий на короткий смех, оглянулся, увидел ее, и сделав несколько шагов, поцеловал ее в голову. Рыжие волосы ее помертвели и выцвели, пробор был темен, с проседью.

— Не хныч, пожалуйста, — сказала она, поднимая с полу руку, как гирю, — ну о чем ты опять плачешь?

Он не плакал, а смотрел сверху ей в лицо, ожидая, когда она поднимет глаза на него, чтобы ей улыбнуться.

— У тебя всегда такой вид, будто ты собираешься заплакать. Веки красные, должно быть глаза больные. И такая слеза железная у носа. Ну, улыбнись, чорт возьми, разве тебе не весело?

Он осторожно погладил ее по голове и еще раз поцеловал в пробор.

— Зубы плохие улыбаться, — сказал он и через силу засмеялся.

И правда: почему ему было так щемяще грустно смотреть на нее? Чего ему было жалко? Ведь то, о чем он и мечтать не смел в первый вечер знакомства, случилось: она была с ним, ее тело, ее тепло были с ним, у него была женщина, своя собственная, не такая, которую мог иметь всякий другой. Она напоминала ему

что-то бывшее на яву и похожее на сон, иногда (Боже мой, если бы она только знала!) ароматом своим, беглым прикосновением руки к его затылку, она напоминала ему мать. Он уходил на работу в одиннадцать часов и возвращался в четыре, и опять уходил в шесть и приходил к ночи. И она всегда была тут, она провожала его, она ждала его. И в постели она лежала рядом и грела его, и он не мог спать от сознания, что она с ним, что она откуда-то как будто вернулась к нему, принеся ему с собой обратно все, что было им потеряно.

— Понимаешь, Тасенька, моя маленькая, моя сладенькая, — заговорил он вдруг, — мне так хорошо, что и не знаю, как. И грустно, почему-то... Я все думаю, за что мне это? И знаешь, я часто раньше думал: ну что я такое? Зачем я?... А теперь махнул, не думаю больше.

— Философствовал.

— Ну да. С таким вот рылом философствовал. А теперь и желания никакого нет.

— И слава Богу! — и ей смутно припомнилось, как она в тот день, в ресторане, одна, тоже философствовала.

— А теперь я пойду, — это он всегда говорил, будто подготовляя себя к прощанию с ней. — Надо, пора.

Она встала, накинула короткий капот, захлестнула у пояса, и босая, стала ждать его ухода.

Потом она легла поперек неубранной постели и принялась за вчерашнюю газету.

Раньше ей в руки никогда не попадались газеты. Бывало т о т оставлял ей свою — и она ее выбрасывала, не раскрывая, — ей было неинтересно знать о людях, с которыми она не была и не будет знакома. Но вот уже месяц — с тех пор, как Бологовский переехал к ней (и разговор все чаще заходил о каких-то бумагах, которые надо куда-то подавать, чтобы можно бы-

ло, в конце концов, повенчаться), с тех пор как он был с ней, она приохотилась к уголовным историям, о которых рассказывалось подробно, смачно, с бойкостью пера необыкновенною, и в конце которых всегда возникала либо кровью залитая простыня, либо заскорузлое, в чем-то подозрительном выпачканное полотенце — непременно зловонный и бесстыдный предмет, уводивший Танино воображение.

И были драмы, схожие с разниманием быка в мясной лавке. И были другие — когда ночью вспухшее тело безшумно сталкивалось в воду. Какие-то корзины отсылались неизвестному получателю. Люди орудовали револьвером, кухонным ножом, стамезкой. Но самыми жгучими и неотвязными были преступления, вдохновленные ложью: из арифметики переход в алгебру. Не просто уничтожить, или уничтожиться, но еще и надуть весь мир — хотя бы и поплатившись за это собственной жизнью. Вот женщина, ревнуя любовника к собственной дочери, отравляет его жену. Ее приговаривают к каторге, но подозрение в сообщничестве падает и на него, раскрылось еще кое-что (о, это «коечто», которое есть за каждым!) и любовника ведут на смертную казнь. Разве не алгебра?... Или другая: на глазах у мужа стреляет в себя и успевает шепнут комиссару, что это не она, а он стрелял, чтобы отделаться от нее. И опять «кое-что», и его шлют на каторгу. И уже не важно — умирает сама она или выживает. Важно, что есть на свете вещи, за которые стоит платить их настоящую цену.

Хорошо, что от чтения этого уходит время и скука. Таня лежала и представляла себе, ворочая ленивыми мыслями, как отчетливо, безошибочно верно она могла бы тоже сделать это: застрелить себя. Застрелить себя — потому что не вышло «для удовольствия», и корни растут седые, и Бологовский беден, скучен и стар, и нет другого, и впереди ничего; она лежала навзничь, свесив босые, холодные ноги, закинув руки, выставив

безволосые подмышки. Но кто же виноват во всем? На кого она покажет? Ах, не все ли равно! Справедливой быть она не подрядилась... Только не надо рисковать — комиссара может ведь и не оказаться, того самого, который согласен будет выслушать ее предсмертную ложь. (А уж священника наверное не случится... А то хорошо было бы именно в предсмертной исповеди соврать раз и навсегда.)... Рисковать нельзя. Она подготовит все по своему, она, как мать дитёнышу, уготовит Бологовскому его судьбу.

На сегодня довольно. Одевшись (дырявое белье и старое, красное платье, которое почему-то так нравится ему), она отправляется к Гуле. Там опять перемена: Гуля теперь по утрам водит гулять богатую девочку, получает за это сколько-то франков и завтрак. Котенок подрос, стал пегим, скребется, ходит по столу, спит на Гулиной подушке. В комнате во всю пахнет именно им, приторно-терпкий запах, а не Гулиными резкими, напоминающими денатурат, духами.

Громадными ладонями подпирает Гуля бледные щеки, когда-то красивое, мясистое лицо, словно раздутое болезнью. Под низким лбом — волоокие глаза. Колени ее широко раздвинуты и две большие, толстые ноги в расшлепанных туфлях, с торчащей внутрь костью, стоят перед Таниными глазами, как два неподвижных, неживых предмета. В длинных, толстых пальцах, Гуля держит грошевый мундштук с погасшим окурком. И низким, почти мужским голосом, говорит:

— Сегодня — лакеем, а завтра попрут, так засвистит в кулак. Без копья сядет на шомажные. Ты требуй.

— Ревнует абсолютно к каждой собаке.

— По своему прав. Ты последней собакой не погнушаешься.

Танька переливчато хохочет. Это значит, что Гуля считает ее «гранд амурез». Они говорили как-то о

том, что Надька и Тата не «гранд амурез»; и Тане это приятно.

— Денег нет, зато философствует много. Да и староват он немножко для меня. Ты понимаешь ?

— Уже! Вот сукин сын. А туда же, ревновать.

Танька закуривает.

— Вчера мне сказал: убить мне тебя или жениться на тебе?

— Это почему же?

— А так. Истерика.

Гуля передвигает ноги.

— Для чего, спрашивает, мы живем, и ты, и я, и все люди?

— Да что он, Лев Толстой, что ли? Ты скажи ему, что живет он для того, чтобы свои чаевые получать.

Танька опять хохочет.

— А что, — спрашивает она сквозь смех, не имея сил оторвать глаз от Гулиных ног, — если он и вправду меня прирежет?

Гуля внезапно ложится лицом в раскинувшегося на столе кота.

— Да зачем ему?

— Ох, разве все зачем-нибудь делается? От скуки.

Тут начинается разговор о другом: о том, как переделать прошлогоднюю шляпу, о Надьке, о спившемся Гулином любовнике, об одном верном средстве... Смеркается; идет дождь; из-под Гулиной крыши в маленькое окно виден перекресток двух сине-лиловых улиц, трамвай бросает малиновую звезду в вечерний воздух, и так мокр асфальт, что не знаешь, где верх, где низ.

Проходили дни, словно кто-то сдавал их, как карты, те самые, на которых гадала когда-то Элла Мартыновна, в которые теперь иногда играли Таня с Гулей, когда не о чем больше было говорить. Вторник, среда, опять неделя прошла, и другая; опять какой-то четверг, и уже суббота. Опять малиновая звезда трамвая

гаснет вдали, когда Таня выходит из дому, и «это уже было когда-то» хочется воскликнуть, когда она приходит к себе, зажигает свет и ждет Бологовского. С ним скучно, но одной еще скучней. «Моя Тасенька, — говорит он иногда, — моя, моя. Это Бог мне тебя послал. Ну скажи, разве не случай, родненькая, что ты тогда к нам в ресторан завернула? Ах, и любишь же ты хорошо покушать! Последние деньги, да еще вышиваньем сколоченные, можешь на индюшку выбросить. Подожди, золотая моя, я тебе в этом месяце непременно икорку доставлю, настоящую, зернистую, черную».

Она сладко жмурится. Он целует ее и идет за ширмы раздеваться. Начинаются рассказы о том, кто что заказывал сегодня и сколько оставил. Она слушает, слушает и засыпает, неумытая. Он боится разбудить ее, осторожно ложится рядом. В комнате накурено, душно, пахнет ею, женщиной, его женщиной. У него есть женщина. Как это чудно и как страшно. Надо написать дочери, что он собирается жениться. Он скрыл от Тани, что у дочери есть сын, что у него внук. Ему четыре года. Вот она удивится! Как-то им там? Впрочем, не все ли равно? Главное — она. Не разбудить бы...

Он медленно (но хрустнули шейные позвонки) повернулся к ней и вдруг увидел блеск в ее лице, тот самый блеск, что отражался в кране умывальника, в замке шкафа: это был отблеск света, должно быть падавшего из окна. Глаза ее были открыты, она смотрела мимо него. «Тасенька», — пробормотал он, пугаясь неизвестно чего. Она не отвечала, и от этого ему стало еще страшнее. Он крепко обнял ее за плечо — оно было теплое, живое. «Что с тобой?»

— Без. Сон. Ницца, — с расстановкой процедила она так жестко, словно кто-то сказал это вместо нее.

Он затих и весь обратился в слух. Она дышет. Не скажет ли она еще что-нибудь? Не двинется ли к нему?

— Ты когда-нибудь думал о том, что такое моя жизнь? — спросила она и положила обе руки себе на грудь. — Ты когда-нибудь думал, зачем все это?

Он почувствовал внутреннюю дрожь, ноющую боль между горлом и сердцем и мгновенную, от волнения, глухоту — через несколько секунд он уже опять слышал ее голос.

— ...невыносимо. Понимаешь, невыносимо. Надо было тогда, вместо омара с майонезом, револьвер купить. Ты видел там у меня халат с кистями висит? Ты даже не спросил, думаешь: мужа. Как скучно! Отпусти ты меня, Христа ради.

Он присел, и в темноте она увидела, как он потрогал для чего-то руками свой длинный череп, и опять стали неподвижны его узкие, покатые плечи.

— Я тебя не держу... Постой, нет я держу, я сам держусь. Ты мое последнее. Вон у меня уже внук есть, Володя, Лидочкин сын. Куда же мне... Тасенька? Что мне сделать для тебя? Чего тебе хочется? Может быть, тебе ребеночка хочется? Знаешь, у каждой женщины...

Она поднялась тяжелым телом и тоже села на постели, с ним рядом. С минуту она не могла произнести ни одного слова. Потом повалилась и, рыдая и всхлипывая, сказала:

— Я — о себе, а ты о чем! Все делаю, чтобы не было, а ты спрашиваешь. О, Господи, так не понимать! Да меня Гуля засмеет.

Ее слезы, и эта темнота и духота, и блики, переползающие, как светляки, с одного предмета на другой, но главное — ее слезы, мутили в нем все, что еще было ясного. Он зажег свет.

— Чего тебе? Ну чего? Тасенька...

Но она от слез потеряла нить мыслей, сама уже не помнила, с чего и зачем начался этот разговор, эти рыданья. Не об этом ли мечтала она все эти годы: рядом с ней был тот, кто готов был любить ее и заботиться о ней всю жизнь. И она весь день безнаказанно

может шляться, перешивать старые платья, шлепать картами. Но отвращение и к себе, и к нему ломало ей душу. Она не знала, что такое жизнь, но чувствовала, что не это, не это. И годы ушли, и теперь, с этими тугими мыслями, с этой скукой в сердце, с этой немолодой грудью и злым лицом — куда ей? Кто возьмет, кто укажет, что делать? Не может быть, чтобы в мире так все было, так убого, так горько...

— Не отпущу. Люблю тебя, буду держать тебя. За тебя держаться, — это он повторял, и горела в потолке лампочка, и так покаты были его плечи, и сквозила в прорези рубашки твердая, седая грудь.

— Потуши свет, — сказала она тихо. — Пора спать.

Она и вправду скоро заснула.

Ночь была длинная и текла, как бесшумная река, которой, кажется, не будет конца, и которой никогда не было начала. И в первый раз эти месяцы жизни с Таней, Бологовский с тревогой и грустью припомнил свою прежнюю жизнь, и вдруг усомнился в том, что она могла привести его к счастью. Он знал, что у него там, в этих воспоминаниях, все приблизительно в таком же порядке, как и у всех: чистота детства и ошибки молодости, груз судьбы, связанной с отечеством, потеря крова, семьи, смерть жены, замужество дочери. Лакейская служба десять лет. Две, нет три, женщины за эти годы: одна немолодая родственница; подруга покойной жены, на которой его хотели женить; на бульваре встреченная француженка, под Новый Год — который? Тридцать второй? Тридцать четвертый?

Он тогда пил... Это был невеселый период его жизни, впрочем тоже, как бывает у всех. Играл на скачках, пил. Дочь прислала ему на билет, он и билет пропил. Потом прошло, и наступила усталость, от которой он иногда ночью не мог заснуть, ломило спину и плечи. Особенно — это вихлянье с тарелками. Но ему многие завидовали.

И вот она появилась. Положительно, он не мог те-

перь припомнить тот непохожий на другие вечер; она сидела за столиком и мешала кофе, потом они сидели друг против друга и был какой-то бумажный тюльпан, тоже напоминавший детство. Потом у нее под левой грудью оказалась белая горошина, — след детского нарыва — и две крепкие, нежные жилы под коленом, мягким и сильным. Так вот оно что? Вот, значит, зачем были все эти годы. И те, и эти. Все исполнилось, все вернулось. И, может быть, даже больше обещанного.

С тревогой и грустью. О чем? Она лежала рядом, ей снились сны, а он с тревогой и грустью вспоминал — вспоминал свою жизнь без нее, и когда перебрасывал в мыслях мост через эту ночь, льющуюся, как река, из прошлого в будущее, то никак не мог увидеть Таню рядом с собой, а опять видел лишь себя одного, совсем одного, еще больше одного, чем прежде. Почему? Вероятно потому, что у него не было воображения.

Утро, и опять утро, и еще новое утро, а вчерашнего уже нет, и может быть, его не было вовсе. Может быть, это все одно и то же утро, которое повторяется эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Это поет Таня; на спиртовке подрагивает облупленный голубой кофейник, в раскрытое окно слышно, как по весеннему кричат воробьи. Одна мысль, об одном и том же, перехватывает у Тани дыхание. Одна единственная мысль.

Когда Бологовский перебрался к ней с двумя старыми корзинами, она едва заглянула в его вещи, брезгуя этой ветошью, всеми его реликвиями, старой одеждой и даже засаленным томом Куприна. Но что-то мелькнуло в тряпье тогда, очень нужное (уже в то время!) и она решила проверить, то ли это.

«Ну мне, кажется, пора», — опять, как часы, которые бьют, сказал он, и как только стихли его шаги, она раскрыла первую корзину, но в ней кроме старых крахмальных, очень нечистых воротничков, не было ничего. Зато вторая была почти полна. Таня села на

стул, повязавшись поверх капота платком, и нырнула под крышку головой и руками.

Чего там не было! Старые подтяжки и дюжины две ножей для безопасной бритвы — ржавых и черных; пустые гильзы от патронов, масляная лампа, без стекла, карандаши, тряпки, куча ярких носков с дырами, в которые проходил кулак; обгорелые церковные свечи, георгиевская лента — совсем новенькая, метра полтора; в шелковую бумагу завернутый футляр с офицерским крестом, какой-то истлевший на сгибах, великолепной толщины картон с печатями; рассыпанные между носками письма. И в углу — то самое, что ей казалось, она уже видела (она теперь вспомнила, как он сказал тогда: «Не мой, не мой, но стреляет отлично»), обернутый в кусок бухарской цепкой шелковой шали (по малиновому полю голубые и желтые «глаза») — лежал небольшой, тяжелый, дулом в угол корзины, давно обрусевший браунинг.

Так с шалью она его и взяла, но шаль была так ярка, что все вместе завернула она в газету — вчерашнюю, уже проглоченную — и когда совала пакет под белье, думала, что вот начинает уже смахивать на одну из тех, о которых вчера читала, чей портрет...

У нее был план. Как у полководца, у путешественника и преступника, у нее был свой собственный план. В последние дни, когда она оставалась одна, она его выдумала, и не только мозг, но все нутро ее участвовало в этом. Чем больше она думала, тем сильнее ей хотелось пить, и она то и дело подходила к умывальнику и пила из крана. Теперь два дела надо было сделать предварительно: написать письмо, всего одно письмо и все равно кому, хотя бы Беловой — она аккуратная и наверное сохранит его; и пойти в последний раз к Гуле и сказать: у меня предчувствие, я боюсь...

Нет, было еще третье: пожалуй — главное: предупредить отельную хозяйку, то-есть заронить в ней бес-

покойство. «Ах, господин следователь, я тогда же подумала: он убьет эту женщину, этот зверь. Она так кротко смотрела на меня, когда говорила: да, мы непременно завтра вечером пойдем смотреть эту интересную картину (кинематограф у нас напротив, господин следователь, мы ходим туда раз в неделю и все жильцы наши ходят), мы непременно пойдем, сказала эта бедная русская дама, если только будем живы».

Но зачем, для чего ей надо быть живой? Для чего жила Лилька, сестра, засохшая в своей экспортной конторе, отец, разложившийся в параличе? Да и существовала ли вообще когда-нибудь в мире та страна, где она выходила замуж, где жила с Алексеем Ивановичем, изменяла ему? Ничего в те годы не произошло такого, о чем стоило бы пожалеть, что стоило бы любить, всегда ей казалось, что могло быть лучше, что будет лучше, что у других — богаче, веселей, полнее, то, что называется счастьем. И раньше, в детстве, в другой стране, о которой она давно забыла. Не совсем невинные хитрости, мучительное тщеславие, с девяти лет — нечистые сны. Не стоит и думать. Под землю, под землю! Убраться бы поскорее, отомстив все равно кому, за всю жизнь сразу, отомстив Бологовскому, потому что другие все ушли, разбежались, попрятались, мерзавцы.

Денег оставлял он ей мало, не потому, что был скуп, но потому, что у него их не было. Когда он жил один, у него водились деньги, ему хватало, и даже иногда оставалась сотня-другая, которую он посылал дочери. Теперь ему бывало трудно, и все-таки, возвращаясь домой в метро, в спертом воздухе, окруженный плотностью чужих тел и запахом людского дыхания, он думал, что есть у него что-то общее с той потной парочкой в углу, которая блаженно млеет, обнявшись. Проезжали темные, душные станции. Иногда он успевал заметить, как, не обращая никакого внимания на

проходящие вагоны, сидела на скамейке сгорбленная, седая, нищая старуха с клюкой и мешком, дремал старик в сапогах, подвязанных веревками, жевал хлеб безрукий рабочий. И странные мысли шли тогда в голову Бологовскому: страх какого-то конца, может быть, старости, а настоящее стояло перед ним, как тяжесть, которую сдвинуть он не мог.

Все настойчивее, все упорнее, сам не сознавая того, он любви своей ждал помощи. Он не мог бы сказать, чего именно он требует от этой женщины, вероятно, если бы его спросили, он бы ответил, что ему всего довольно, но не называя словами, сердцем, он ждал тепла, еще тепла, ласкового слова, понимающего движения в его сторону, и может быть даже... вышивания крестом, которым, как он думал, она до него существовала. Какого-нибудь облегчения всей его тяжелой радости, так похожей, в сущности, на беспрестанную муку, с которой он, как накипь, снимал и снимал пену дрожащего своего блаженства — поцелуями, словами, глухим своим смехом.

«Может быть, думал он (и эти мысли начинались обыкновенно тогда, когда он подходил к дому), у нее после мужа был кто-нибудь. Ведь прошло лет шесть или пять, как он умер. В прежнее время я не смел бы подумать такого, но сейчас все так изменилось, она жила одна, ей было трудно. Ну и пусть, что мне за дело. А если она и теперь обманывает меня? Нет, это невозможно».

Сам по себе он не был ни ревнив, ни подозрителен, ему необходима была ежедневная пища, чтобы терзаться или обнадеживаться. Но именно пищи то и не было. И каждый раз, как он брался за входную дверь, на этом самом пороге, сомнение в том, что там, за ним, попрежнему все цело, спирало ему сердце; он боялся догадаться, что там все остыло, что там вообще нет ничего. И тогда он под звон брошенной двери бросался наверх, худыми, не совсем прямыми ногами

перебирая ступени, что бы только убедиться, что Таня все существует.

Она сидела посреди комнаты на стуле совершенно раздетая и ждала, когда высохнут десять красных ногтей на руках и десять на ногах, только что накрашенные лаком. Она была очень бела, и большой, круглый живот и бедра ее меняли очертания в зависимости от того, как она сидела. Растительности на теле ее почти не было — ее безбровость была тому порукой. Выставив перед собой ноги и развесив руки, она ждала, и в лице ее было то выражение, которого она сама никогда не видела, но которое видели в ней другие — тупое и старое.

— Здесь кто-то был, — сказал он, почувствовав в воздухе чье-то присутствие. Пепельница была полна окурков.

— Гуля была, — отвечала она, не двигаясь.

— С чего это?

— Беспокоилась, вот и зашла.

Он стал раздеваться.

— С чего же она беспокоилась?

— Обо мне беспокоилась. О жизни моей с тобой.

Он снял пальто, шляпу, пиджак, выдернул деревянные от усталости ноги из башмаков и, сев за стол, стал смотреть на нее, неподвижную и голую, слегка сползшую вправо со стула, на ее тяжелую грудь, на двадцать ярких, как редиска, ногтей.

«Так это ты? Та самая ты? — осторожно спросил он себя. — Господи, но кто же ты? Почему ты такая голая? Ах, закройся, ради Бога, закройся, прошу тебя!» — это он говорил сам с собой, про себя, и в то же время чувствовал, что теряет дар речи, словно голос и язык отнимаются у него. Молчать. Надо молчать. Рот его внезапно сложился совсем по особенному, словно его прорезали бритвой и сейчас же зажали, и далеко вытянув по столу свои волосатые руки, Бо-

логовский стал ждать, когда же встанет эта женщина и закроет свою наготу.

Она, наконец, встала, нашла шлепанцы и стала одеваться в двух шагах от него, и ему не было странно, что она так близка, так доступна, а ему не хочется и смотреть на нее.

— Гуля беспокоится обо мне и Белова тоже, и даже хозяйка внизу каждый раз, как видит меня, говорит: «дье мерси»; я по лицу их вижу, что если я сдохну от грибов или тухлой рыбы, они тебя заподозрят в моем отравлении, — она хохотнула, затягивая несвежий лилово-розовый корсет. — Ну чего ты молчишь? Вот умру, тогда будешь знать... Заговоришь. Ох, надоело мне все, надоело... Все — дырявое... — и она застегнула лифчик английской булавкой, — и волосы висят, а пудры на донышке осталось... Да заговори ты! — и она в одном чулке застыла, со злобой глядя на Бологовского, — если уж живешь со мной, так говори, а не молчи... Зачем живешь-то? Зачем вообще живешь? Со мной зачем? Да ты слышишь или нет, что я спрашиваю? — плача закричала она.

Он пошевелил пальцами, но не произнес ничего, только по лицу его прошло какое-то движение и глаза стали еще более металлическими.

— И с таким человеком я думала как-нибудь... как-нибудь... — бормотала она, хватая себя за волосы обоими руками в тоске. — Да ты понимаешь, что у меня кроме злобы ничего к тебе нет? Ничего! Зачем ты три месяца меня кормишь? Зачем со мной спишь? Да вот я сейчас застрелюсь, так тебя полиция схватит; а еще перед этим самым я в звонок позвоню... закричу...

Она вскочила, но он вскочил тоже и перегородил ей дорогу.

Куда она бросилась? Не к нему. Не к звонку, который был у изголовья кровати. К шкафу. Но он все не мог преодолеть своей немоты, не мог произнести ни

единого слова, да и какие были у него слова? Ласки? Брани? Она остановилась у дверцы, полуодетая, с чулком в руке, и пока он поспешно совал свои ноги в брошенные под стол башмаки, пока натягивал пиджак и пальто — все молча — она продолжала стоять у шкафа, не имея, казалось, сил исполнить то, что хотела. Лицо ее теперь было страшно; еще четыре, три... две секунды; нет, она уже не сделает того, что казалось ей таким простым и легким. Одна секунда. Не развертывая бухарской шали, только добраться до звонка; сквозь шаль — в живот, в мой теплый, мягкий живот, трезвоня и крича на весь дом. (А он в это время уже бежит по лестнице). Что случилось? «Она застрелилась, говорит он бегущим навстречу, — смотрите, она еще держит револьвер в руке». «Ничего подобного, вы арестованы, — отвечают ему. — Если бы она стрелялась сама, она бы не звонила, не кричала бы о помощи, она бы не твердила всем и каждому всю эту последнюю неделю, что вас боится. Вы убили ее». «Но я выбежал на лестницу д о выстрела, спросите соседей...» И вот кто-нибудь скажет (под присягой!), что сперва был выстрел, а потом — шаги на площадке; а другой кто-нибудь (под присягой тоже!), что сперва были шаги, а потом выстрел...

Он был уже далеко, то-есть был уже на улице, а она не двигаясь все стояла у шкафа. И вместо того, чтобы думать о том, что именно помешало ей исполнить то, что она хотела, она думала о посторонних вещах: который теперь может быть час? Вот паутина висит с потолка. А что это там лежит такое? Как называется этот вид душевной болезни? Мания. Какая-то мания. Лимфо... литомания. Нет, что это я! Мифомания, от слова миф. Я выдумала историю, за которую, если бы написать ее, можно было бы получить деньги в такой вот газете. Я выдумала... Боже мой, а где же он-то? Боже мой, да ведь он бросил меня!

Шесть часов. У кассы горит лампочка под зеленым

колпаком. Семь человек в одинаковых белых куртках бесшумно накрывают столики. Из кухни и с ледника с тихим шелестом поднимает подъемная машина закуски, вносят «тарт мэзон», облитый сливками. Кто-то перетирает стаканы — ножками вверх несет их... И Бологовский двигается туда и сюда, в похожем на аквариум свете, перебирая тяжелые мелхиоровые вилки. В четверть восьмого начинает вертеться входная дверь, входят первые клиенты, за ними другие. Сперва занимаются места в четырех углах зала, потом — в середине. Свет горит, голоса. Плывут горячие мисочки, тащут куда-то ведерко со льдом, шашлыки проносят на длинных вертелах... Зал наполняется. Восемь часов. Нет ни одного свободного места. Фортиссимо в невидимом оркестре, и потом — постепенное стихание голосов, движения, отлив людей, тарелок и рюмок (ножками вниз); подбирание салфеток, нагромождение стульев; одна лампа гаснет, другая, третья. Часы показывают десять, ровно десять. А на улице летняя ночь, майская ночь; Париж — тот же самый. Не верится как-то.

Он шел и думал, и мысли давались ему с трудом. Чувство же было одно — отвращение к ее наготе, к ее слезам, и, возвращаясь памятью к трем месяцам жизни с ней, все или почти все принимало этот оттенок — бесстыдства, грубости и лжи, не за что было ухватиться, так все было скользко, так гадко, и самым невыносимым было сознание какого-то неизжитого, напрасного обмана перед самим собой, — она была не она, и он был не он в этом соединении.

Он шел по улицам, во мраке и влажности этого вечера, не замечая людей, шедших мимо. На огни — он заходил, чтобы выпить, и душа — да-да вот и доказательство ее существования! — душа его от спирта расправляла свои пыльные крылышки. Еще разок один брякнуть деньгами по цинку, хлопнуть под язык, почувствовать к плечам и ребрам бегущее тепло, то самое,

которого ему было так мало. А вот опять какой-то угол, фонарь, аптека; стоит телега высокая, белая, грязная, в какой возят лед; стоит лошадь. Не путайте, пожалуйста — при чем тут артиллерия? Николаевского кавалерийского, славного училища... «Ишь ты», — говорит он, заламывая на затылок шляпу и обнимая смирную, каурую лошадиную морду с большим глазом, — «ишь ты!» И гладит, и треплет ее, и целует в губу, и нюхает воздух, дующий ему в лицо из ее смирной ноздри. И она нюхает его, и так они нюхают друг друга. «Ишь ты, узнала, вспомнила, — говорит Бологовский, — не забыла». И щекой, щекой и всем лицом, он трется и обоими руками гладит.

Возница, внесший в кафе ледяной брус, возвращается, молча лезет на козлы, молча поднимает кнут. И лошадь уходит, равнодушно, покорно, оставляя Бологовского одного.

Таня стояла в темноте у самой двери, прижавшись к стене, когда он распахнул дверь и вошел; она сжимала обеими руками и прижимала к груди клубок бухарской шали (где и когда он видел эту шаль?).

— Тасенька, что ты? Будто испугать меня собралась, — сказал он и улыбнулся.

Она недоверчиво отодвинулась от него.

— Где ты был?

— Как где был? Работал. Лакействовал.

От него пахло вином, шляпа была примята на бок.

— Скажи мне, Тасенька...

Она крепко прижала к груди клубок шали, он приближался к ней, в глазах его светилась незнакомая ей глубина.

— Скажи, так ты меня не любишь? «Как-нибудь, как-нибудь»... думала... Ах ты! А я вот думал не как-нибудь, а так, что даже и выговорить страшно.

Он вплотную встал к ней, положил ей руки на плечи и грудью уперся ей в грудь.

— И вот выходит зря. Скажи мне, маленькая моя, который я?...

Она молчала. Револьвер давил ей грудь, давил и ему, но он не замечал его.

— Скажи, который я у тебя, и я отстану. Будешь свободна, как была. Чорт с тобой, дурочка моя! Не вышло, не надо.

— Бросишь? — прошептала она испуганно, и постаралась поймать под шелком гашетку. Он вдруг отодвинулся и схватил дуло правой рукой.

— Это что-ж такое? — спросил он, слегка трезвея, но она стала медленно падать назад, — нет ты сознания-то не теряй, притворяться ты умеешь, я знаю. Я знаю, как... здорово... Так это что-ж такое? — Она перестала падать, тяжело дыша прилегла к стене и лицо ее стало неподвижным, белым и мокрым. Он одной рукой держал ее кисти, в другой вертел браунинг, держа его за дуло, а шаль моталась, как флаг. — Это что-ж? Это? Такое? — повторил он с остановками и, выронив револьвер со стуком на ковер, уже обоими руками схватил ее руки; увязая пальцами в их мякоти, громко дыша, он пригнул ее и потащил от двери.

— Я закричу, — закричала она, ударившись головой о спинку кровати и следя за тем, чтобы он опять не схватил оружия.

— Убить. Меня? Хотела убить! — шептал он, пригнув ее еще ниже, волоча ее, таща, мотая так сильно, что она наконец, охнув, упала между кроватью и столом.

— Пусти, — завизжала она, и как большая рыба забилась, стараясь вырваться из-под него, чувствуя на себе его знакомое, тяжелое тело. Он давил ее коленями и грудью, сжимая, ломая ей руки: «За что же? Гадина, за что?» — бормотал он; все лицо его — так близко от ее лица — покрылось сетью вспухших вен, как сеткой.

— Пошутила, пошутила, шутила... ила, — повторяла

она бессмысленно, все пытаясь сбросить его с себя, ударяясь затылком обо что-то твердое. Он локтем повернул к себе ее лицо, еще сильнее придавил грудью и левой рукой ее руки и взял ее правой за белое, бархатное горло, которое было так похоже на ощупь на то самое место под коленом, которое он иногда сжимал, над икрой, где две упругие жилы, и нежная кожа, и крепость, и слабость.

— А-а-а, — завыла она, выкатывая наружу два страшных, без блеска светлых глаза, — а-а-а, — но этот второй звук был уже не вой, а хрип.

Да, те же две твердые, сильные жилы, трезво понимал он, — что-то круглое посередине, и вокруг всего — дрожащее сало, в котором вязнут его волосатые пальцы. Он долго сжимал его, пока оно перестало пружинить. Не жива больше? Может быть, еще жива? Он сдернул с кровати подушку, бросил ей на лицо, другую на грудь, и опять лег, придавливая, не веря, что она не оживет. В дверь громко грохнуло что-то. Подождите... Надо наверное постараться, чтобы не было щелей, потому что слишком страшно будет, если она окажется живой — с этими ногтями, с этими словами, с этими судорогами, с прошлым, которого он не знал, с будущим... Но будущего, слава Богу, нет.

1937.

Воскрешение Моцарта

I.

В самых первых числах июня девятьсот сорокового года, то есть в те самые дни, когда французская армия начала свое последнее бесповоротное отступление после прорыва у Седана, в тихий и теплый вечер, общество, состоявшее из четырех женщин и пяти мужчин, сидело в саду, под деревьями, в ста верстах от Парижа. Говорили именно о Седане, о том, что последние дни вернули этому имени, давно ставшему старомодным, как кринолин, его прежнее и роковое содержание. Говорили о том, что самый этот город, никем никогда, конечно, не виденный, умерший в дедовские времена, словно воскрес сейчас для повторения каких то ему одному сужденных трагических событий.

Была такая тишина, что когда люди умолкали и каждый принимался думать о своем, было слышно в раскрытые окна, как в большом, старом доме тикают стенные часы. Небо, зеленое, чистое, прекрасное, только начинало сиять зелеными звездами, из которых еще ни одну нельзя было признать — так они были одиноки и далеки от всякого узора. Старые деревья — акация, липа — не дышали, не дрожали, словно своей неподвижностью оберегая что-то, что было, невидимо для людей, заложено в этом летнем вечере. Хозяева и го-

сти только что отужинали; скатерть была не убрана; на столе оставались стаканы и рюмки. Лица сидящих медленно менялись в зеленом свете темневшего неба, заволакиваясь тенями. Говорили и о самой войне, и о ее предзнаменованиях. Молодая женщина, гостья, приехавшая на автомобиле из города с мужем и сестрой, умеряя свой сильный с металлическим звуком голос, рассказала про виденный ею недели полторы тому назад метеор.

— Это было в такой же час. Небо было такое же нежное. Он сначала показался мне падающей звездой, но это продолжалось так долго и было так ярко.

— Год назад вы бы его наверное и не заметили, — улыбнулся один из гостей, лысый, крепкий Чабаров, с черными висячими усами, в ярко-синей рубашке, живший дворником в замке, верстах в двенадцати, и приехавший нынче на велосипеде.

— Год назад, — сказал Василий Георгиевич Сушков, хозяин дома, высокий, на целую голову выше всех, седой, нестарый, с быстрым и острым взглядом, — да, ровно год сегодня, как умер Невельский. Он многое предчувствовал из того, что случилось, многое предсказал.

— Отлично сделал, что умер, хоть не видит того, что мы. А воскрес бы — плюнул бы или заплакал.

Напротив хозяйки, на другом конце стола, сидел француз, привезенный Чабаровым и никому как следует незнакомый. Он просто, без лишних извинений, попросил перевести ему, о чем шла речь.

— Мосье Дону, мы говорим о том, что бы сказали воскресшие покойники на то, что сейчас происходит, — ответила Мария Леонидовна Сушкова.

Дону вынул изо рта черную трубку, опустил брови и усмехнулся:

— Да стоит ли их беспокоить? — сказал он, глядя прямо в глаза хозяйке. — Впрочем, императора Наполеона я бы пожалуй пригласил полюбоваться нынеш-

ним временем, а вот родителей своих от этого удовольствия наверное бы избавил.

Все вдруг заговорили сразу:

— Воскрешать для себя или для них? Я не понимаю, — с живым лицом и уже не тая свой громкий голос спрашивала, ни к кому не обращаясь гостья, приехавшая из Парижа, которую звали Манюра Крайн, и у которой был полный рот своих собственных, белых, больших зубов, производивших искусственное впечатление. — Если для них, то хорошо было бы, конечно, воскресить и Наполеона, и Бисмарка, и королеву Викторию, и может быть даже Юлия Цезаря. Но если бы было возможно для себя, для одной себя, получить в собственность человека из прошлого, то это совсем другое. Тут надо подумать. Выбор так велик, соблазнов так много... Я, может быть, все таки, хотя это и банально, воскресила бы Пушкина.

— Милый, веселый, чудный человек, — сказала Мария Леонидовна Сушкова. — Какое было бы счастье увидеть его живым.

— Или, может быть, Тальони? — продолжала Манюра Крайн. — Запереть бы ее у себя, налюбоваться досыта.

— А потом — свезти в Америку, — вставил Чабаров, — импрессарио разорвут на части.

— Ну нет, уж если воскрешать кого, так уже не Тальони, — с тайным раздражением сказал муж Манюры, бывший вдвое нее старше, Федор Егорович Крайн, приятель Сушкова. — Тут легкомыслия не должно быть. Я бы воспользовался случаем, я бы вытащил на свет Божий Льва Толстого. А не вы ли, милостивый государь, отрицали роль личности в истории? Утверждали, что войн больше не будет? А не вы ли, уважаемый, относились скептически к оспопрививанию? Нет, вы теперь не увиливайте, поглядите ка, что из всего этого вышло. — Видно было, что у Федора Его-

ровича свои счеты с Толстым и если случится им на том свете встретиться, то заготовлена целая речь.

— Avec Taglini on pourrait faire fortune, — повторил Чабаров свою мысль по-французски.

— А я, господа, — заговорила, сильно напудренная лиловой пудрой и пахнущая пренеприятными духами, старуха, мать Сушкова, — а я, господа, воскресила бы дядю Лешу. Вот бы он удивился.

Никто не знал, кто был дядя Леша и все на несколько минут замолчали.

Разговор незаметно увлек всех, и мысль каждого ушла от этого вечера, из этого сада, куда то в прошлое — и близкое, и очень далекое, словно кто-то уже совсем наверное обещал им сделать жест престидижитатора и исполнить каприз каждого, и теперь вся задача состояла только в том, чтобы выбрать, — а выбрать было так трудно, потому что хотелось не прогадать, особенно женщинам. «А я — только Моцарта, да именно Моцарта, — подумала про себя Мария Леонидовна, — и никого другого мне не надо, да и не за чем». Она решила так не потому, что болезненно любила музыку, как это бывает с достигшими известного возраста дамами, которых принято называть «культурными», а лишь потому, что с этим именем связывалось в памяти, с самой ранней юности и жило до сих пор, что-то такое высокое, прозрачное и вечное, что могло заменить человеку счастье. Мария Леонидовна жадно курила и ждала, не скажут ли еще что-нибудь, самой ей говорить не хотелось. Заговорила Магдалина, сестра Манюры Крайн, девушка лет тридцати, полная, бледная, с необыкновенно круглыми, как шары плечами. При виде нее всегда смутно вспоминались какие-то непреложные статистические выводы о том, что столько-то миллионов девушек в Европе остаются без мужей потому, что мужей на их долю не хватает.

— Нет, я не воскресила бы ни одной знаменитости, — заговорила Магдалина с некоторой брезгливостью

к людям славы, — я бы предпочла простого смертного. Какого-нибудь философствующего юношу начала прошлого века, слушателя Гегеля, читателя Шиллера, или придворного времен Людовиков.

Она повела толстыми плечами и посмотрела вокруг. Но было уже почти темно, и лица сидящих едва были видны. Зато звезды там, вверху, теперь уже видны были все, делая небо совсем привычным.

Чабаров долго молчал. Наконец он издал какой-то глухой, носовой звук, постучал по столу пальцами, раскрыл рот, но вдруг усомнился, ничего не сказал и опять задумался.

Девятый присутствующий, до сих пор молчавший, был Кирюша, девятнадцатилетний сын Сушкова и пасынок Марии Леонидовны. Он, как считалось в семье был недоразвит. Медленно расклеил он толстый, широкий рот и спросил, доверчиво глядя на мачеху своими круглыми, добрыми, без уголков глазами:

— А двоих вместе можно?

Бог весть, что отражалось в это время в его сонном уме. Он считал, что какое-то дело было решено присутствующими и оставалось только уговориться о подробностях.

— Mais c'est un vrai petit jeu, — с невеселым смехом заметил Дону, и все вновь словно вернулись обратно, задвигались, заулыбались. — У каждого оказалось свое пристрастие, и все рассуждают ужасно серьезно.

Мария Леонидовна только кивнула ему. «Моцарта, конечно, только Моцарта, — повторила она себе. — И хорошо, что я уже не так молода, и хочу его видеть без всякой возможной чувственной корысти. И мы бы просидели до утра, а он бы играл на нашем пианино, или говорил бы нам о чем-нибудь. И все пришли бы смотреть на него и слушать его, и садовник соседей с женой, и почтальон, и лавочник с семейством, и начальник станции... Какая это была бы радость! И не было бы завтра ни почты, ни поездов, ничего вообще.

Все бы пошло вверх дном; и не было бы войны... Нет, война была бы.»

Она опять закурила; спичка на минуту осветила ее острое, некрасивое лицо и тонкую, красивую руку. Все, кроме лица, было в ней женственно, молодо и стройно, но особенно легка и неслышна была ее походка, и это все заметили, когда Мария Леонидовна вдруг встала и прошлась под деревьями, и вернулась обратно, и огонек ее папиросы был виден в темноте наступившей ночи.

В это время, прохлада тронулась из низкой глубины сада, оттуда, где было два небольших каменных мостика над узкими петлями зацветшей реки. Старуха Сушкова, закутавшись в шаль, дремала в кресле, Кирюша тупо смотрел вверх, и было ясно, что подобно деревьям и звездам, он только существует, но не размышляет. И внезапно где-то далеко, быть может, верстах в сорока, в пятидесяти, на востоке, в том месте, где летом встает солнце, прокатился, ударился и замер, так похожий на гром и все-таки совершенно иной, тяжелый пушечный удар.

— Пора ехать, пора ехать, — заговорили все сразу и Манюра Крайн, звеня чем-то, побежала в дом за пальто и сумкой; прошли через столовую и большую, темную прихожую, и вышли на двор, где стояла машина. Мать Сушкова тоже уезжала в Париж; она надела шляпу с большим лиловым цветком и даже в чемодане ее был какой-то лиловый оттенок. Несколько секунд продолжалась недвижная работа мотора, потом, осторожно заводя черные крылья, автомобиль попятился к воротам. Крайн за рулем кивнул еще раз оставшимся, и Манюра, у которой освещен был только ее фарфоровый рот, улыбнулась за стеклом и что-то сказала. Автомобиль выехал, остановился, дал передний ход и, словно потянув сам себя, скрылся, оставив за собой невидимый, едкий дымок.

Чабаров пошел за велосипедами.

— Очень рады будем видеть вас у себя, говорил Сушков французу, — все лето будем здесь жить и по воскресеньям, как видите, друзей принимаем. Милости просим.

— Enchanté, monsieur, — отвечал Дону. — Я провел незабываемый вечер.

И он вслед за Чабаровым поцеловал Марии Леонидовне худую руку.

На следующий день, Василий Георгиевич, как обычно, выехал поездом в город, оставив Марию Леонидовну и Кирюшу одних. Это был тот самый понедельник, когда в час дня, с нескольких сот самолетов был в первый раз бомбардирован Париж.

II.

Про обстрел Парижа узнали только вечером. Днем слышна была пальба, но так далеко, что нельзя было сказать, происходит ли это в Париже или в Понтуазе, как несколько дней тому назад. Вечером пришли газеты, и маленькое село, в середине которого стояла, с обрушившейся крышей, давно всеми забытая церковь, высыпало на аллейку толстеньких, кругленьких платанов, ведшую от кабака к мерии.

Село почти целиком состояло из старух. Впрочем, возможно, что старух там было, как и во всякой французской деревне, всего половина населения, но так как они чаще всего попадались на глаза, находясь на улице, то разговаривая друг с другом, то идя за покупками, то вытряхивая какую-нибудь тряпку, то развешивая белье, казалось, что они составляют девять десятых жителей.

Некоторым было всего лет пятьдесят, и они еще были гладки и бодры, седоваты, с румянцем и вольчим взглядом. Другие были морщинисты, жилисты и беззубы. Третьи (помнившие нашествие немцев в 70-ом году), сгорбленные, едва переставлявшие больные, толстые

ноги, с темными руками, длинными черными ногтями и совершенно потухшим лицом, ни в чем не уступали друг другу, так же много, текуче и все одним и теми же словами говорили — на углах, под платанами, возле своих и чужих калиток. На всех были ситцевые передники, широкие, завязанные сзади, или застегнутые спереди. Некоторые носили на носу железные очки и, качаясь, вязали на спицах, держа клубок под мышкой. Почти все они были вдовами убитых в прошлую войну, и у всех без исключения на эту войну был уведен либо сын, либо зять.

В тенистом переулочке, где тянулся забор сушковского сада, в этот вечер тоже была нарушена тишина, и Кирюша пришел сказать Марии Леонидовне, что в Париже нынче были брошены бомбы, разрушены дома, горят склады, убитых и раненых больше тысячи. Мария Леонидовна посмотрела на Кирюшу, который широко и вяло посмеивался, и ей стало грустно, что этот человек, теперь уже совсем взрослый, остался тем же ребенком, которым она его узнала двенадцать лет тому назад. Было время, она почему-то теперь особенно часто его вспоминала, когда он вдруг собрался учиться. Был какой-то сумрачный краткий расцвет в этом больном мозгу, он пытался запомнить буквы, но из этого ничего не вышло. Все кончилось коротким и сравнительно благополучным Кирюшиным романом с продавщицей колбасной лавки, сравнительно благополучным потому, что ему только постепенно и очень медленно стало делаться все хуже.

Мария Леонидовна быстро перебрала в памяти Париж. В этом городе находился прежде всего Василий Георгиевич, затем была их квартира, хорошая, светлая, теплая, которую она так любила. Потом были Крайны, Абрамовы, Снежинские, Эдуард Зонтаг, Семен Исаакович Фрейберг, Леночка Михайлова и еще, и еще многие, кто мог быть ранен или убит. И когда она думала о всех этих людях, живших в разных концах города,

то тут, то там на старой, протертой в складках, карте Парижа, которая хранилась в ее памяти, вспыхивало что-то и потухало.

«Да. Это должно было случиться, — сказала она себе. — Еще вчера об этом говорили. И зачем он уехал, да и Крайны могли остаться. Вчера говорили... О чем-то еще вчера говорили? Ах, да! Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Вместо всего этого страшного, убийственного и ложного пожелать то, что в себе одном сочетает все прекрасное, чистое и вечное, как эти облака. Прежде, чем оглохнуть окончательно, услышать, как звезда с звездою говорит.»

Она подошла к маленькому, новенькому радиоаппарату, к которому Кирюше строго запрещено было подходить, и повернула кнопку. Сначала говорил французский голос, потом английский голос, потом немецкий голос. Все это было тесно сжато в маленьком деревянном ящике и только разделено невидимыми перегородками. Голоса говорили все об одном. И вдруг раздалась музыка, пение, не то испанский, не то итальянский язык, сладостно, расслабленно задергались гитары. Но прозвучало слово «аморе», и Мария Леонидовна закрыла аппарат, и подошла к окну, откуда видна была в зеленых, дымчатых, густых овсах, деревенская дорога.

Вторник, среду и четверг в селе был постой: тяжелые, зеленые, зеленью изукрашенные, словно с карнавала, грузовики, на которых суриком были написаны какие-то цифры, привезли пятьсот молодых, здоровых, шумных солдат и четырех офицеров, в длинных шинелях, с усталыми, измученными, лихорадочными лицами. К Марии Леонидовне заявился квартирьер, — дом, который снимали Сушковы, был лучшим во всей деревне — и она тотчас же перевела Кирюшу в столовую, отдав его комнату капитану и помещение во флигеле — трем подпоручикам.

Четверо офицеров спали не раздеваясь, и ночью

по несколько раз приходил их будить дежурный — то маленький, смуглый, желтоглазый, то большой, прямой, с огромным лицом. Василий Георгиевич звонил по телефону каждый день; звонил он на почту, почта была на углу переулка и площади. За Марией Леонидовной прибегал мальчишка с выбитыми передними зубами, и она, в чем была, своей девической, неслышной походкой бежала за ним, вбегала в крошечный дом об одном оконце, схватывала трубку и слушала, как Василий Георгиевич говорит, что все благополучно, что деньги он получил, видел Эдуарда, обедает у Снежинских, приедет в субботу.

— А у меня военные, — говорила она, не отдышавшись от бега, — военные стоят. Я Кирюшину комнату отдала. И флигель.

— Может быть, мне приехать? Тебе не страшно?

— Почему страшно? Прощай.

И в самом деле, она в ту минуту думала, что ей нисколько не страшно, ей казалось, что в том, что она не была одна, а были рядом молчаливые, вежливые, чужие мужчины, было даже некоторое успокоение.

Но ночью она почти не спала. Она слушала. Издалека, в тишине мертвой ночи, начинался далекий, словно шопотом, ход мотоциклетки, еще за лесом был слышен этот звук, какой-то упорный и широкий, который по мере приближения все съуживался и усиливался и вдруг мчался уже по переулку и останавливался у соседнего дома, где стоял дежурный. Мотор затихал, и тогда слышны были голоса, шаги. Стучала калитка. Кто-то входил в дом, к ней в дом, кто-то чужой, и старая слепая собака вставала со своей соломы и с рычаньем шла принюхиваться к следу на гравии двора. Где-то зажигался свет, она слышала, как бегают по дому, по флигелю. Звякает что-то, хлопает дверь. А Кирюша спит рядом, в столовой, куда она оставляет открытой дверь, и страшно уже не этих ночных звуков, а всего того, что делается в мире в эту ночь.

И не молчаливых, чужих мужчин было ей страшно, — они на третью ночь ушли, оставив настеж и двери дома, и калитку, без огней выведя из села разукрашенные свежими ветками грузовики, — и не дежурных, ходивших к ним, и не пятисот размещенных по селу полутрезвых, сильных солдат, — ей было страшно воздуха, июньского теплого воздуха, в котором катились по горизонту пушечные выстрелы, который тихо плыл на нее, на дом ее, на сад, вместе с летними тучами, и было несомненно, что это дуновение, которое чем-то похоже на самое время, в конце концов донесет до них всех нечто сокрушительное и гибельное, как сама смерть. Как, при взгляде на календарь, уже никто не сомневался, что через пять, десять или пятнадцать дней произойдет нечто ужасное, так ощущая днем и ночью на лице этот ветерок, можно было сказать наверное, что с ним вместе придут к этим местам убийство, завоевание, раззорение и тьма.

А он, этот воздух, в последние дни, был тепел, прозрачен и пахуч. Кирюша работал в саду, каждый вечер поливал клумбу перед домом, выхаживал соседских утят. Мария Леонидовна, в ярком ситцевом платье, повязав голову платком, убрала флигель, нашла забытую сумку с патронами и два распечатанных письма, которые выбросила не читая. В умывальной чашке были окурки, и обгорелая газета валялась на полу. Она постелила Кирюше в его комнате и велела пришедшей бабе вымыть во всем доме полы.

В тот же день, под вечер, к соседям приехали беженцы из Суассона, две толстые, бледные женщины, старик и дети. Матрас полосатого тика был положен на крышу грязного автомобиля и на удивленные вопросы местных жителей приезжие объяснили, что это теперь делают все, что это предохраняет от пуль. Старика за руки и за ноги втащили в дом: он был в беспамятстве.

Другие беженцы приехали к ночи в тот голубой

краской выкрашенный, какой-то игрушечный дом, что стоит против церкви. Говорили, что часть постоя не ушла, а осталась на ночь в другом конце деревни. Казалось, в каждом доме есть кто-то чужой, пришедший или приехавший издалека, и спрятавшийся здесь на ночь. Огней не было, все было темно, но за ставнями всюду слышались голоса, кабак гудел криком, пением, галдежом, и под платанами долго не расходились шепчущиеся старухи.

Мария Леонидовна заперла входную дверь, занавесила окна, убрала остатки ужина и, как она это делала всегда, пока Кирюша ложился, разговаривала с ним, сидя в соседней комнате. Время от времени он радостно восклицал:

— А я зубы вычистил! А я левый башмак снял!

И если бы не знать, что там девятнадцатилетний мужчина, который страшно много ест, громко храпит во сне и не знает грамоте, можно было бы подумать, что там ложится спать десятилетний мальчик, шутки ради говорящий басом.

Когда она потушила свет в столовой и у него, и ушла к себе, она долго стояла у открытого окна и смотрела туда, где днем видны были овсы и дорога. Завтра должен был вернуться Василий Георгиевич. Эта мысль была ей приятна и утешительна, но она сегодня почти не вспоминала о нем, она весь день думала о Моцарте.

То есть, не о нем самом. Сейчас, в этой слишком тревожно стихшей ночи, в самый край которой был воткнут только-что родившийся, острый месяц, мысли ее приобрели особенную ясность. Она весь день, вернее, все эти дни и весь нынешний вечер задавала себе один и тот же вопрос, и не было на него ответа: отчего все страшное, жестокое, горестное так легко материализуется, то есть приобретает твердый образ, и тем сильнее давит на душу, и отчего все высокое, нежное, полное неожиданности и очарования, проходит

тенью по сердцу и мыслям и его нельзя ни тронуть, ни рассмотреть, ни почувствовать его вес и форму? «Только любовь, пожалуй, — думала она, стоя у окна, — да, одна любовь дает эту радость. Но тот, кто не хочет больше любить, кто не может любить? Мне некого, мне поздно любить. У меня есть муж, мне никто не нужен.»

И внезапно ей показалось, что осторожно стукнула щеколда калитки, и она явственно услышала, как кто-то вошел во двор, сделал два шага и остановился.

III.

— Кто здесь? — тихо спросила она. Полной тьмы еще не было, и неясная, слабая тень человека лежала на белесом гравии двора. Она двинулась, шорхнул гравий. Человек должен был ясно видеть Марию Леонидовну такой, какая она стояла в открытом окне, в первом справа от входной двери. Дверь эта, как помнила Мария Леонидовна, была заперта на ключ. Но человек, идущий через двор медленно и прямо, ничего не ответил. Его едва было видно. Он взошел на ступени крыльца, остановился в трех шагах от Марии Леонидовны, протянул руку и дверь открылась. И когда он уже вошел в дом, она захотела крикнуть, но, как во сне, крика не было.

Он был бледен и худ, с торчащим носом и спутанными волосами; все, от сапог до шляпы, было на нем с чужого плеча. Пыльные руки были так тонки и слабы, что он и не пытался ими что-либо делать. Все лицо было устало, зелено и молодо, но это не был мальчик; видно было, что он кажется моложе, чем он есть, что на самом деле ему может быть и за тридцать.

— Простите, я испугал вас, — сказал он по-французски, но с легким иностранным акцентом, — не мог бы я здесь где-нибудь переночевать?

Она при свете лампы, освещавшей просторную при-

хожую, смотрела на него, стоя молча и едва владея собой. Но как только он произнес первые слова и взглянул на нее долгим, колеблющимся взглядом, так прошел ее страх, и она спросила:

— Кто вы?

Но он опустил глаза.

— Откуда вы?

Он слегка поежился, придержал пальцами поднятый ворот широкого пиджака, надетого, быть может, на голое тело.

— О, издалека, издалека... Я так устал. Я бы прилег, если бы можно было.

«Бельгиец, — решила она, — а может быть и француз из какой-нибудь незнакомой провинции. Солдат или беженец? По возрасту — солдат, по виду — беженец. Может быть, шпион?»

Она повела его во флигель, все время думая о том, что он может ударить ее сзади, но одновременно зная, что он этого не сделает. Когда они вошли в комнату, она уже совершенно его не боялась. Он даже не взглянул вокруг себя, молча подошел к кровати, сел на нее и закрыл глаза. Между башмаком и штаниной она увидела его худую, голую ногу.

— Вы хотите есть? — спросила она, закрывая изнутри ставни низкого створчатого окна, — по военному времени свет не должен был быть виден на дворе.

— Что вы сказали? — переспросил он, вздрогнув.

— Я спросила, не хотите ли вы чего-нибудь съесть?

— Нет, благодарю вас. Я закусил в здешнем ресторанчике. У них все полно, и они не могли мне дать ночлега.

Она поняла, что ей пора уйти.

— Вы один? — спросила она еще, мимоходом переставляя что-то на столе.

— Как один?

— Я хочу сказать: пришли вы сюда, в деревню, с товарищами или как?

Он поднял глаза.

— Я пришел один, и вот так, без всякого багажа, — усмехнулся он, не показывая зубов. — И я не военный, я штатский. Я — музыкант.

Она еще раз взглянула на его руки, пожелала ему спокойной ночи и показав, где тушится свет, вышла из комнаты.

На этот раз она двумя поворотами заперла дверь и почувствовав какую-то особенную, звериную усталость, сейчас же легла и уснула. Утром она, как всегда, встала рано; Кирюша уже был в саду и горланил какую-то песню, во флигеле все было тихо. Перед завтраком она забеспокоилась, не случилось ли чего: ставни и дверь были по прежнему закрыты. «Неужели спит?» — подумала она. В четыре часа должен был приехать Василий Георгиевич и она перед этим пошла опять посмотреть, не встал ли постоялец. Она приоткрыла дверь в крошечные сени и оттуда другую — в комнату. Человек спал, ровно дыша; из всей своей одежды он не снял ничего, даже сапог. Он лежал навзнич на широком матрасе, подушка лежала в стороне. Мария Леонидовна закрыла дверь.

Василий Георгиевич приехал с опозданием — поезд, шедший из Парижа, долго стоял на каком-то мосту. Со станции до дома Сушков нес на своем высоком, твердом плече привезенный из Парижа большой чемодан, почти сундук, — это были вещи, собранные в парижской квартире, без которых Василий Георгиевич не представлял ни своего, ни своей жены существования. Здесь было его зимнее пальто и ее старая беличья шубка, теплое нижнее белье, которое он всегда носил зимами, альбом пражских фотографий (он долго жил в Чехии), дорогой бинокль в чехле, фунт сушеных винных ягод, которые он любил иметь в запасе, хорошо переплетенное издание «Lettres persanes» Монтескье и прошлогоднее бальное платье Марии Леонидовны, сшитое по случаю какого-то благотворительного бала,

на котором она продавала шампанское. При виде теплого белья и шуб в июне месяце, Мария Леонидовна удивилась. Но Сушков уверил ее, что Париж могут отрезать, или, может быть, им придется отсюда бежать, и тогда ничего неизвестно.

«Бежать отсюда? Да, конечно, надо бежать, если все побегут. Вон беженцы из Суассона опять увязывают вещи и старика опять тащут из дома в автомобиль.» Она взяла газету, привезенную мужем, но ничего не узнала из нее. А Василий Георгиевич рассудительно и нежно говорил ей что-то, рассказывал, спорил сам с собой, передавая, что думают о происходящем Снежинский и Фрейберг, и все, что он говорил, было точно, справедливо и не глупо.

— Что-ж, уехали твои офицеры? — спросил он ее. — Беспокойно было?

— Уехали, но во флигеле со вчерашнего дня какой-то (она хотела сказать тип, но не смогла), какой-то человек ночует. Тихий, все спит. Верно, сто верст пешком прошел.

— Боже мой, остаешься одна с моим кретином и не боишься пускать чужих, — воскликнул он, никогда не стесняясь в словах, когда дело касалось Кирюши. И поймав ее руку он, оцарапавшись ее острым ногтем, жадно поцеловал ее несколько раз.

Перед вечером, Кирюша бессвязно рассказал, что живущий во флигеле ушел. А через час Мария Леонидовна услышала, как он вернулся и снова заперся.

— Этот человек вернулся и наверное опять будет спать. Ты не ходи к нему, — сказала она Кирюше.

И весь следующий день было то же: гость либо лежал, либо сидел у окна и неподвижно молчал, словно чего-то дожидаясь, либо на короткое время уходил в деревню, шел переулочком, пощадью, платановой алеей, покупал себе что-нибудь съестное и тихо возвращался назад.

Странные мысли приходили в голову Марии Леонидовне. То ей казалось, что человека этого непременно арестуют. Почему он не сказал ей своего имени? Почему он одет в одежду, ему непринадлежащую? Если он не шпион, то дезертир. Может быть, он русский? Мария Леонидовна привыкла за много лет жизни за границей к тому, что среди французов чудаков не бывает. Есть ли у него паспорт, или он все бросил, потерял? Выбежал из дому в белье, добрые люди собрали ему одежду? Но возможно, что у него все в порядке и он только сдвинутый со своего места молоденький, одинокий музикус, где-нибудь пилит на скрипке, или дает уроки девицам, или так что-нибудь сочиняет для себя, мечтая прославиться на весь мир?

Но странные мысли приходили и уходили, а жизнь продолжалась беспрерывно, и уже непохоже было это воскресенье на предыдущее, когда так по самоварному сидели в саду с Крайнами. Из города не приехал никто. В пять часов приехали на велосипедах Чабаров и Дону. Они втроем с Василием Георгиевичем долго сидели у него в кабинете и говорили, конечно, о войне, но уже по другому, чем неделю тому назад: они говорили о своих надеждах, и Дону говорил о своих надеждах, о том, что на Сене и Марне можно еще остановить это безумное, это железное наступление. Каждый раз, как Мария Леонидовна входила к ним, ей казалось, что француз хочет сказать ей что-то. Он вставал и обращался к ней одной, и это почему-то было ей неприятно, он производил на нее (впрочем, только на нее одну), впечатление истерика, и она выходила из комнаты и потом боялась натолкнуться на него в столовой, во дворе, в саду.

Объяснить своего чувства она не могла, но невеселое, решительное, слишком выразительное лицо Дону было у нее все время перед глазами. Она стала готовить чай, и вот он вышел в столовую, словно нечаянно притянув за собою дверь, и Мария Леонидовна по-

чувствовала, что он ей сейчас скажет что-то такое, чего она не забудет во всю жизнь.

— Nous sommes perdus, madame, — сказал он негромко, глядя ей в лицо своими небольшими неопределенного цвета глазами. — Сам император Наполеон, которого я хотел воскресить в прошлое воскресенье, ничего бы не мог сейчас сделать. Я говорю это только вам, и вы примите решение, когда и куда вам отсюда ехать. Paris est sacrifié.

Он побледнел, лицо его исказилось, но он неестественно кашлянул, и снова все стало на место. Она оставалась неподвижной, с фаянсовой сахарницей в руке.

— Сражения на Луаре не будет. Линию Мажино возьмут с тыла. Ничего вообще не будет. Все кончено. Они дойдут до Бордо, до Пиринеев. И тогда мы будем просить мира.

Василий Георгиевич и Чабаров в это время вышли в столовую и все сели к столу.

Она верила ему, но до конца все-таки поверить не могла, и потому, оставшись вдвоем с Василием Георгиевичем, не могла и его убедить в том, что все так и будет, как сказал Дону. Она говорила: «Знаешь, мне кажется, что лучше тебе больше в Париж не ездить. Уложимся завтра и двинемся, хотя бы во вторник, все трое на юг. Ну проведем месяц-другой где-нибудь в Провансе, пока все уляжется. Не все ли равно?» Он слушал ее серьезно, но согласиться никак не мог. «Что скажут обо мне в конторе? Первым трусом назовут. Поеду завтра в Париж и даю тебе самое честное-расчестное, вернусь в среду, даже если все будет спокойно вернусь. Мы чего не видали то? Это им страшно, а мы и не в таких бывали... И никакие события не идут таким алюром. Таким а-лю-ром», — пропел он бойко.

И снова на следующий день она осталась одна с

Кирюшей. А во флигеле продолжал жить прохожий человек.

Он продолжал вставать поздно, сидеть у окна и смотреть на двор, на деревья, на небо. Сидя прямо, положив руки на подоконник, он смотрел и слушал с равным и печальным вниманием, и птиц, шумно возящихся в кустах сирени, и дальнюю пушечную пальбу, и людской говор за воротами и в доме. Раза два в день он вставал, надевал свою выцветшую, слишком большую шляпу, или брал ее в руку, и выходил, тихо стукнув калиткой. Он шел по деревне, приглядываясь, к тому, что происходит, как с каждым днем все тревожнее, оживленнее и злее делается народ. Вечерами он долго сидел — уже не у окна, но на пороге флигеля, полузакрыв глаза, положив свою ленивую руку на голову старой собаки, которая приходила сидеть с ним рядом. Смеркалось ,поблескивал месяц; что-то угрожающее было в ясном небе, в тихих полях, в дорогах, бегущих туда и сюда, в этом лете, в этом мире, где судьбе угодно было заставить его жить. Казалось, подперев рукой тяжелую голову, он вспоминает что-то, и оттого так много молчит, что это не удается ему. Откуда он? И куда ему идти, и надо ли идти дальше? И что такое жизнь, это биение, это дыхание, это ожидание, и восторг, и горе, и война? И зачем он сам, такой слабый, с могучей гармонией в груди, с мелодией в ушах, зачем он среди всего этого, среди пушечного, уже непрерывного гула, среди этих сборов по деревенским дворам, где выводят коней, привязывают коров, укладывают скарб, зашивают золото? У него ничего нет. Нет даже узла. Нет родных, нет любовницы, которая зашила бы ему рубашку, сварила бы кашу, примяла и согрела бы постель. У него есть только музыка. Так он рос, так было с детства. Ноги, чтобы носить его, руки, чтобы закрыться от людей, и музыка, а больше ничего. Но не стоило приходить, нет, не стоило, в этот мир, где он останется неузнанным и неуслы-

шанным, где он слабее тени, беднее птицы, глупее самого глупого полевого цветка.

Кирюша, увидев, что собака сидит с ним рядом и не боится, тоже пришел и сел, правда, не на крыльцо, а вблизи него, на камень. И так они все трое просидели долго, молча, пока не стемнело, и тогда Кирюша, глубоко вздохнув, расхохотался долгим, идиотским смехом, и ушел в дом.

IV.

В среду утром, Василий Георгиевич не приехал. Телефон с Парижем уже два дня не действовал, и Мария Леонидовна решительно не знала что думать. Говорили, что поездов нет, что газеты не вышли, что проехать в Париж нельзя, а из Парижа люди едут вторые сутки. Все село снималось и уходило, и те, которые еще накануне осуждали бегущих, испуганных людей, сами грузили вещи на подводы, автомобили и детские колясочки. Какие-то мальчишки и девчонки целой стаей умчались на велосипедах, а по большой дороге, проходившей в версте от села, в три ряда шли повозки и машины. Весь день ходили по деревне слухи, все время не прекращалась приблизившаяся стрельба и высоко в небе плыли серебряные аэропланы. Некоторые автомобили, взяв в объезд, попадали на платановую аллею, не знали, как выбраться, петляли, и опять возвращались на большую дорогу, шагом втирались в бесконечную цепь и уходили на юг.

Там шла артиллерия, шли цыганские таборы, грузовики, нагруженные гросбухами (а на них сидели бледные бухгалтеры, эвакуируя банк, основу государства); там шагали пешеходы, ехали велосипедисты, двигалась расстроенная кавалерия, на легких лошадях, в перемежку с першеронами, впряженными в длинные телеги, на которых стояли швейные машины, утварь, мебель, бочки. Высоко на скарбе сидели старухи, и в автомо-

билях сидели старухи, мертвенно бледные и простоволосые; старухи шли пешком, некоторых вели под-руки, и опять шли войска, везли старенькие пушки, великолепный, пустой красный крест шел следом за гоночной машиной, из которой свешивалась лопоухая собака, похожая на мех. Потом везли раненых, и некоторые уныло сидели, держа в руке собственную ногу или руку, обрубок, из которого капала на дорогу кровь. Других рвало пустотой и слюной. Везли сено, немолоченную пшеницу, уходили заводские станки и цистерны с нефтью, и до горизонта был виден этот странный, живой, и уже мертвый поток.

До самого вечера Мария Леонидовна убиралась и укладывалась, понимая, что Василий Георгиевич поездом приехать не сможет, как не смогут и они выехать отсюда поездом. Из дому была видна большая дорога, была видна с утра непрекращающаяся, медленно текущая, иногда останавливающаяся, река бегущих. Мысль о том, что она останется одна, когда все уйдут, беспокоила ее, особенно же мысль о возможном невозвращении Василия Георгиевича. Беспокоил ее и Кирюша, который, среди поднявшейся тревоги, вдруг стал преувеличенно смешлив и непонятлив. Среди дня она несколько раз видела своего молчаливого жильца, даже поздоровалась с ним издали, и решила, что непременно поговорит с ним, разузнает о нем, может быть, поможет ему, и это решение заняло ее на несколько минут. Настал вечер, она собралась ужинать, и только что они сели, как послышался звук мотора: какой-то успокоительный, знакомый звук; на двор сушковского дома въехали две машины: в одной сидели трое Крайнов, в другой — Эдуард Зонтаг, Василий Георгиевич и старуха Сушкова. Обе машины выехали из Парижа накануне вечером, были в пути всю ночь и весь день.

Манюра Крайн даже расплакалась, когда вошла в дом. «Это слишком, слишком! — говорила она своим

большим ртом. — Этого нельзя вынести. Детей ведут пешком, старики ковыляют на костылях. Нельзя будет во всю жизнь забыть...» Но Мария Леонидовна едва успела обнять ее, как надо было здороваться с Зонтагом, с Магдалиной, идти за мужем в другую комнату и слушать его взволнованные слова о том, что он еще вчера днем понял, как она была права, что надо было выехать в воскресенье, что теперь они могут не успеть.

— С Кирюшей нехорошо, — сказала она ему, так как считала это все-таки главным, даже сегодня.

Эдуард Зонтаг был связан с Василием Георгиевичем давними деловыми узами и между ним и Сушковым существовали какие-то одним им известные, слегка натянутые отношения. Он держался несколько в стороне, почему-то считая Крайнов родственниками Марии Леонидовны, и курил толстую сигару. Он был маленького роста и говорил, что чем меньше человек, там толще сигары он курит.

Яичница, холодное жаркое, салат, сыр, яблочный торт — всё появилось на столе как то сразу, и все стали закусывать, безтолково и жадно, ощущая блаженство в довольстве этого дома, и понимая, что завтра всего этого уже не будет. Пили много, говорили много, рассказывали о том, как и когда решено сдать Париж, о том, как бомбардированы были северные и западные его окрестности, и особенно о том, как все все бросили и бежали, и те, кто готовился к этому, и те, кто ни за что не хотел трогаться с места; как пять часов, в полной тьме, этой ночью, они двигались от квартиры, где жили, до выезда из города, среди тысяч и тысяч таких как они, как гас мотор, кипела вода, как по очереди спали.

Потом был совет: в котором часу завтра ехать и какую дорогу предпочесть? Долго наклонялись над картой, чертили что-то, тянули ее, и опять что-то пили, и даже закусывали, особенно мужчины. На дворе баба-соседка зарезала двух кур и Манюра потрошила их

на кухне, на широком столе, запускала куда-то руку с лаковыми ногтями в кольцах, и тянула что-то скользкое. Магдалина и Мария Леонидовна, сидя на корточках у бельевого шкапа, искали еще одну наволочку для Эдуарда. Мужчины решали: заезжать или не заезжать за Чабаровым, и старуха Сушкова тоже хотела высказать свое мнение, но никто ее не слушал.

Она ушла к себе, то есть в комнату Кирюши, где должна была ночевать, и там сразу пренеприятно запахло ее духами. Крайнам нашлось место в доме, но Эдуарда Зонтага пришлось положить во флигель.

— Подождите, я сейчас, — сказала Мария Леонидовна и побежала наискось, через двор.

Она постучала в дверь. Он лежал на кровати и не спал, и когда она вошла, приподнялся, медленно спустил длинные ноги в рваных сапогах и провел рукой по волосам, словно хотел их пригладить, причесать, придать им подобие прически. Она заговорила мягко, едва глядя в его сторону.

— Простите, но так вышло: у нас полный дом гостей. Люди не спали прошлую ночь и поместить некуда. Я прошу вас, тут у нас есть сарайчик при гараже. Вы перейдите туда. Мне неловко вас беспокоить, но вы понимаете, что иначе никак невозможно. И потом, мы ведь все равно завтра утром уедем, и тогда вам тоже придется уйти, потому, что мы все запрем и ключи увезем. И остаться вы не можете.

Он встал и в полутьме (лампочка горела в сенях, и оттуда падал невеселый, холодный свет) стал ходить по комнате, не зная, видимо, как лучше ей ответить.

— Завтра утром? Так зачем же в сарайчик? Я сегодня уйду.

Она не могла не почувствовать удовольствия от сказанного им.

— Выходит, что я вас гоню, чуть ли не ночью. Я прошу вас остаться: там есть складная кровать. А завтра утром...

— Нет, я уйду сейчас. Ведь кажется, все уходят?

— Да, если еще не ушли.

— Так вот я и уйду. Спасибо, что разрешили столько дней провести у вас. Право, я очень благодарен вам, вед это не всякий позволит. Буду долго помнить, очень долго.

У него оказалась толстая палка, которую он верно вчера срубил в лесу. Мария Леонидовна встретилась с ним глазами и его взгляд смутил ее.

— Подождите, я принесу вам... — она повернулась и легко пошла от него.

— Не надо, мне ничего не надо, — крикнул он твердо, — не беспокойтесь пожалуйста. Прощайте.

На дворе мужчины перевязывали что-то на крыше Крайновской машины. Она побежала в дом, вынула пятьдесят франков из сумки, завернула в салфетку остатки ростбифа и кусок булки, и вернулась во флигель. Так же в сенях горела лампочка, но никого уже не было. Непостижимо быстро, неслышно, незаметно он ушел, и в комнате было так, как если бы он никогда в ней и не жил: ни один предмет не был сдвинут с места.

Она огляделась, словно он мог еще стоять где-нибудь в углу, вышла, опять вернулась, потом пошла к калитке, открыла ее. Кто-то уже довольно далеко — шел один по переулочку. Она мгновение смотрела ему вслед и вдруг беспричинные слезы выступили у нее на глазах, и она перестала что-либо видеть. Это было следствием тревожного, одинокого дня.

«Уходит, уходит», — сказала она вдруг тихо, но вслух, как иногда говорят какое-нибудь бессмысленное слово, и залилась слезами; и не понимая, что с ней и почему вдруг такая нашла на нее слабость, она тихонько закрыла калитку и пошла в дом.

А утром началась жизнь, уже ничего не имеющая общего ни с ушедшим постояльцем, ни с тайными мыслями Марии Леонидовны. Автомобили нагрузили

так, что запасное колесо чиркало сзади по земле. Дом заперли, Кирюшу посадили между отцом и бабушкой — он в этот день выказал первые признаки буйства и это старались скрыть. Эдуард Зонтаг, выспавшийся, свежий, но озабоченный недостаточным количеством взятого бензина, опять долго смотрел в карту, прежде чем двинуться. В первой машине ехали Крайны и Мария Леонидовна. Манюра все говорила без умолку.

По совершенно опустевшей деревне они медленно, туго, все чиркая запасным колесом, проехали до леса, и там боковыми проселочными дорогами двинулись в сторону Блуа. Проезжая мимо замка, где Чабаров служит в дворниках, они остановились. Чугунные ворота замка были раскрыты настеж, на английском газоне, между молодыми кедрами, паслись нерасседланные лошади, — здесь стоял со вчерашнего дня французский эскадрон. Солдаты лежали на траве перед домом, стекла нижнего этажа были выбиты. Громадная двухсветная зала сквозила в них фарфором, бронзой, зеркалами.

Чабаров вышел в вельветовых брюках и такой же куртке. Низ его лица был покрыт седой щетиной. Не здороваясь, он сказал, что ехать никуда не может, что должен остаться здесь: накануне вечером Дону (жившего рядом в деревушке), нашли застрелившимся у себя в доме и так как во всей округе некому было его хоронить, Чабаров решил зарыть тело у себя в саду.

— Если эти молодцы, — сказал он хмуро, указывая на солдат, — останутся до вечера и я успею вырыть подходящую яму, то они будут у меня свидетелями, и я ничего лучшего не желаю. Но если они до того удерут, придется подождать, пока придут другие власти. Штатского населения у нас тут не осталось.

Все притихли, прощаясь с ним. Крайн даже обнял его, выйдя из автомобиля, а уже через минуту обе

машины, тяжело оседая, пошли близко одна за другой, под гору.

В этот день, пальба слышалась уже с противоположной стороны, с северо-западной, и в небе, с совершенно новым звуком, дотоле никогда неслышанным, похожим на вой, парило два немецких истребителя.

1940.

П л а ч

Борису Зайцеву

I.

Мою сестру звали Ариадной. Мне было девять лет в тот незабвенный, снежный, голодный год, когда она кончила школу и стала взрослой, и так как в этот же самый год умерла моя мать, — в одной из холодных, пустых клиник Петербурга, — то случилось так, что в два месяца изменилась вся наша жизнь и изменились мы сами.

Была квартира в Ротах, была прислуга, без присмотра которой меня не выпускали на улицу; был чудаковатый отец и неслышная, нездоровая, какая-то неживая от всех своих долгих болезней мать; была видимость семьи и борьба за существование. И вдруг все опустело, выцвело, смерклось. После второй операции были тихие похороны. Ариадна заложила волосы жгутом на затылке, наколола на шляпу креп; папа поседел, похудел, стал совсем сумасшедшим, каким-то веселым сумасшедшим, часто от веселья плачущим; прислугу отпустили, квартиру заселили чужими людьми, и я стала бегать в кооператив, в хлебный распределитель, на пути Варшавского вокзала, где иногда бывало молоко.

Долгая эта зима двадцатого года соединила нас тро-

их в одной комнате, в бывшей нашей столовой, посреди которой стояла железная печь. Жизнь наша шла вокруг этой печки, где вечерами дрожало медленное, тяжелое тепло. Отец кряхтел и похохатывал за ширмами и оттуда говорил свои остроты, от которых я еще тогда смеялась во весь свой громкий смех, а Ариадна не улыбалась даже глазами. За ширмами он раздевался и одевался, читал, спал и бормотал. В комнате же иногда бывало так, будто мы с Ариадной только вдвоем и есть на свете. Особенно вечерами, когда мы ложились с нею спать на один широкий кожаный диван, стоявший раньше в кабинете отца. Из каждой комнаты сюда была занесена случайная мебель. Мы ложились головами врозь и укрывались каждая своим одеялом. И когда все гасло и только розовато шевелился последний огонь за печной заслонкой, гоняя и колебля тени на светлой стене, я засыпала, обняв ее колени.

Я согревала их, я прижимала их к себе, к своей детской, сильной груди; я разговаривала с ними, как не могла разговаривать с самой Ариадной. Я рассказывала им что-нибудь, я мечтала шопотом, я называла их ласковыми именами. Во сне она шевелилась, уходила от меня, опять возвращалась. Белое пятно какого-то света — не то фонаря, не то луны — дрожало в углу потолка, над папиной ширмой. Я тихонько плакала, я смеялась от счастья; я боялась жизни, я верила в нее; я хотела чего-то громадного, я сама себе казалась слишком маленькой; я была всюду первая, и я никому не была нужна.

Из долгой, почти непрерывной ночи, мы переходили в долгий, почти непрерывный день, ложились когда было совсем светло и вставали при ярком майском свете. Да, она была уже взрослой, она стала взрослой в тот год, у нее нежно закруглились руки и вытянулось тонкое лицо. Она была так худа, что когда раздевалась, чтобы умыться с головы до ног в большом тазу (а я поливала ее, стоя на табурете), видны были все ее

косточки, тут и там шевелившиеся под кожей, а розово-голубая грудь, которая шевелилась тоже, то совсем пропадала (когда, например, Ариадна поднимала руку), то появлялась снова (когда она наклонялась).

Вечерами отца не бывало дома и мы особенно тихо и трудолюбиво проводили вместе эти вечера. Мы купались, стирали свои рубашки, мыли друг другу головы, стригли волосы, что-то перешивали, что-то штопали. Иногда, копаясь в сундуках, мы находили какой-нибудь старый капот или немодную, смешную пелерину и Ариадна примеряла ее, ходила по комнате, заглядывала в зеркала, потом забывала ее на себе и в ней продолжала выдумывать мне и себе прически, приделывать какие-то пряжки к разношенным туфлям, играть выцветшими лентами. Она воображала таинственный маскарад, на котором ей суждено было вот-вот появиться; должна была начаться жизнь, — не эта, убогая, полуголодная и скучная, а какая-то другая, но она все не начиналась. Она произносила, отставив руку, закинув голову, великолепный, бессмысленный монолог, от которого слезы сверкали в глазах у нее, а у меня текли по щекам. И все, что она ни делала тогда, — а было ей восемнадцать лет в то лето, — значило только одно: где-то есть жизнь, где-то есть неожиданность счастья и произвол судьбы, и надо быть готовой ко всему, когда распахнутся наконец двери в бальный зал, полный света и музыки.

Отец возвращался со службы поздно вечером, съедал горшок каши, запивал его черным чаем без хлеба и сахара. Иногда мы обе уже спали, и он будил нас своими тяжелыми сапогами, от которых вот-вот казалось отскочит подвязанная веревкой подошва. Изредка он подходил к нашему дивану и смотрел на Ариадну, на меня, опять на Ариадну. Она открывала светлые глаза, просовывала руку с прозрачным колечком между щекой и подушкой, говорила: «Ах, папа!» — с каким-то печальным укором. А он уже готов был сесть

в кресло и разматывать одну из своих нелепых историй, часто начинавшихся так:

— Однажды, Марк Твэн сказал мне: послушайте-ка мистер, забыл ваше имя-отчество...

В сентябре Ариадна поступила на службу в музей и я опять целыми днями стала оставаться одна.

После ее ухода с мышьей неутомимостью, с муравьиной выносливостью начинала я свой трудовой день Я мыла пол, стояла в очередях, бегала за пайками, готовила и стирала. Иногда, когда не под силу было поднять большую кастрюлю с борщом или котел с кипящим бельем, я звала из соседней комнаты старую. стриженную, с трубкой в зубах, графиню Рыдницкую, и она помогала мне. В каждой комнате нашей квартиры, — а всех их было пять — жила отдельная семья, со своими детьми, со своей печкой и стиркой, и только графиня жила одна и все ждала, когда ей позволено будет уехать на родину, но бумаги ее все не приходили.

После завтрака отец уходил на службу, а я опять принималась что-то чистить и скрести, между жесткой воблой и затхлым пшеном насилуя свое детское воображение. Потом я шла к графине и там слушала ее рассказы о несбыточной, нарядной и веселой жизни, об усатых мужчинах, кружевных накидках, меховых рукавичках и Божьей Матери.

В шестом часу мы садились с Ариадной за стол. «Ты бы хоть Пушкина почитала, — говорила она мне. — Хорошо бы тебя в школу отдать, а графиню нанять обед готовить.» И я знала, что эта бестолковая жизнь моя скоро кончится, что я скоро начну учиться. В десять лет я была сильна, с красными руками и грубым голосом, носила финскую шапку и шитые из войлока сапоги, и целью моей детской жизни было: урвать где-нибудь что-нибудь съестное и принести домой.

Она приходила со службы, раздевалась и, сидя за столом и глядя перед собой, принималась мне расска-

зывать свой день. В музее она сидела не там, где висят картины и ходят люди, но в задних комнатах, где ведутся книги и всегда что-то укладывают и раскладывают. У нее был хороший паек: табак, селедки, иногда сало и крупа. Мне приходилось брать с собой наши детские санки, когда я ходила за ним. И как я впрягалась в них, как бойко шла по обледнелым мостовым, по крутым мостам Екатерининского канала, теребя замерзающий нос, перекинув косу за ухо!

Я уже знала и Георгия Серафимовича, ее начальника, и Веру Сергеевну, сослуживицу, и приходящих изредка, как у них говорилось «музейных работников» — профессора Максимовского, палеонтолога Гризе и поэта Андрея Звонкова. И я так хорошо и верно воображала большую комнату, где у высокого окна сидит за столом Ариадна и круглым почерком, клонящимся влево, записывает что-то в громадную книжищу. Напротив сидит Вера Сергеевна в шолковой кофточке; в нее все влюблены, она знакома со всеми писателями Петербурга и каждый вечер ходит в театр. А Георгий Серафимович в шапке и калошах, страшно образованный и всегда всем недовольный, ползает между какими-то ящиками с древностями и все бранит кого-то, и грозит, что уедет жаловаться в Москву.

Мне казалось тогда, что жизнь, которой мы живем, которой живут все кругом в этом единственном на свете городе (потому что о других городах я не имела ни малейшего понятия), что эта наша жизнь с вечно сосущим нас голодом, с холодом, с рваным бельем, дырявыми башмаками, с черной сажей печки, тьмой на улицах, льдом, страхом тяжелого сиротского конца, тюрьмы, сумы, разлуки, больницы, есть единственно существующая в мире жизнь. И так же, как я не могла вообразить себе никогда не виданного апельсина или берега моря, так я не могла бы поверить тогда, что бывают на свете бесполезные подарки, бесцельные прогулки, праздные деньги, тепло и покой.

А между тем, графиня Рыдницкая приходила к нам иногда и рассказывала Ариадне и мне о меховых рукавичках и кружевных накидках, и убивалась над нами, — надо мной, потому что у меня не было «золотого утра жизни», как она выражалась, над Ариадной потому, что юность ее проходила без той туманной поэзии, которую графиня так любила.

— Бедные мои девочки, — говорила она, попыхивая трубкой, — бедные мои весенние цветы!

Ариадна пригорюнивалась при этом, покусывая свое светлое колечко, а я принималась так же грубо и громко хохотать, как хохотала над отцовскими остротами, хотя и чувствовала (никогда никому не признаваясь в этом), что в чем-то она права, только не совсем, а так, немножко. И чувствуя это, я боялась, что смех мой перейдет в слезы.

Еще приходили к нам две барышни, две сестры Дюковы, подруги Ариадны по гимназии, Люда и Тата, большие, полногрудые, красивые девушки. Сначала они не доверяли мне и требовали, чтобы я на самом интересном месте их разговоров затыкала себе уши, но потом они привыкли ко мне. «Эта Саша! Ох, уж эта Саша!» — говорили они вместе, а то и в три голоса с Ариадной: — «Ох, уж эта ваша-наша Саша!» И это «ох» имело отношение к моему бесстрашию, к моим быстрым ответам, к моим вороватым глазам и сильным рукам, хватающимся решительно за все и крепко за все держащимся.

Она была во много раз лучше и Люды, и Таты, моя Ариадна, с ее громадными глазами, легкими волосами, хрупким телом и такой, как мне тогда казалось, особенной душой, какой ни у кого не было. Слушая их разговоры, шедшие обычно в перемежку с шопотом и смехом, я начинала понимать, что одна из Дюковых собирается замуж, то есть собирается переехать из родительского дома, от сестры, к чужому всем нам человеку, да еще расписавшись с ним в комиссариате, и

основой всей этой катастрофы была ее любовь к этому чужому, кажется, не очень молодому человеку, и его любовь к ней, о которой главным образом и говорилось шопотом на нашем диване. Я начинала понимать и то, что другая Дюкова, тоже влюбленная в какого-то мужчину, испытывает невообразимые препятствия к тому, чтобы соединиться с ним так, как бы она того хотела. Мысль, что и Ариадна может когда-нибудь выйти замуж, переехать от нас, оставить меня одну с отцом, в пустоте и беспросветном мраке моей жизни ужаснула меня. Я стала по особенному приглядываться к ней, и то, что я заметила, испугало меня.

Я заметила в ней постепенно все увеличивающееся равнодушие к нам, словно мысли ее были уже заняты чем-то другим. Она приходила позже, уходила раньше; она вечерами стала бывать где-то, о чем никогда не рассказывала. Она стала иначе спать — ее дыхание не могло обмануть меня. И даже в самом лице ее я заметила перемену.

Помню в одно из первых воскресений нового, двадцать первого, года, мы все сидели вместе; отец что-то писал за своим письменным столом и время от времени, равнодушно поглядывая в нашу сторону, говорил что-нибудь фантастическое, отчего все недоуменно переглядывались. Мы сидели на нашем диване, Ариадна посередине, Люда и Тата по бокам, а я то с одной стороны, то с другой старалась примоститься на ручке, но меня все отпихивали и даже один раз положили на пол.

— Бывают, девочки мои, — говорил папа, — такие животные, которые из собственного пупка вытягивают кишку и на ней играют удивительные мелодии.

Я смотрела на Ариадну.

— Что ты все смотришь на меня? — спрашивала она. — Люда, спихни ее, чего она так смотрит? Ты бы хоть Пушкина почитала! Когда ты так таращишь глаза, видать, что у тебя лицо будто из двух частей

составленное. Господи, какая ты будешь некрасивая, когда выростешь!

Тата смеялась, наматывала мою косу себе на руку и говорила:

— Некрасивая, но с характером практическим и сумасшедшим.

— Практическим и сумасшедшим, как у ее покойного отца, —хладнокровно подавал голос папа из за какой-то бумаги.

А я все смотрела, и страх будущего — ее и моего — обуревал меня, страх, которым я ни с кем не могла поделиться. Я опять старалась втиснуться между ними, меня, наконец, пускали, щекотали, накрывали мне лицо подушкой. А я все старалась решить: почему я так люблю ее? Почему так боюсь потерять? Почему хочу быть всегда подле нее?

Я помню этот вечер. Он предшествовал той удивительной ночи, когда мы, наконец, остались одни. Отец влажно храпел у себя за ширмами, в комнате давно погасла печка и было холодно; незакрытое пианино на котором Люда на прощанье отбарабанила вальс Шопена, белело клавишами и в груде грязной посуды (сил не было мыть так поздно все эти тарелки и чашки), что-то изредка потрескивало.

Я прижалась к ее худым, холодным ногам и тихо спросила:

— Ты любишь их? Ты очень любишь их?

— Кого? Дюковых?

— Ты им в с е говоришь?

Она пошевелилась.

— Я никому не говорю в с е.

— А я хотела бы кому-нибудь в с е говорить. Ты нет?

Мне показалось, что ей захотелось отделаться шуткой, насмешкой, но она сдержалась.

— Говори мне все, — сказала она.

— Не могу. Буду, если ты будешь тоже.

Она вдруг протянула под одеялом руку и тихонько сжала мои пальцы.

— Зачем тебе не больше лет, Саша? — сказала она почти вслух. — Ты бы была моей самой близкой, самой первой подругой.

Я замерла, задохнувшись.

— А теперь?

— А теперь это всего только — Тата и Люда. Потом, только много потом — ты. Ах, я не знаю, может быть так оно даже и лучше. Бывают в жизни такие, знаешь, периоды, когда никакие подруги вдруг не нужны.

— Я не нужна?

— Ты — сестра. Нужно вдруг становится совсем другое, такое особенное и серьезное. А прежнее все такое детское.

Я села на постели.

— Ты влюблена? — воскликнула я с ужасом и слезы мгновенно полились у меня по лицу и рукам.

— Тише, что ты! Ты разбудишь папу. Иди сюда, ляг ко мне.

Я перелезла к ней и мы на некоторое время затихли. Никогда до этого она не звала меня лечь с ней рядом. Мне было так хорошо, так светло — даже в самых темных углах самой себя, и я хотела тогда только одного: чтобы эта ночь продолжалась вечно. От Ариадны шло тепло, шел милый, мыльный запах от ее шеи и какой-то сладкий — от волос. В длинной рубашке, с высоким воротом и длинными рукавами, она лежала вытянувшись рядом со мной, и я чувствовала ее плечо, ее колено.

— Скажи мне, кто он? — спросила я, замирая от блаженства и ужаса.

— Кто он? Ах, этого так сразу не расскажешь, — она говорила как бы про себя, для себя. — Он работает в театре, хочет писать для театра, хочет быть режиссером. Но он женат и мы будем жить т а к.

Я не совсем поняла, что она говорит, но прерывать и спрашивать не хотелось.

— Папа, конечно, никогда не согласится: у него ни настоящей службы, ни пайка. И вообще он очень странный, совсем особенный, некрасивый ужасно. Ты увидишь.

— Он тебя любит?

Она вздохнула с каким-то перерывом.

— Да, Саша, — и она вдруг отстранилась от меня, — он меня любит и я его люблю. И мы решили быть вместе.

Слышно было под одеялом, когда мы молчали, как стучит ее и мое сердце, разнобойно и сильно.

Мы заснули вместе, и в эту ночь мне приснился сон.

Содержание сна забылось мною, остался его аромат, волнение, с ним связанное, та тоска, из которой он состоял весь, с первого появления чужого человека у нас в комнате, между печкой и ширмами, до его исчезновения в каких-то незнакомых переулках города, похожего на Петербург. Смысл сна был мною утерян, да его и не было, вероятно, как у большинства снов, только остался удивительный привкус, какой-то таинственный узел, который до сих пор гнетет меня. Этот человек, который во сне назывался мужем Ариадны, и на котором вертелся весь несложный механизм моего детского сновидения, был непонятным образом связан со всей нашей действительностью, с распадом России, с тем тяжелым, звериным и тоскливым, что происходило тогда на яву. Он как будто был тут в тесной, и необъяснимой, и страшной связи и со смертью мамы, и с холодом, и с голодом, и с недавним расстрелом моего старшего брата, и с несчастьями графини Рыдницкой.

Его звали Сергей Сергеевич Самойлов, и когда я в первый раз увидела его, был вечер, уже давно начавшийся и еще далеко не кончившийся, зимний вечер, и

Ариадна собиралась в концерт, завязывая у зеркала ленты капора. Папа молча, хмуро поглядывал на нее, а она все розовела, все оживлялась, все скорее говорила то ему, то мне какие то пустяки, топая в валенках, и наконец, когда раздался звонок в передней, уже совсем скороговоркой сказала, что это за ней пришел ее знакомый, приятель Андрея Звонкова, поэта, близкий друг Веры Сергеевны, Сергей Самойлов.

— Женишок? — спросил папа с чем-то неприятным в лице.

Это выпадение Ариадны из круга отца и матери, офицерско-чиновничьего круга, в какой-то иной круг вольных людей, водившихся при университете, при музеях, в литературных собраниях, около каких-то маленьких театров, вдруг отчетливо уяснилось мне в ту первую встречу. Сцепление всех наших бед, больших и малых, привело ее на простор иной жизни, привело к Самойлову, и кажется отец тоже понял это тогда. Она, улыбаясь, поздоровалась с Самойловым и познакомила его с отцом. Я стояла неподвижно за печкой, в углу, подле шкапа, и смотрел на них, позабыв все на свете.

Самойлову было тогда лет под тридцать; он был светловолосый, сутулый, с красным носом, дурными зубами и умным взглядом ярких глаз. Это был молодой человек без всяких признаков воспитания и понимания людей, с простой привычкой говорить самому и не слушать других, приходить и уходить, когда заблагорассудится; он не совсем соблюдал расстояние между собой и другими людьми, что-то упорное было в его вздернутых плечах и наклонном лбу. В серой, толстой фуфайке и ватном пальто, не сразу сняв фуражку, он стоял и ждал, пока Ариадна натянет варежки.

— Я должен вас предупредить и сказать вам откровенно, — уже через минуту говорил ему отец, — чтобы вас не ввели в заблуждение: один глаз у нее стеклянный. Бедная моя Ариадночка, с ней в детстве

случилась такая неприятность! Но сделано так хорошо, что вы и не распознаете, который не настоящий.

Самойлов с любопытством смотрел на него.

— Ну-с, а вы чем занимаетесь, товарищ Самсонов? — спросил папа, сладко вдруг улыбнувшись, собираясь сесть в кресло и уютненько побеседовать.

Но Самойлов с Ариадной уже готовы были уйти. Лицо ее было неузнаваемо и сияло.

— Я думаю ставить пьески, пьески разные, на киятере одном, в люди выйти собираюсь по театральной части, — ответил Самойлов с большой серьезностью, — пописываю всякие смешные штучки, стараюсь во всю, кое-чего добился, кое в чем поднаторел. Поэтические всякие представленьица очень обожаю.

Я стояла в своем углу, за шкапом, и смотрела на него во все глаза.

— А это кто же? Девочка или мальчик? — спросил он вдруг, увидев меня, и протянув в мою сторону палец.

— Девочка, — ответила я громко.

— И зовут верно Ирочкой или Кирочкой? — без малейшего смягчения в голосе продолжал он.

— Нет, меня зовут Сашей, — опять твердо сказала я.

— Здравствуй, Саша, — вдруг просто и с какой-то внезапной короткостью воскликнул он, быстро подошел ко мне и тряхнул мою руку. Через минуту их обоих уже не было в комнате.

— Здравствуйте, Самойлов, — сказала я гордо, но не знаю, слышал ли он меня. Отец, не взглянул в мою сторону. Он взял тонкий, голубой стакан, стоявший на умывальнике, из которого мы полоскали зубы, и бросил его в каминное зеркало. Раздался страшный звон. Стакан разлетелся на мелкие куски, обсыпав всю комнату, но зеркало почему-то осталось совершенно целым, и в нем все так же, все в той же мути, и дымной глубине продолжала стоять лампа, мерцать серебри-

стые наши обои, коситься закрытая дверь. Тогда отец ушел за ширмы, лег на кровать и громко захохотал или заплакал, — я никогда не могла распознать его смеха от плача. Но ночью зеркало треснуло.

Я долго в тот вечер не могла уснуть. Графиня Рыдницкая сидела у меня в ногах и вязала шарф, сиреневый, с кисточками. Я смотрела на нее и мне хотелось плакать и откровенничать, но я мужественно молчала.

— И вот, моя прелестная девочка, — говорила графиня, — в тот вечер, в первый раз, мы поехали с ним на острова. Лихач ждал внизу. На мне было газовое платье шампань с открытой грудью и бриллиантовый кулон с аметистами. Тогда носили локоны над шиньоном и каждый локон был надушен, а поверх был воткнут гребень, резной, резной, ужасно резной, и со стразами.

Потом она ушла, и я долго смотрела в то место, где она сидела, и ждала Ариадну. Но я не дожидалась ее, она пришла, когда я уже спала. Я проснулась, почувствовав, как кто-то лег ко мне под одеяло; руки ее дрожали, шопот ее дрожал тоже.

— Саша, Саша, — шептала она, — пора спать Саша. Ты не спишь? Почему? Надо спать. Обними меня, Саша. Я не знаю, что со мной, прости меня. Я сáма не понимаю, что это такое.

Но я уже не обнимала ее, не плакала с ней вместе, я вдруг очерствела в ту ночь и почувствовала даже некоторое удовольствие от этого жесткого чувства. Я вся сжалась, отодвинулась к стенке, притворилась спящей.

Днем все было то же: стирка, уборка, стояние в очередях, беготня за сахаром к перекупщикам, на третий двор дома на Троицкой, тасканье дров из подвала, где кто-то крал их, и мои слезы о недосчитанных поленьях; жесткая, холодная, не по силам темная жизнь, третья зима — самая долгая, самая унылая. Днем все было то же: и «ты бы Пушкина почитала», и отцовская рука, похожая на плавник, лежащая на столе, пока

он пишет, или ест, или так себе сидит и смотрит куда-то мимо. Но вечерами уже все было другое: Ариадна уходила почти каждый день, вернее, она не приходила больше со службы, а возвращалась поздно, когда мы оба уже спали, и иногда я даже не просыпалась от ее прихода.

Но однажды, уже в начале марта (помню, в первую же оттепель, я простудилась и теперь сидела дома с завязанным горлом), в один из тех вечеров, когда отца не было, к Ариадне опять, во второй и последний раз, пришел Самойлов. Он был не один. Вместе с ним пришли Звонков и Вера Сергеевна, и все четверо пили чай, который я согрела на печке, ели черный хлеб, курили и разговаривали.

Подобие уюта было в тот вечер в нашей комнате. Треснувшее зеркало было завешено веселой пестрой картиной, полученной Ариадной в подарок от знакомой художницы; на лампе был новый самодельный абажур; чистая скатерть была постелена на столе и в вазе стоял большой, сухой розовый цветок, — не то настоящий, не то поддельный.

— Это Саша, — говорила Ариадна всем по очереди, указывая на меня, и я неловко подавала свою красную руку, сама красная от шейного компресса.

Потом я тихонько разделась и легла, а гости, не обращая на меня внимания, продолжали говорить громко и много, заедать чай коркой хлеба, что-то декламировать, о чем-то спорить. Ариадна словно опять казалась мне прежней, хотя папироса в ее тонкой руке и какой-то локон над ухом были для меня неожиданностью, от которой сжалось сердце. Высокая, плоская, косоглазая и все-таки чем-то красивая Вера Сергеевна говорила меньше всех, и однако, мне было ясно, что она ведет разговор. Звонков и Самойлов были на ты друг с другом. Звонков читал много стихов, и я понимала, что это все были его стихи; читал он их нараспев, отчего стихи казались мне прекрасными, а Самойлов,

когда он умолкал, принимался что-то рассказывать, тоже слегка нараспев — и тогда все стихало, его слушали, но он обрывал, не кончал, говорил, что Бог ему не дал слога, не дал дара, что он может выдумать что угодно, но срифмовать не может двух строк. А вместе с тем, у него видимо на уме было что-то, что ему хотелось воплотить, что его мучило, что дозрело, быть может, уже давно, какой-то образ, для которого он нашел уже и название: Дырявый плащ.

— Его вынули из старого сундука, вросшего в пол дедовского дома. Он пахнет нафталином и кажется нам слишком широким, но видно в старину люди были крупнее нас. Смотри, он весь в дырах! Он совсем вышел из моды. Но хоть он и сильно трачен молью, а все еще великолепен. В него можно с головой завернуться от холода. Его надо проветрить: он слишком долго лежал на дне сундука.

Много лет тому назад, наши отцы в лесах Манчжурии на подступах Порт-Артура, завернули тебя и меня в этот плащ. Мы были детьми, нам было холодно в корейских степях. Отцы наши не вернулись оттуда, наши матери вернулись с нами одни. Наши матери, сероглазые и русые, взростили нас с тобой, а когда настала русская беда, не вынесли ни этих лет, ни этих зим. Мы похоронили их и поставили над ними простые деревянные кресты.

Мы многое видели, мы ничего не боялись, но еще больше предстоит нам увидеть в будущем. Молитвы мы забыли, надежды отняла от нас жизнь. Ничего этого больше не вернется. Этим старым плащем ты не раз укутывала свои маленькие ножки, я не раз драпировался в него, желая повеселить тебя и изобразить Чайльд-Гарольда старых времен. Скажи, не тот ли это плащ, которым Иосиф укрывал Марию с младенцем на пути в Египет? Или это, может быть плащ Дон-Кихота? Или, наконец, самого бога нашего, Сервантеса? Помнишь, как он кутал в него свою больную

руку и закрывал им ослепшие глаза, а мы догоняли его, плача, но он не мог уже видеть нас? Или это плащ Лира, бегущего сквозь знакомую и нам бурю?

Теперь времена настали иные. Я должен уйти в одну сторону, ты — в другую. Мы раздерем этот старый плащ пополам. Он несколько вышел из моды, он напоминает какую-то старую пелерину, но это ничего! Я ухожу навеки в просторы моей угрюмой и жестокой страны, не только потому, что я люблю ее, но и потому, что мне нет иной дороги. Прощай!

Ты же возьмешь другую половину этой двухтысячелетней одежды нашей. Ты убежишь отсюда, от меня, от нас. Беги без оглядки, моя ненаглядная, моя дорогая, через моря и горы, беги в другие земли; не бойся одиночества, не бойся своего сиротства. Живи, как птица, живи, как ветер. Спасай свою молодую, свою нежную жизнь. Беги в Африку, в Австралию, в Азию, выбери себе одну из двух Америк. Беги от этих унылых и страшных мест,

Закрыв плащем дырявым
Прекрасное лицо.

У меня, вероятно, был сильный жар. Я слышала высокий голос Самойлова. Он слегка раскачивался, когда говорил, иногда стараясь облечь в трехстопный ямб отдельные выражения. Я помню, как он сказал: «Мне нет иной дороги», и потом, в конце, «Одну из двух Америк», — но стихов писать он не мог, и конечно, поэма его должна была остаться ненаписанной. Однако, в полумраке большой комнаты, накуренной и натопленной, она как бы создалась на несколько минут, потому что трое его слушателей и четвертая — я — после того, как Самойлов замолчал, еще слышали про себя ход и ритм несовершившихся стихов.

— Хорошо, — сказал Звонков, — очень хорошо. Не подаришь ли?

— Бери, делай с ним, что хочешь, — ответил ему Самойлов. И потом наступило молчание, которое показалось мне бесконечно долгим, и в котором я услышала, как стучит и звенит у меня в ушах.

...Это был колючий ветер, резавший мне лицо. Петербург тех лет представляется мне начертанным в снегу чертежом. На углу двух замерших каналов, у крутого каменного мостика, я видела: налеплена большая афиша: в театре, в двухтысячный раз, идет пьеса Самойлова. Ветер треплет афишу и она рвется, как старый плащ; в дыры плаща виден красный закат, о красном закате в накуренной комнате читают стихи. Кто-то перевирает их — умышленно, настаивая на своей ошибке, и косоглазая, бледная Вера Сергеевна поправляет Звонкова, но он все настаивает на своем:

Мы — дети Александра Блока,
Забыть не в силах ничего.

Чего не в силах забыть? Холодную клинику, где умерла мама? Или похожую на глину, тяжелую и сырую четвертушку насущного хлеба? Или звезду над Сенатской площадью в прошлом мае, такую зеленую и одинокую?... И эту звезду я уношу в сон, словно украденную.

Поздно ночью я открыла глаза. Свет горел в комнате. Отец в одной рубашке и подштанниках, стоял, держась за свои ширмы, и громко говорил что-то. Ариадна сидела у стола, растрепанная, розовая, протянув по столу руки. В комнате был невообразимый беспорядок. Я не шевельнулась, и опять закрыла глаза.

— Если он с честными намерениями, то пусть не прячется. Пусть приходит, пусть женится, — говорил отец, видимо в десятый раз повторяя одно и то же. — Где вы с ним околачиваетесь? Куда бегаете? Что он вообще за человек есть? Нет, ты мне ответь, что он за человек такой есть? Актер? Суфлер? Может быть, ак-

робат? На трапеции работает? Разве мне кто-нибудь объяснил, с кем я дело имею?

Она перевела дух, как будто за него.

— Я скоро уйду к нему, — сказала она спокойно, — мы будем жить т а к, потому что он женат.

Отец издал звук «А!» и в комнате стало очень тихо. Мне стало страшно. Я открыла глаза и села на кровати. В эту минуту ни к кому на свете не чувствовала я больше любви, а Ариадна показалась мне совершенно чужой. Пораженная этим открытием, я молча посмотрела вокруг себя и громко заплакала.

Она заметила, что я стала не та, и когда на следующий вечер — последний вечер жизни ее с нами — мы оказались с ней вдвоем, как бывало раньше, она, собирая свои вещи в парусиновый мешок, почти не говорила со мной, обходила меня, не объясняя своего ухода, словно все должно было мне быть ясно и без того. Я стояла у окна. «Как же ты пойдешь в такой буран?» — спросила я: крупный мокрый снег валил на улице. «Ничего, это не далеко, — ответила она. — Который час?» Было десять без десяти. «Это письмо ты передай папе». Я почувствовала, как что-то с силой шевельнулось во мне. «Что-ж ты никогда не придешь сюда больше? — спросила я. — А как же я-то?»

— Ну полно, полно, ты совсем видно дурочка. Ты будешь ходить ко мне в гости.

— Это неправда, этого не будет.

Она вдруг села и спрятала лицо в руки.

— Я поняла, — сказала она, словно оправдываясь в чем-то, и вместе с тем понимая, что не мне слушать такие слова, — я поняла, что жизнь, это не это (она показала на нашу комнату), не ты, не он (она показала на ширмы). Жизнь это совсем, совсем другое, на все это непохожее.

— Это Самойлов и его дырявый плащ, — сказала я грубо.

Она улыбнулась.

— Да, это дырявый плащ. Когда-нибудь ты вспомнишь меня, и эти слова, и весь этот вечер, а Саша?

— Не уходи, — сказала я едва слышно, — не уходи, Ариадна. Сделай все как-нибудь иначе.

— Не могу иначе.

Я не понимала ее, я рыдала на холодном подоконнике, а она целовала меня в волосы, прижимала к себе. Я не помню ничего, что было потом, как мы простились, как она ушла, как я осталась одна при свете горящей в потолке лампы, в какой-то угнетающей душу тишине. Отец вернулся позже обычного. Я вскочила к нему навстречу. Он остановился в двух шагах от меня. «Письмо, — сказала я, — тебе письмо от нее, папа.»

— А! — сказал он опять, коротко и резко, — о чем же это письмо?

Я чувствовала, как все мое лицо дрожит под его взглядом.

— Она ушла, папа, — выговорила я, наконец.

— А! Так на что-ж читать письмо? Коли это все, так нечего и читать. Важен самый факт. Факт известен. А письмо — к чорту его.

И он ногой распахнул печную заслонку и сунул письмо в горящую печь. Не снимая ни шапки, ни калош, ни запорошенной снегом шубы, он прошел к себе за ширмы, повалился на кровать и затих.

Мы несколько дней скрывали ото всех наше несчастье, но графиня Рыдницкая, в конце концов, пришла к нам «вместе поплакать».

— Не можно, не можно так делать, — говорила она, дымя трубкой. — Юность — это цветы, это — любовь, это — красота. Но вот уже грубая жизнь обрывает лепестки, губит ростки... Трагедия отца не поддается никакому описанию.

Я ничего не понимала из того, что она говорит, и это меня озадачивало.

А Ариадна жила недалеко от нас, на Разъезжей, и я

раза два в тот год встретила ее. Она носила бархатку на шее и кожаную шапочку самодельной работы. Каждый раз она с радостью и волнением целовала меня и расспрашивала о том, как мы живем, и учусь ли я, и помню ли ее (будто я могла забыть ее, будто мне было не одиннадцать лет, а пять). Она утратила что-то чуткое, что было в ней по отношению ко мне, и разговаривала теперь со мной, как разговаривают с детьми взрослые, не привычные к детям. Я тоже стала чиниться с ней, мне захотелось дать ей понять, что я уже не та маленькая девочка, какой была, когда спала с ней на единственном диване, что я поступаю в школу, что я читаю книги, что я раскусила жизнь и уже многое понимаю. Так мы стояли на углу, возле писчебумажного магазина, и страшно фальшивили друг с другом.

Потом я взаправду поступила в школу. Потом она переехала на Петербургскую сторону. А еще через год, папина сестра выписала нас за границу, и мы — в башмаках, выданных по ордеру, в пальто, сшитых из солдатских шинелей, в рубашках, выкроенных из старой простыни, приехали в Париж, держа в руках корзину с жестяной посудой и ремни с подушками.

II.

Париж. Париж. Есть в этом слове что-то шолковое, нарядное, что-то праздное, для танца созданное, что-то блестящее, шумящее, похожее на шампанское; все там красиво, весело и немножко пьяно, какое-то кружево намотано; какая-то юбка шуршит при каждом шаге; что-то звенит в ушах и мелькает в глазах при этом имени. Я еду в Париж. Мы приехали в Париж. Мы стали жить в Париже... Но то, что я увидела в первый же день, не было похоже ни на шолк, ни на кружево, ни на шампанское.

Представим себе человека, которого наконец, домчали на луну. Он ждет, что увидит пустыню, величе-

ственную и грозную, увидит мертвые горы, каменные провалы, особенное небо. И вдруг он замечает, что перед ним все та же оштукатуренная стена соседнего дома, идет дождик, во дворе дурно пахнет... Когда я выглянула в окно парижского своего жилища, мне показалось, что здесь все совсем то же, что и у нас в Ротах: окраинный дух большого города, со множеством нищих, главным образом женщин, да еще старух; тихая, сумрачная улица, с дымящейся трубой прачешного заведения, с голубой вывеской слесаря; над вывеской окно с рваной тюлевой занавеской, за ней старик, вправляющий искусственную челюсть в широкий, мокрый рот. Надо всем — узкая полоска: образчик здешнего неба, серого и низкого. Там, за углом, и дальше — опять такая же улица, пустая и бедная; по ней идет некрасивая девочка, вроде меня (или это я сама иду с кошелкой?), сбоку кошелки торчит кусок говядины, красный и твердый. Проходит рабочий с бутылкой вина в раздутом кармане заплатанной куртки. А потом опять ничего, никого, только слышно, как где-то стучит фабрика, вырабатывающая искусственную кожу для сосисок. Время от времени гул становится слышнее, это значит, что открыли двери на улицу, и тогда во всем квартале, и у нас в доме, начинает пахнуть чем-то тухлым и вязким.

Я прожила на этой улице не год, не три, не пять, и даже не десять лет. Я прожила здесь шестнадцать лет моей жизни, глядя в эти окна, дыша черным выдыхом фабричной трубы. Года эти были бесследно похожи один на другой, это были колебания маятника, от весны к лету и от осени к зиме, все тот же образовывался четыреугольник времени, в клетке которого я слушала с одинаковым смирением фабричный шум и воскресную тишину. Что-то за эти годы поблекло, заржавело, выцвело вокруг меня, побледнела лазурная вывеска слесаря. Что-то наоборот — обновилось, умылось, окрасилось по новому; но в квартире, внутри, у нас в доме,

где в радио изо дня в день продолжал греметь Штраусовский вальс, где изо дня в день бессменная кошка играла с собственной тенью, где я жила с отцом в тесной комнате, расставляя из вечера в вечер, наискось от угла, как ставят покойников, свою складную кровать, — ничто не менялось, все держалось кое-как, предполагая, верно, рассыпаться когда-нибудь, когда, может-быть, нас уже не будет. Менялись только мы сами: Варвара, сестра отца, выписавшая нас, которую мы застали свежей сорокалетней женщиной, ни одного дня не остававшейся без работы и без любовника, стала за эти шестнадцать лет старухой, все еще ходившей куда-то поденно, на какие то чужие кухни мыть посуду и натирать полы. К ней вечерами по прежнему приходили ее знакомые — поручики и капитаны, но уже не бравые, старательно приглаженные и припомаженные люди, а старые и смирные, как и она сама, с такими-же, как у нее, громадными, жесткими рабочими руками.

Отец, первые семь лет прослуживший сторожем в многоэтажном гараже, а затем — рассыльным в кондитерской, теперь был без работы. Работать, собственно, больше не мог, да работы и не искал. Те же все были безумные рассказы, не имевшие ни начала, ни конца, тот же хохот, похожий на плач, та же мистификация собеседника. Но в конце каждого анекдота появилось теперь слезное обращение в мою сторону: «О, дочь моя, моя Корделия!» — а когда меня не было при нем, куда-то в пространство, где я должна была находиться.

Я, конечно, изменилась больше всех: мне было тринадцать, стало двадцать девять, прожита была молодость вся, без остатка; из некрасивой девочки, угловатой и мускулистой, я стала некрасивой девушкой, коренастой и бледной, а потом очень скоро утратила возраст, утратила свежесть и чистоту скуластого лица. Будучи вполне здоровой, я вдруг стала напоминать

мою больную, мою всегда неживую мать, и руки мои, такие прежде ловкие, стали большими и бледными, как у бабы, только что родившей.

Было тринадцать, стало под тридцать, но иногда мне казалось, что я все та же, что я ничего не узнала, ничему не научилась, ничего не открыла з д е с ь, что все, что во мне есть, было уже т а м: знание жизни, отчаяние одиночества, высокие, таинственные чувства, мои слезы, мои мысли, моя от всех скрытая отвага, — все это привезла я с собой, всем этим была награждена еще в России, и такой осталась навсегда.

Между тем, жизнь моя сложилась не хуже и не лучше иных жизней: тот волчий бег от западни к западне, за сытным куском, за теплым углом, кончился. В новом городе можно было жить по людски: работать, зарабатывать, сводить концы с концами. Сначала я ходила в школу, но года через два школу пришлось бросить, потому что не было времени: надо было помогать дома. Варвара тогда шила, и я у нее довольно долго состояла в девчонках. У нее я научилась гладить, строчить, метать петли, и за это раз в год она шила мне платье, новое платье из какой-нибудь толстой шерстяной материи, на которое я несколько месяцев перед тем, как его надеть, любовалась бережно и тайно.

Когда мне исполнилось двадцать лет, я поступила гладильщицей в угловое прачешное заведение. К этому времени дела Варвары пошли хуже. В какое-то печальное зимнее воскресенье, перед Рождеством, она отправилась подавать в знакомый русский ресторан и очень скоро получила там постоянное место. Через несколько месяцев она сломала себе ногу, поскользнувшись с блюдом устриц в руках, и осталась хромой на всю жизнь. Ее определили мыть посуду на ресторанной кухне. Потом она стала ходить по частным домам.

Я стала гладильщицей. В течение девяти лет я каждый день с утра до вечера гладила чужое белье, научившись стоять на ногах ежедневно часов по десяти.

Я аккуратно получала жалованье, и тогда уже знала, что все гладильщицы и прачки откладывают, и даже не они одни, но и приказчики, и конторщики, и актеры, и даже министры. И тогда я тоже стала откладывать, мне понравилась эта мысль, о которой я раньше не имела понятия: сохранить часть заработанных тяжелым потом денег, и на эти деньги... но что именно я буду делать на эти деньги, я еще не знала.

Военный воздух теткиной квартиры, так не похожий на воздух наших петербургских пещер, сначала очень мне понравился: мне все казалось, вечерами, когда гости сидели за чайным столом и говорили все вместе, что на завтра они куда-то выступят, будет дан бой, диспозиции уже взяты; мне казалось: мы все на бивуаке. «Генерал приказал собраться», «господа штаб-офицеры решили», «у гусаров нынче полковой праздник», — только и слышалось. И я удивлялась, почему эти люди с серыми лицами и нечистыми руками, не ходят в плюмажах, в голубых и сиреневых мундирах, не щелкают шпорами, не гремят саблями? У них была своя замкнутая, тесная и по своему дружная жизнь; были какие-то Марьи Ивановны, Евгении Львовны и Ирины Александровны которые уже с другими мужчинами не водились; у них бывал бал с буфетом и вечеринки с лотереей-аллегри, традиционные обеды, молебны и панихиды, на которых они молились истово, молодецки выпячивая грудь и подтягивая церковному хору; но главное — были эти упоительно бесцельные, содержательные для них одних батальные беседы о том, как отступали от Екатеринослава, как сдавали Перекоп, как эвакуировали Севастополь, и Варвара, у которой муж, гусарский корнет, умер от ран на пути в Константинополь в девятнадцатом году, была в этой странно звучащей, ржавой цепи, одним из еще вполне живых звеньев.

Девять лет. Нет, этому невозможно поверить. Разве так бывает, в жизни? За что? Почему случилось так,

что, не совершив никакого преступления, девять лет простояла я над гладильной доской с тяжелым утюгом в руке? Первые дни я возвращалась домой и плакала ночами от невозможности постичь свою собственную судьбу. Потом я перестала плакать и пришла к заключению, что окружающие правы: работа у меня чистая, место прочное, документ в порядке, жалованье я получаю достаточное, чтобы жить, как мне положено. А образования у меня все равно нет, нет красоты, нет таланта, и значит, ни на что другое я не гожусь.

И я копила. Никогда за эти годы не купила я себе ничего лишнего, ничего не нужного — чулки, обувь, платье, белье, я все носила самое простое, годами не покупая перчаток и шляп. Я вносила в хозяйство за себя и отца то, что требовалось, а маленькие остатки хранила в толстой книге, стоящей на полке, над моим изголовьем, кулинарной книге, которой уже давно никто у нас не пользовался. Я слышала, что откладывают на операцию, на зубы, на поездку к морю, на новый буфет и просто — на старость. С самого начала мне пришло в голову, что на эти деньги я когда-нибудь поеду в Италию. Я не знала, что именно буду смотреть в этой Италии — картины, или города, или просто темные ее ночи, апельсиновые рощи, кипарисы кладбищ? Но мне казалось, что эта моя мечта когда-нибудь осуществится: совсем одна, я поеду в Италию, в Геную, в Рим... Зачем? Чтоб увидеть то, чего я никогда, никогда не видела.

За все эти годы, один единственный раз я могла выйти из этой жизни, это было, когда лет пять тому назад ротмистр Голубенко сделал мне предложение. Ротмистру Голубенко, одному из самых бравых Варвариных гостей, было сорок лет с лишним, он держал магазин электрических принадлежностей. Это был черный, волосатый, живой человек, в прошлом смельчак и вояка, а теперь — любитель балалаечного оркестра, русской кухни и застольных песен.

— Вы будете сидеть у нас за кассой, — сказал он, — компаньон мой, Перловский, Василий Карлович, и я будем носить вас на руках.

За то, чтобы всю жизнь не простоять, а просидеть, я должна была заплатить своей свободой.

— Спасибо за честь, — сказала я, как можно мягче, а вышло все таки грубо, — но я отклоняю...

Откуда пришло ко мне это суконное слово?

На следующий день Варвара спросила меня:

— Ответь мне пожалуйста на три вопроса: раз — почему ты отказала Голубенке? Два — живешь ли ты с каким-нибудь прохвостом? Три — собираешься ли вообще когда-нибудь обзавестись мужем, и каким именно?

— О, дочь моя, моя Корделия! — воскликнул папа.

Я добросовестно думала минуты две.

— Раз, — сказала я, — потому что Голубенко бедный. Два — ни с каким прохвостом я не живу. Три — согласна жениться только на богатом.

И сказав это, я пошла в угол, встала к ним обоим спиной, взяла с полки кулинарную книгу и пересчитала свои деньги так, чтобы они этого не видели. Там было восемь тысяч триста семьдесят франков.

Варвара ушла в соседнюю комнату и там раздался тот характерный звук, который я так хорошо знала: не то смех, не то плач — это у них было общее с отцом, и лицом они тоже были похожи, и напоминающими плавники руками; из соседней комнаты она меня окликнула и спросила: испытала ли я когда-нибудь любовь?

— А что такое любовь? — спросила я. И вдруг вспомнила Ариадну, и мне захотелось, вместо того, чтобы ехать в Италию, послать ей все мои накопленные деньги.

Было у меня во всю мою парижскую жизнь одно воспоминание, которое жило во мне, дышало, видоизменялось, росло, крепло, затихало, таяло и опять ожи-

вало. Оно иногда не давало мне покоя; оно часто делало меня счастливой; оно открывало мне знание того, что между людьми может быть какое-то серьезное и нежное проникновение друг в друга, радость от близости до тех пор чужого человека, тронувшего сердце навеки, отразившегося в этом сердце и там оставшегося. Это воспоминание было совсем коротким. Это был голос, серьезно и нежно сказавший мне однажды: «Здравствуй, Саша!» Это был взгляд, однажды упавший в меня и как будто застрявший в душе. В моей бедной жизни я ночами жила этим воспоминанием, иногда весело, иногда слезно трогала его и думала над ним. Мне казалось, что так как я все мое детство была немножко влюблена в Ариадну, то теперь оказалась влюбленной в ее мужа; мне казалось, что я бессознательно ищу соперничества с ней и подражаю ей; или что все это лишь одно мое любопытство к их жизни, к их судьбе, любопытство к его несостоявшейся поэзии, которая должна была непременно иметь продолжение. С образом Самойлова у меня постепенно и незаметно связалось все, что есть в жизни недосягаемого и прекрасного, о чем я могла только догадываться, мир, каким он мог бы быть, но не был для меня, люди, какими они могли бы стать, но какими я никогда не узнаю их. Мои тайные догадки о том, что кроме действительного, происходящего, есть еще образ, есть еще мелодия. Как будто в самые темные, в самые звериные годы моего существования, красота и поэзия мира мигнули мне, проносясь мимо меня, и сейчас же опять пропали. Пусть сам Самойлов был некрасивый, не слишком милый, не очень даже приятный господин, не имеющий таланта сочинять бессмертные поэмы (мы что-то не слышали тут, чтобы он прославился), что-то сквозь него увиделось мне тогда, прелесть иного мира мелькнула передо мной и сгинула в то время, когда ни о какой прелести мира нельзя было помыслить; и была теплота человека, на секунду склонившегося ко мне,

когда кругом было так холодно и уныло, и люди боялись друг друга и не верили друг другу. Его «здравствуй, Саша», его совет жить

Как птица или ветер,

ничего не бояться, завернувшись в двухтысячелетний, то есть христианский, наш, хоть и разодранный на двое, плащ, остались со мною во всю мою парижскую жизнь. Не скрою, самая память о лице его, голосе, за эти годы выцвела, потеряла свою детскую силу, но все, что пробудилось когда-то от этого лица, от этого голоса, было живо, еще существовало, еще иногда цвело во мне.

Оно не обладало ни твердостью ни постоянством; в моей маленькой неуютной душе оно иногда не появлялось неделями, потом внезапно, без всякого видимого повода укалывало иглой, или начинало слабо, както лунно маячить в мыслях, потом пропадало. В какой-нибудь особенно одинокий вечер, когда рядом со мной, широко открыв глаза и все время разговаривая сам с собой крепко спал папа (он теперь иначе не спал), а за стеной совсем уже седые, плешивые, беззубые, хриплые, пели и пили Варварины гости (водка, гитара), какие-то прежние, свои женщины (некоторые давно бабушки), в какой-нибудь святочный вечер, или позже, весной, оно налетало, разматывалось, колдовало надо мной, оставляло в блаженном оцепенении, близком слезам.

Был конец августа 1939 года, и из нас троих в это время работала только я одна. Отец целыми днями сидел за столом и раскладывал пасьянсы, переходил по комнатам, держась за стены, остановившимися глазами смотрел и не видел, слушал и не понимал. Найдя вчерашнюю газету где-нибудь в углу, он долго читал ее, потом говорил, едва собирая слова: «Нельзя уступать, придется воевать, все пойдем, главное — твер-

дость показать». Варвара что-то бормоча, чинила и штопала, стирала и готовила — в августе она всегда оставалась без работы и никогда не могла с этим примириться, все роптала, все проклинала лето, свою никому ненужность. Штраусовский вальс гремел в радио; было жарко, скучно, пыльно в опустелом городе, а я все стояла и гладила, стояла и гладила у белой стены, у белого стола, в белом своем фартуке, в ряду таких же, как я, старых и молодых, одутловатых и худосочных молчаливых и болтливых гладильщиц, получающих, как и я, по четыре франка в час. Время останавливалось. Теплый дух подкрахмаленного полотна неподвижно стоял между нами. Жар печки, на которой грелись утюги, красный жар наших лиц, шипение утюгов, быстрый стук их на краю доски, а в минуту тишины, тиканье стенных часов у хозяйского места — все это было неподвижно, неизменно годами — назад, вероятно — вперед. В половине седьмого вечера начиналась уборка прачешной, в семь часов мы уходили домой; шатаясь от усталости, волоча опухшие ноги проходила я те несколько сот шагов, которые отделяли меня от дома. А из фабрики колбасных кишок мне навстречу валили женщины, и каждая была чем то похожа на меня, так мне тогда казалось.

Они валили мне навстречу в тот день с особенными, с измененными страхом и заботой лицами. Из маленького кафе рычало радио, но никто не останавливался, чтобы послушать его, каждый и сам знал уже все, что должно было случиться. «Опять она», — говорил кто-то, свесившись из окна на улицу, и тот, что стоял под окном, отвечал: «Опять она, и все сызнова». Растерянность мужчин и ужас женщин делали всех похожими друг на друга; старых выбрасывало обратно в жизнь и они молодели от прилива чувств; молодых увлекало отчаяние и осунувшиеся, потемневшие лица их казались постаревшими. Жаркий вечер остановился над городом и не дышал, и в нашей улице в медленных сумерках,

кто-то громко плакал в подворотне большого серого дома.

Вечером, после обеда, я опять вышла на улицу, и так три вечера — до самого воскресенья — я выходила бродить. На углу улицы Вожирар, под тремя растущими там платанами (собирались разбить сквер, но раздумали) толпились до ночи кучкой Варварины друзья, и тихо разговаривали по-русски: Муся Мещерская, Петров, фон Моор, дядя Дрозд в синем комбинезоне, мадам Чурчуразова со своей слабоумной дочерью (обе простоволосые и в шлепанцах), Вася Востроносов, Петя Полешатов и другие, тоже все не то помолодевшие, не то постаревшие, называвшие друг друга по старой памяти, уменьшительными именами, а меня звавшими Александрой Евгеньевной, будто я была другого полка. Три вечера стояли мы там, а в воскресенье я, сделав круг по рыдающим, по стонущим и кричащим улицам, попала на вокзал, где никто никого не слушал, никто никому не отвечал и люди, пьяные от горя, давили друг друга в движущейся тесноте и прощальных объятиях, набиваясь в тяжелые поезда.

А небо было все то же, то же. И такое у меня было тогда чувство, будто не вперед перелистнута была страница в тот вечер, но будто кто-то отхватил полкниги назад, с шорохом перехлестнул лет двадцать-пять с лишним, и тяжелой рукой повлек всех нас в какие-то давно минувшие, страшные и скучные повторения. Это была западня, в которую мы попадали опять, дверца захлопнулась, безвыходное положение остроглазых, быстроногих мышат — вот только что было возможно и то, и это, а сейчас все кончено — задавило, пришибло, прихлопнуло.

Я была, как все в ту зиму, то есть особенно ни на что не надеялась, замерла в полном и одиноком своем безразличии. Откладывать мне приходилось все меньше: я теперь была единственной добытчицей в доме: отец болел, Варвара почти не ходила поденно, старела,

бывала слишком занята и отцом, и домом. Я, как истинный кормилец семьи, приходила с работы на все готовое. Да и какая же могла быть теперь Италия? Какие вообще могли быть мечты? Они хирели в безвоздушном пространстве моих постоянных сумерек. На два десятка лет хватило мне полудетских раздумий; когда Ариадна ушла от нас и с того дня, как я больше не видела Самойлова, словно погасла какая-то звезда и вот столько лет до меня еще доходил ее свет из необъятного далека. Теперь я знала, что по тому точному закону, по которому все кончается, этот свет гаснет.

В самые дни июньской катастрофы умер папа, словно не мог перенести событий, хотя, что был он им и что были они ему? Тогда я вынула из кулинарной книги запрятанные деньги. Около половины всего, что там было, ушло на его похороны. Варвара с горячим, опухшим лицом, растрепанная, неумытая, стояла тут же и в протянутую руку принимала мои бумажки, онемев от изумления. Потом она села на мою постель и залилась слезами — но уже не об отце, а обо мне, как я поняла по ее, в рыданиях завязшим, словам:

— Копила! Она копила! Откуда такое благоразумие? Как воли то хватило? Сама без шубы зимой, в отпуск не едет, а откладывает... Да что-ж ты, француженка, что ли? Откуда это в тебе? Вот оно, поколение то новое, машины, не люди, никаких страстей, никакого безумия, один рассудок, рассчет... А мы-то, мы-то! Да, можно сказать, красиво жить умели, о завтра не думали, с двух концов жгли... В сберегательную не носили... Нынешние не то, умеют «про черный день»... Я в твоем возрасте только хвостом вертела. Ну, зато и отца похоронишь не в общей яме. Она копила! Нет, ты послушай, Евгений, друг ты мой, Саша-то наша деньгу копила!

И она с воем пошла к себе в комнату, где теперь лежал покойник, и там продолжала говорить, сморкаясь, пока не подошло время заняться каким-то делом.

Он лежал в солнечном луче, с чем-то благородным в лице, чего ему всегда как-то не хватало, со светлой каемкой между век и туго подвязанным ртом. Ноги его тоже были связаны и перевязаны были похожие на плавники руки; и от этого казалось, что весь он спеленут как мертвецы древности. «О дочь моя, моя Корделия!» — прошептал он мне накануне вечером, и от этого воспоминания я заплакала, потому что каждый раз, как он это говорил, я знала, что он вспоминает Ариадну. На его мертвой груди мы нашли крестильный крест и стертый медальон, а в медальоне две фотографии —моей матери и Ариадны, вероятно, вставленные сюда еще в России. Я надела медальон на себя, а заодно и крест, и несколько дней было неудобно, потому что все это цепляло за лифчик.

Похороны его были совсем особенные: ярким солнечным утром явились дроги с клячей и двое служащих бюро. Погрузив гроб на дроги с помощью консьержа, оба служащих сели спереди и предложили нам с Варварой сесть сбоку, что мы и сделали. Мы ехали, трусцой, держась за гроб и подбирая ноги, и все время благодарили Бога за то, что так все устроилось. На улицах Парижа не было никого, если не считать германских часовых. Я почему-то особенно хорошо запомнила площадь церкви Монруж, где ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, не было ни одного человека. Авеню дю Мэн была пуста до самого горизонта, авеню д'Орлеан была совершенно чиста. Все двери, все лавки были закрыты. Мне показалось, что в некоторых окнах стояли люди и показывали на нас пальцами. У Орлеанских ворот переминались с ноги на ногу два немецких солдата в полном боевом облачении, они спросили у нас пропуск, после чего мы опять затрусили дальше, а внешний бульвар вправо и влево напоминал своей полнейшей безлюдностью фильм, виденный мною много лет тому назад: какой-то ученый напустил на Париж внезапный

сон, все остановилось, и только на верхней площадке Эйфелевой башни уцелели какие-то влюбленные.

Перерыв в прачешной продолжался ровно одиннадцать дней, после чего, все началось сызнова, с той разницей, что теперь стирали не на частных клиентов, а на немецких солдат; мыло и щелок доставлялись по ордеру, как и топливо, а белье привозилось и увозилось на грузовике.

Мы вдвинулись в зиму без хлеба, без сала, без шерсти, без угля. Несложные предметы домашнего обихода вокруг нас постепенно начали портиться и ломаться, а заменить их было нечем. Перестали зажигаться спички — как было когда-то в России — признак надвинувшейся беды. Теперь мы были вдвоем с Варварой и когда я приходила вечером, на трехногом нашем столе, на кухне, было поставлено два прибора. Мы садились друг против друга, она — полуседая, тяжелая в своей хромоте, до сих пор темным карандашом подводящая глаза, начинающая стыдиться своих безобидных страстишек: выпить, покурить, посидеть при темном абажуре вечерок вдвоем с фон Моором, совсем лысым и очень обтрепанным; и я — худая, но широкая в кости, с неопределенного цвета волосами, грубо скроенным, несимметричным лицом (левая сторона чуть меньше правой), всегда в одной и той же темно-зеленой юбке и серой кофточке, листающая какую-нибудь библиотечную книжку (Варварин вкус — роман из жизни графьев и князьев), или тасующая старую колоду карт — успеть разложить единственный известный мне пасьянс, пока не пришли Петров и фон Моор и не сели в дурака.

Темными, толстыми пальцами, распухшими от холода, но все по прежнему далеко отставляя мизинец, Варвара держала чашку какого-то подозрительного напитка, слегка пахнущего ромашкой и перцем, сахарин шипел в нем, потому что был на соде, а небольшие, дурно нарезанные ломти черствого хлеба, намазанные яблоч-

ным повидлом, дополняли угощение. Обычно, все жались в крошечной кухне, где было теплее, потому что был газ, и тут же, когда гости уходили, мы раздевались, кое-как мылись над серой раковиной и бежали, каждая к себе, в ледяную постель где каталась под одеялом горячая бутылка. Гости выходили на темную лестницу, чиркали спичками, хлопали себя по бокам, ища карманный фонарик и найдя, убеждались, что батарея опять не горит — свойство всех батарей, лампочек, зажигалок в грозные времена. Они выходили в черный, без единого света мрак улицы, в осеннюю городскую ночь, которая была как ночь в лесу или поле — ни огня, ни голоса, ни тени. Когда бывала луна, люди подбадривались, шагали крупно, ликуя переходили мостовые, когда шел дождик, то не было слышно встречных, и бывало, двое сталкивались грудью, отвратительное чужое тепло касалось лица, чужая тяжесть задевала тело. Когда после Нового Года выпал снег, то несколько ночей было светлее от белых плешин, от каких-то звездных отсветов. И надо было внушать себе, оступаясь о какие-то кучи, щупая углы домов, чтобы не просчитаться перекрестком, что это Париж — шолк, кружево и шампанское — а не Обоянь, не Чебоксары между властью белой и властью красной, не двадцатый, а сороковой, сорок первый, сорок второй год и земля по прежнему вертится вокруг солнца.

И разговоры чем-то напоминали мое петербургское детство: если они были на высокую тему, то непременно о том, что девять десятых человечества всегда жило впроголодь и что значит должна была и для нас, парижан, настать уравниловка; если на низкую, то о том, где достать масло и когда начнут выдавать картофель? Развязывались с легкостью узы, до того казавшиеся нерасторжимыми; слово «арест» ходило наравне с мелкой разменной монетой, и в этой расшатанной, голодной и холодной жизни умирал для меня всякий свет памяти, всякий свет надежды.

Многие в ту зиму уехали — кто куда — устроились на работу в Германию, бросились сражаться в Россию, незаконно бежали на юг. Ни Муси Мещерской, цыганки в длинных серьгах, ни Пети Полешатова, скучного и прожорливого враля, ни дяди Дрозда, георгиевского кавалера и шоффера, больше среди нас не было. Продолжали ходить Петров да фон Моор, оба служившие в починочной мастерской при немецком гараже, приносили то кочан капусты, то кило сахару, то просто фальшивую хлебную карточку, и за все это платила я, а когда не хватало жалованья, вынимала заложенные в кулинарную книгу деньги.

Варвара хромала из кухни в комнаты, обсыпая папиросным пеплом постную запеканку из брюквы. Тут же в кухне висела гитара, которую Петров любил держать в руках — играть он на ней не умел. Все трое, сидя на жидких стульях вокруг стола, в масляно-коричневых стенах, подчивали друг друга «натуральным винцом», хрустели соленым огурцом, выпивали по восьми чашек чая. Она, попив и покурив, игриво смеялась, они называли ее Барбишончиком, как сорок лет назад, кажется ревновали ее друг к другу, во всяком случае обнимали ее по очереди за талию, жали ей под столом ноги, целовали толстые, грубые пальцы. Фон Моор имел на нее заметно больше прав, чем Петров. Между ней и фон Моором иногда вспыхивали многозначительные, страстные намеки, от которых мрачнел Петров и рвал гитарные струны.

— Подсаживайтесь к нам, честь и место, — кричали оба, а мне некуда было спрятаться в холодной квартире и я шла к ним на кухню, потому что здесь было тепло. — Александра Евгеньевна, не осудите по молодости лет. Страсть есть жизнь, как сказал один испанец.

И я садилась между ними. И Петров, маленький, тощий, но ужасно толстогубый, с совершенно желтыми, как подсолнечник глазами, целовал меня в плечо, изо-

бражая пьяного, а Варвара, млея, ударяла его по руке крепко надушенным, не совсем чистым платком.

Две бутылки стояли на столе. Под них Варвара любила подкладывать старые конверты, для сохранения чистоты клеенки в цветах. Но на этот раз, под бутылкой красного бордо простодушно было подложено нераспечатанное письмо на мое имя, и я увидела его, уже порядком залитое вином.

— Прости меня, Саша, виновата, виновата, — закричала Варвара, — с третьего дня лежит, под хлебом запряталось. Все забывала сказать.

— Из газового общества? — поинтересовался фон Моор, и громко захохотал.

— От налогового инспектора, — ответил ему Петров, и услужливо подал мне грязную вилку, чтобы вскрыть конверт.

Письмо было совсем коротенькое. Чем дольше ждешь, тем письмо бывает короче. Собственно, оно должно было бы состоять из одного только обращения: ведь столько лет...

«Дорогая Александра Евгеньевна, я хотел бы с Вами встретиться. Давно знаю, что Вы тоже в Париже, один раз даже мельком видел Вас (года два назад). Однако, не знаю, как Вы ко мне относитесь, может быть, не совсем дружески? Буду Вас ждать в ближайшую субботу в кафе у Вас на углу, часов в девять. Расскажу Вам кое-что. Есть у меня до Вас маленькая просьба — дело моей совести. Впрочем, Вы может быть, не помните меня? Я — муж Вашей сестры, Ариадны, Сергей Самойлов.»

Перечитав это письмо десять раз сряду, я поняла две существенные вещи: первая, что Ариадны с ним больше нет, вторая, что он давно в Париже, но ни разу до сих пор не вспомнил обо мне.

С письмом Самойлова в руке, я вышли из кухни, прошла в комнату и там, в темноте и холоде просидела довольно долго. Меня поразило то, как я начисто ли-

шена каких-бы то ни было предчувствий. Казалось бы: стужа и мрак; полу-голод, полу-террор; не зажигаются спички; с весной начнет трава расти на улицах. Кому же явиться, как не ему для дополнения картины? А письмо было такой неожиданностью для меня. И я включила радио, совсем тихо, не видя покрутила стрелку. И вдруг кто-то нежно и со всем убеждением, на который способен человеческий голос, сказал:

— Ты здесь еще? Ты все еще здесь? Но, клянусь тебе, там ждут тебя, там все готово к твоему приезду. Сейчас в садах цветут апельсиновые деревья, морское дно видно из окон белой виллы. И, знаешь, вечером по саду летают темно-синие стрекозы, каких ты никогда не видела. Пора тебе туда, пора!

Мгновение тишины; гром аплодисментов, и, кажется, тяжелое шуршанье падающего занавеса.

Два года назад он видел меня, но с тех пор ни разу не подумал обо мне.

Но зачем ему было думать обо мне? Зачем вообще было помнить о том, что у его тоненькой, светлоглазой, сумасбродной жены были где-то когда-то родственники — сумасшедший отец, принявший его в штыки, и неизвестных лет не то брат, не то сестра, которых сама Ариадна легко бросила, на письма которых не отвечала и которые в ее жизни никогда никакой роли не играли — люди другого мира, и их вероятно покоробило бы, если бы они узнали, что Ариадна стала маленькой актрисой, игравшей сначала разные иностранные пьески с претензиями, а потом — романтические доморощенные агитки; что они оба шатались по театрам сперва Петербурга, потом — Крыма; она все стремилась к Таирову, но так выходило, что в Москве им не было места и они несколько лет прожили в Симферополе и там играли, пока Ариадна не заболела брюшным тифом и не умерла. Он тогда (это было в 1928 году), перебрался в Тверь, к сестре. Здесь его и арестовали по какому-то заводскому делу, в котором

был замешан муж сестры. В тюрьме он просидел недолго, всего четыре месяца, и был даже суд, после которого его сослали на Беломорский канал, и там он встретился с настоящими политическими ссыльными, преимущественно сектантами — беспоповцами и субботниками. И однажды, по снегу, лесом, лесом, карельским девственным бором, перешагнув через Мурманскую дорогу, мимо озера такой красоты и неподвижности, что собственно, надо бы туда когда-нибудь непременно вернуться, мимо пограничников в шлемах — а издали казалось, когда он хоронился в сугробах, что у них песьи головы и загнутые шашки торчат из-под длинных шинелей, как песьи хвосты, — мимо всего этого, из сугроба в сугроб, с краюхой краденного хлеба за пазухой, до одной избушки на курьих ножках, с веселыми наличниками, с киноварью и суриком расписанной дверцой, с синим дымом из лакированной трубы, на которой щелкал флажок — полицейский финский участок, а вы думали — игрушечный домик, где живет пряничный карлик из сказки?

Два года Гельсингфорса и пять лет Берлина, сначала грузчиком, потом фокусником, потом шоффером, потом гримером. Я переехал в Париж, но на всю жизнь здесь не останусь, нет, нет. И, может быть, уеду очень скоро, здесь мне делать нечего. Куда? На восток, на восток, конечно: не люблю океанов, не люблю островов, — я люблю твердую землю. Я потому и поспешил... то есть я мог бы и раньше, но не было такой настоя... настоящей необходи... — Тут только я заметила его манеру говорить, не кончая слов. — Я объясню вам сейчас причину. Это для меня так важно. Это просьба... это...

Он крепко обнял и сжал маленький круглый столик, на котором стояло наше пиво.

Он был когда-то некрасив, бледен, красконос, производил не очень молодое впечатление; улыбка беззубого рта безобразила его. Таким он остался навсегда,

и умные, блестящие глаза его смотрели тем же прямым взглядом мне в душу.

Но кроме того, в облике его оказалась та русская потрепанность, которую я так хорошо знала, особая потрепанность, которая началась с нашей заграничной жизнью и кончится с нею. Она обошла, как рок, только малое число весельчаков и разбойников, сроднившись со всеми остальными, с их блестящими спинами, душными подмышками, вытертыми обшлагами, истертыми галстуками, серыми носовыми платками. И не имело значения, что Самойлов был более похож на актера и комиссионера, чем на бывшего офицера и каменщика, эта потрепанность его была та же, что и потрепанность Варвариных знакомых.

— Я смотрю на ваш серый свитер, — сказала я, — и мне кажется, что это тот же самый, что и тогда. А «Дырявый плащ» помните?

Он помотал головой.

— Я никогда никакого плаща не носил.

— Я и не говорю, что носили, вы сочинили его. Помните, там было про Дон-Кихота и Лира?

Он внимательно посмотрел мне в лицо, и вдруг что-то прошло в его взгляде, что-то блеснуло в памяти.

— Это не я, это Звонков придумал. Был у меня такой товарищ, он в ссылке умер.

— Да нет же, это вы, я наверное знаю. Неужели вы забыли? Такая немодная была пелерина и ее уже поздно было штопать.

— От нее сейчас осталась одна дырка, — усмехнулся он.

Мы замолчали оба. Я думала об Ариадне, о ее прозрачном лице, о груди, которая светилась, когда она купалась в тазу. О том вечере, когда она ушла от нас, завязав ленты капора и взяв какой-то узел на руку, бабьим извечным движением. И я думала о Самойлове, о том, что он на две трети прожил свою жизнь, и что это свидание имеет для него какой-то

важный смысл, и еще о том, что глядя на меня, он меня не видит.

Я никогда не волнуюсь, я очень спокойная, но в тот вечер я волновалась ужасно, будто что-то могло зависеть от этого свидания. Из за этого волнения я так плохо слушала его. Припоминаю слабый свет лампы в вонючем кафе, пятна сырости по стенам и его, конечно, оказавшегося куда меньше ростом, чем я думала: в детстве он казался мне высоким.

— Я вызвал вас сюда по очень важному для меня делу, Александра Евгеньевна, и важному, и спешному, — повторил он, улыбнувшись во весь рот. — Я хотел бы попросить прощения у вашего отца. Так таки прощения, как бывает, когда люди каются. Вы могли бы помочь мне в этом?

Вероятно лицо мое выразило удивление.

— Я перед ним очень грешен, очень виноват. Я у него дочь увел, хуже чем украл, почти-что убил. Меня это чем дальше, тем больше мучает.

Тогда я расхохоталась ему прямо в лицо.

— Вы верите в эти глупости? Да вы с ума сошли! Неужели есть люди, которые верят в эти глупости?

Он отпустил столик, который все время держал.

— Не знаю, что вам ответить на это, — сказал он. — Быть может, надо бы промолчать. Или сказать, что есть, есть такие люди, которые верят, напрасно, мол, вам кажется, что их нет. Да ведь вы и сами знаете, что их не так мало. Я думаю, между прочим, что если бы их вовсе не было, в мире было бы очень неуютно.

— Почему?

— А вы представьте себе: вот вы встаете однажды утром, день как день, дождик идет, и вдруг вы узнаете, что т о все отменено, что касалось там всяких глупостей, но не так, как в России, где только всего и сделали, что из тысячи церквей оставили одну, а попов отдали в арестные дома. Нет, отменено вовсе, отменено временем, веком все, связанное с совестью,

с сознанием греха, с «блаженны плачущие». Секрет утерян. Остались так сказать только права человека и гражданина да уголовный кодекс. И никто больше ни в чем не сомневается, никто не молится. Вам не было бы страшно?

Я неподвижно молчала.

— Подумайте и скажите. Я ведь знаю, вы наверное никогда, никогда...

— Вот именно, — перебила я его, — даже к заутрени.

Я потянулась к старенькому, вытертому портсигару, из которого он только что закурил, и вдруг почувствовала, что солгать не посмею.

— Да, это удивительно, но мне стало бы не по себе, — сказала я, — да, мне стало бы неуютно, если бы т о совсем кончилось.

Он едва услышал мой ответ. Какая-то новая мысль овладела им.

— Есть ли у вас кто-нибудь очень близкий, очень дорогой? Нет? Совсем никогда не было? Ну, тогда подумайте о вашей матери. Вы ведь помните ее. Представьте себе, вам скажут, что она была богохульницей, богоотступницей, — ведь это все равно, что узнать, что отец был безносый. Вы смеетесь? (Я не смеялась). Отчего это каждому человеку хочется, чтобы мать у него непременно, в какой-нибудь церковушке, «припадала», чтобы она, так сказать, за него умела замаливать? И потом, на том свете, тоже немножко...

Я молча пожала плечами.

— Вы знаете, самый холодный, как камень холодный, человек, хочет, чтобы возлюбленная его умела с Богом поговорить и его детей бы этому учила. Я одного такого знал в тюрьме, ему сектант один Евангелие подарил, а он взял да Евангелием этим мышь убил: боялся мышей, ночью слышит шорох, вскочил, бросил в мышонка Евангелием, на месте пришиб.

Он перевел дыхание, выпил пива.

— Удивительно, — сказала я, подняв и опустив плечи, — удивительно, Сергей Сергеевич, что вы о таких вещах думаете, о таких вещах говорите. И каяться хотите. Только отец мой...

Но он перебил меня.

— Я встречал на севере, в лагере, таких людей, таких... Я мог бы рассказать вам...

Но в маленьком кафе, где мы оба сидели, поднялось какое-то беспокойство. Искали чей-то зонтик. Нам тоже пришлось встать. Гарсон ползал на четвереньках под лавки, лохматый пес, дремавший у потухшей печки, заворчал, открыл гнойные глаза и колыхнулась занавеска над дверью, не пропускавшая на улицу сиреневый свет ламп (старое, рваное биллиардное сукно), выпустив и впустив кого-то. Здесь пахло винной отрыжкой, как во всех маленьких грязных парижских кафе и ноги мягко шлепали по сырому мусору давно неметеного пола. Куда ни глянешь — глаз всюду встречал какие-то сырые тряпки, которыми время от времени все тот-же гарсон вытирал в углах откуда-то набегавшие лужи.

Как иногда бывает, я слушала его голос и не слышала его слов. Я смотрела ему в лицо, видела, как в какую-то минуту рассказа, вероятно, решительную, он сделал остановку, и провел обоими руками по щекам. Я слишком была растревожена этой встречей. Я думала опять об Ариадне, о Симферополе, о том, что там есть кладбище, а на этом кладбище — ее могила. Внезапно я прислушалась. Самойлов говорил о каких-то двух женщинах, которых он знал на севере, на лесозаготовках.

— ...и тогда главный начальник —зверь и палач — велел им придти. И он спросил их: чорт побери, отчего вы всегда такие покорные и всему радуетесь, и не боитесь двойной нагрузки, и паек свой отдаете, и всякое глумление переносите, и вот у вас сквозь лохмотья тело сквозит. Отвечайте, сволочи! И они ответили:

оттого, что мы верим в Господа нашего Иисуса Христа...

А руки у Самойлова были большие, худые и чистые, с тонким обручальным кольцом на безымянном пальце, и я думала: откуда это кольцо? И что он вообще делает? Где живет? Он рассказывал о каком-то Владимире Борисовиче, студенте Духовной Академии, который, с 19-го года ходит по сибирским лагерям, и я только и успела запомнить из всего рассказа это ничего не значущее имя и отчество, потому что Самойлов говорил теперь все быстрее, тайно и глухо разгораясь, сыпал слова перед собой, бежал по ним, пробегал обратно, иногда оставлял их наполовину непроизнесенными. Лицо его было худощавое, совсем мне чужое. Сейчас же над ухом начиналась редкая проседь.

Он остановился внезапно на какой-то невидимой точке.

— Ну, это так, к слову. Многое я тогда видел... Теперь о другом, я вас наверное задерживаю? Вы наверное заняты? Нельзя ли мне увидеться с вашим отцом? Я хочу, я должен просить у него проще...

Я ответила:

— Отец мой умер.

Он остался неподвижно сидеть, только лицо побледнело немного. И я поняла тогда, что по глазам его, по умным, ярким глазам, ничего нельзя узнать, что он думает, что чувствует.

— Вот как, — сказал он медленно и тихо. — В таком случае, простите, что зря вас побеспокоил.

И это было все. Он сложил горкой мелочь — за выпитое пиво, его и мое. Рукопожатие наше было сильно и кратко, после чего он пошел налево, а я направо. И было так темно, что никто не мог видеть моего лица.

Все было мне понятно: ему нужно было видеть меня, чтобы окончить дело своей совести. Он колебался долго, он, может быть, много лет мучился этим грузом,

возможно, что перед каждой исповедью, — потому что он наверное занимается таким делом. Если бы мой отец был жив, Самойлов вероятно пришел бы к нам, и кто знает! — мы бы еще разок могли поговорить на разные темы. Я, может быть, рассказала бы ему о себе, о знакомых прачках, о скопленных деньгах, о поездке в Италию, которая конечно, никогда не состоится. Он бы посидел вечерок с фон Моором... Но папы не было больше, и он зря потерял время со мной. И я не сказала ему, что он учит меня в жизни тому, чему не могли научить ни прачешное заведение, ни ротмистр Голубенко.

Он зря потерял вечер с совершенно посторонней особой, о которой он не знал решительно ничего и которая ему была никто. Его жизнь с Ариадной, вероятно, представляется ему сейчас юношеским грешком, не более. Бог ему судья. Его Бог. Может быть, скажут, что люди меняются? Нет, люди остаются те же. Он тот же и я та же, и даже рассказы его звучат продолжением прежних выдумок.

В кухне на этот раз было чадно и дымно, потому что Варвара пекла блины. Петров, фон Моор и вернувшийся в отпуск из Бретани Вася Востроносов (шрам в поллица, помнит Каледина), сидели там и уже тянули по третьей. Я сейчас же села с ними, меня стиснули, я выпила и вот уже хохотала, глядя, как фон Моор навинчивает блин на вилку. И когда я хохотала так, я слышала сама, что мой смех начинает походить на плач — точь в точь, как у папы и Варвары, это у нас семейное. Я вспомнила про пасьянс, который тоже перешел ко мне по наследству, и от смутного чувства, что бессильна, что-либо поправить в своей жизни, стала хохотать еще громче. Но лучше было так смеяться со всеми вместе, чем плакать одной в нетопленой всю зиму комнате, под тонким, полосатым одеялом, в жесткую подушку. Ведь это была и есть моя жизнь.

Вещи вокруг нас делаются все более хрупкими. Каж-

дый предмет —единственный и другого больше не будет. Люди делаются все прозрачнее, и когда уходят, то кажется, что они вот-вот вернутся. Все пропадает: хлеб, бумага, мыло, нитки, керосин и золото. Пропадает пропадом мир, и в этом всеобщем пропадании уже не от звезды, давно угасшей, а от какой-то новой дрожащей звездной туманности, тихонько опять сияет для меня какой-то благословенный свет.

Я не могу объяснить, когда и каким образом появился он снова, — у меня нет уже прежней зоркости, детской, безошибочной чуткости, того нюха, которым я когда-то была наделена, но я знаю, что в нашей черной жизни, телесно слабея, тупея, старея, я с какой-то особенной силой, с особенным жаром опять ловлю его, и то, что оживает наперекор всему (как и двадцать лет назад), внутри меня, можно бы назвать — очень приблизительно и тяжеловесно — исканием высоты, жаждой мудрости, любви, правды, при чем, все эти слова не значат разное, они части чего-то одного, бесконечного, вокруг которого я хожу, не видя его. Какая высота может ожить там, где именно бедность и пошлость делают ее невозможной? Какая мудрость в моей службе в прачешной и в вечерах, проводимых на теткиной кухне? Где в моей жизни любовь, до которой мне никогда не было дела? И неужели может меня коснуться правда, о которой я никогда не задумалась? Но как двадцать лет назад, бесплодная восприимчивость моей души снова обостряется, как может быть ей суждено обостриться всего два-три раза в жизни человеческой. И я невольно начинаю думать, что когда-нибудь, году может быть в шестидесятом, мне будет еще раз положено испытать что-то подобное.

Но где тогда будет Самойлов, и каким именно образом подаст он мне знак?

1941-1942.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Последние и Первые. Роман. Изд. Я. Поволоцкого. Париж. 1930.

Повелительница. Роман. Изд. Парабола. Берлин. 1932.

Чайковский. Изд. Петрополис. Париж-Берлин. 1936.

Бородин. Изд. Петрополис. Париж-Берлин. 1938.

Без Заката. Роман. Изд. Дом Книги. Париж. 1938.

Александр Блок и его время (по-французски). Изд. дю Шэн. Париж. 1947.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Биянкурские праздники. Рассказы 1930-1940 г.г.

Мыс Бурь. Роман.

Imprimerie S.N.I.E., 32, rue de Ménilmontant — Paris